НЕВА 10
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА
2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Валерий ДУДАРЕВ
Стихи • 3

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Камертоны Греля. *Роман* • 8

Лев МОЧАЛОВ
Стихи • 132

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил КУРАЕВ
Талант общения,
или
Портрет друга на фоне смутного времени • 132

Лев БЕРДНИКОВ
Главный самоед империи • 144

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 80-летию Б. Н. Никольского
Наталия НИКИТАЙСКАЯ
Он всегда ее любил • 152

Наталья НАРЫШКИНА-ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ
Штрих к портрету • 157

Александр КУРГАТНИКОВ
Он служил истине • 160

Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Мой самый правильный друг • 162

Дмитрий КАРАЛИС
Человек-река • 164

Алексей КОЗЫРЕВ
Минута тишины • 167

Б. Н. Никольский. Библиография • 169

К 75-летию Нонны Слепаковой
Лев АННИНСКИЙ
«Сделать первыми последних».
Из цикла «Последние идеалисты» • 170

Александр КОТЮСОВ
Два берега Бориса Корнилова • 182

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. Станислав Минаков. Еще раз о «Волховской застольной». — **Путь к читателю.** Ирина Монахова. «Белинский был особенно любим...». — **Эпоха и образы.** Андрей Аствацатуров. Шервуд Андерсон. — **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). «Идти в Каноссу». — **Рецензии.** Марина Михайлова. «Свет лучей оттуда»; Ирина Чайковская. Валентина Синкевич: русская лира в Америке; Елена Айзенштейн. «При вечернем свете все видней становится вокруг...». — **Дом Зингера.** *Публикация Елены Зиновьевой* • 203–255

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена

Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталия ЛАМОНТ
(*ответственный секретарь, коммерческий директор*)

Александр МЕЛИХОВ
(*зам. главного редактора*)

Маргарита РАЙЦИНА
(*контент-редактор*)

Игорь СУХИХ
(*шеф-редактор гуманитарных проектов*)

Андрей СТОЛЯРОВ
(*шеф-редактор аналитических проектов*)

Борис ДАВЫДОВ
(*отдел публицистики*)

Елена ЗИНОВЬЕВА
(*редактор-библиограф*)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Л. Жуковой, Н. Ламонт**

© Журнал «Нева», 2011

Валерий ДУДАРЕВ

В ДЕРЕВНЕ

Окно открыто.
Жаркая погода.
И мотыльки влетают по прямой.
Эвтерпа виждь!
И греческая ода
Напишется за ночь сама собой.

Скамейка, сад —
простое и родное.
Цвета даны
размашисто и щедро.
Восторжествуй, безмолвие земное! —
В нем нету звуков
для дождя и ветра.

Но не хочу далекую античность.
При чем тут
ода,
грек
и наши игры?!

Печальный скиф почал бутылку водки
И движется
то прямо,
то вперед.

Скиф упадет у дальнего порога,
И станет скифа месяц освещать.

Как было жить загадочно на свете,
Пока не появился этот скиф.

* * *

Откуда-то берутся девушки!
Они весенние созданья!
Пора кидать над речкой камешки!
Пора влюбиться в снега таянье!
Но этому мешают девушки!
Порхают девушки без смысла!
Одна из них —
что тут поделаешь? —
Вдруг на плече моем повисла!
И я задумался:
а в древности —
там было снежно и весенне?
Там погибали мы от ревности,
Как будто в девушках спасение!
Как было там,
в античной древности?
Там было сладко или слаже?
Там на волнах качались девушки!
Все те же девушки —
и даже...

Валерий Федорович Дударев родился в Москве в 1965 году. Окончил филологический факультет МПГИ имени Ленина. Публикации: журналы «Волга», «Литературная учеба», «Нева», «Наш современник», «Юность», «East-West Review» (Великобритания), «Знаци» (Болгария), альманахи «День поэзии», «Истоки», «Poesia» (Польша), «Литературная газета», «Независимая газета», «Литературная Россия». Стихи переводились на английский, болгарский, польский языки. Автор книг стихотворений: «На склоне двадцатого века» (1994), «Где растут забытые цветы» (1997), «Ветла» (2001), «Глаголица» (2004), «Интонации» (2010). Лауреат литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова и др. Главный редактор журнала «Юность».

РУЗА

Не все окошки занавешены —
И занавесятся при мне.
Враз опустевшие скворешены
В моем качаются окне.
За лесом кладбища просрочены.
И не воскреснут никогда!
В метель старухи у обочины
Замрут,
застынут
навсегда.
Задребезжит литая денежка,
Добавив черного руке.
Заговорит простая девушка
На нефламандском языке.
Ее сухие междометия,
Как вековые образа,
Добавят
ветра и бессмертия
В мои печальные глаза.
Как зреет в ночь
грешно и матово
В дожде предчувствие снегов!
За ивой вроде бы Ахматова?
За мхом лесным — Мариенгоф?
За лесом
затемно и замертво
Печаль вселенская.
Окна
У
ни терцины,
ни гекзаметра —
Силлаботоника одна!

НА РАСКОПАХ

На раскопах тревожит птица
Потускневшие письмена.
Но не в силах с землей проститься
Улетающая страна.
От обыденности прогорклой
Напрягаются желваки.
Посмотри же!
Над тем пригорком
В предосенье дожди легки!
Посмотри же!
Под той ракитой,
Где степной завершился бой,
Наши пращуры позабыты.
Позабыты и мы с тобой!
Дождь!
Под ветлами,
под ракитой
Вековечная тишина.
Но какой-то страной забытой
Наша чудо-страна полна.

ТРИПТИХ

1. ВОРОН

Ты сегодня полюбишь другого —
Снова станешь бодра и одна.
Во вселенной метельева гона
Ненасытная зреет луна!

Ты полюбишь его в одночасье,
Задыхаясь в пророчьем бреду.
Так чужое, надменное счастье
Подбирают себе на беду!

Будешь ждать,
украшенья срывая,
Что тебя он своей назовет,
И не слышать за лязгом трамвая,
Как по Угличу ворон идет.

2. УГЛИЧ

Ты теперь не полюбишь, как птицу,
Одинокую, черную Русь —
Безмужичьи, каленые лица
Уцелевших в эпоху бабусь.

Не отведаешь горклого слова
Возле райских кремлевских ворот.
Виждь!
На Вологде плачет корова,
А по Угличу ворон идет!

Виждь!
На лунном костре беспредела
В хороводе язычьей тоски
Золотое коровино тело
Раздирает страна на куски!

Разлетаются пенные краски,
И невольничьи манят торги
В непролазные, жаркие ласки
Вековой Пугачевой пурги!

3. СВИДЕТЕЛЬ

Провожая рябин озаренье,
В недогляд,
в недомол,
в недород
Сквозь смятенье,
смиренье,
прозренье,
Сквозь поэтом недожитый год,
Как царевича мука и зренье,
Вифлеемское помня мгновенье,
К нам по Угличу ворон идет!

* * *

Так странно увидеть рябину без ягод!
Печальные ветви темны.
Но ветер примчится —
напорист и сладок —
С какой —не понять стороны.
В последней надежде душа
встрепенется
И вспомнит...
Не знаю о ком.
И что-то простится,
и кто-то вернется,
А кто-то помашет платком.

И ливень начнется,
а в лужах качнется
Томительный, бронзовый свет.
И голос родимый
душе отзовется —
Кого на земле больше нет!
Но как же он сможет избавить от тягот,
Когда,
никого не щадя,
На месте батистовых,
пламенных ягод
Тяжелые капли дождя?

ПОЭЗИЯ

С модернами и канонами,
С черным стихом и белым
Поэзия — дело новое!
Старое, в общем, дело!
Поэта трясутся рученьки!
Дайте ему награду!

Налейте поэту рюмочку!
Поэтам много ли надо?!
Чтобы ходики тикали,
Чтобы лампа горела.
Поэзия — дело тихое!
Громкое, в общем, дело!

ЖЕНЩИНА

Потуже закутаешь плечи!
Закат
и не люб,
и не ал!
И надо исполнить за вечер
Громоздкий,
смешной ритуал.
Подумаешь,
больше недели
Бессонница колет нутро!
У нас же не высшие цели —
Нести до помойки ведро.
Нести
и вернуться достойно!
Холодной водицы испить,
Добраться к окошку спокойно,
К петунье подсесть и пожить.
Забыть торгашей-паразитов.

Войти
в тишину,
в синеву.
И словно о давнем,
забытом
Спросить удивленно:
«Живу?»
Пяти-,
девяти- ли
этажка —
Все годно
на быт,
на ночлег.
Везде по-звериному тяжко
Тянуть перегруженный век!
Всегда человечески жутко
Отдать свое сердце барже!
А жизни всего на минутку
На том неземном этаже.

* * *

Венеция.
Люди и лодки.
Чужая дилемма и суть.
Молитвы нелепы,
нечетки.
Размыты
раздумья и путь.
Смеркается.
Лодочник ловкий
Сшибает с туриста деньгу.
Печальны послушные лодки
И мы на своем берегу.
Все дело в забытой октаве,
Которая вызовет дрожь,
Когда из земли разнотравий
В морскую страну попадешь.

Нам хватит
ручьев и проталин!
Нам в жизни, конечно, везло!
Но как же финал карнавален!
И как же всесильно весло!
Воздушных шаров суматоха.
Удар фейерверка вдали.
Танцуя,
по мостику вздохов
Кого-то еще повели.
Вздохнешь и подумаешь:
эка
Нам невидаль данный фокстрот.
Зажмурься —
и нет человека!
Ты ангел.
И лодка плывет.

ПРИМЕТЫ

Когда слога в стога сбиваются —
Подумаешь:
галиматья!
А это снова открываются
Иные грани бытия!
В скитаньях лика восходящего
За век не встретишь на пути,
Но чуда тайного,
манящего
Приметы можно обрести!
Нельзя от гибели поправиться,
но там
над прудом — над прудом
Поет
печальница-красавица,
Поет
об этом
и о том!
О!
Одиночество ручейное!
О!
Эти грани бытия!
О!
Чудо рыжее, репейное!
О жизнь —
Венеция моя!

БЫЛО

Была чиста дорога!
И солнышко сияло!
И счастья было много,
А денег было мало.
И было так занятно
Пить воду из колодца!
И было так приятно,
Что Русь не продается!

Екатерина ВАСИЛЬЕВА

КАМЕРТОНЫ ГРЕЛЯ

Роман

Прелюдия

Нет больше сил что-то выдумывать. Поэтому придется говорить правду. Вычерпывать себя по ложечке, как яйцо из скорлупы.

Я родилась в Ленинграде (факт, неоднократно вызывавший замешательство у работников зарубежных бюрократических структур, не желавших верить, что Ленин так бесповоротно мог вписаться в чью-то биографию), на Васильевском острове. Наш дом стоял возле старого немецкого кладбища, давно и безнадежно заброшенного, на котором хотелось скорбеть о двойной смерти — сначала людей, а затем и могил.

За неимением поблизости других природных оазисов кладбище считалось лучшим местом для прогулок. Бабушка настаивала на том, что там самый свежий воздух, намного здоровее, чем на детской площадке, отделенной от проезжей части лишь кромкой чахлых кустов. Поэтому, оставив позади запесоченную горку и проржавевшие качели, мы шли к утопающим в зелени гранитным склепам и скорбящим ангелам, у которых из глаз вместо слез падали гусеницы.

Зимой мне разрешали брать с собой санки и лопатку. Я старательно кромсала снег в надежде докопаться когда-нибудь до того света. Но на глубине меня ждала та же темнота, что и снаружи, и я в конце концов сдавалась. По дороге домой возникала мысль, что мы, возможно, еще не родились, а застряли где-то на подступах и что тот канат, который в сказке перетягивали между собой боги и антибоги, чтобы взболтать космический океан, на самом деле порвался от напряжения, так и не возмутив гладкой поверхности небытия.

В зарешеченных окнах полуподвальных этажей мерещились зловещие старцы, проникавшие в свои убежища прямо из-под земли. Они выглядывали из-за занавесок, опираясь на заставленные геранью подоконники, и даже через стекло обдували холодным дыханием коченеющие ноги. Дома недвигающиеся пальцы надо было отогревать у батареи, что причиняло дикую боль, заставлявшую корчиться и кричать.

Иногда что-то похожее на настоящую жизнь мелькало по телевизору, в снах, в журнале «Веселые картинки». Но и эта жизнь была призрачной и быстро заканчивалась (как кусок торта).

Екатерина Васильева родилась в 1974 году в Ленинграде. Окончила филологический факультет Кёльнского университета (славистика, германистика, романистика). Занимается научной работой в области современной русской литературы и кино. Преподавала в Свободном университете (Берлин). Автор ряда прозаических произведений. В настоящее время живет в Берлине.

Весной на улицах начинался потоп. В садик добирались по доскам, не касаясь земли.

— Что нас ожидает? — качала головой мама, стараясь не попасть каблуком в зазор. — Никто ведь не знает, что нас ожидает завтра! То ли дождь, то ли опять заморозки?

В спальном зале одна койка уже неделю пустовала. На ней раньше спал Антон — единственный мальчик в группе, который на тихий час вместо пижамы переодевался в ночную рубашку. Рубашка была длинная, почти до пола, в пунцовый горошек, напоминавший скарлатинную сыпь. Антона сбила машина. Теперь ему никогда не надо больше снимать своей рубашки и никто не пропоет в ухо, расталкивая за плечо: «Подъем — куриный водоем!» Как странно и как легко, что тебя в любой момент могут выключить, как свет в коридоре.

Только бы дожить до перехода в старшую группу! У них на площадке стоит огромный раскрашенный петух, на котором можно раскачиваться взад и вперед, свесив по бокам ноги. Взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед... Нет, самой мне никогда не остановиться!

Впервые полюбила в семь лет. Он был старше примерно в два раза. Встретились на даче в поселковом клубе. Сидели вместе в кинозале: я — рядом с бабушкой на пятом ряду, он — с подругой на третьем. Шел индийский фильм про Али-Бабу и сорок разбойников. «Сим-сим, откройся!» И скала разъезжалась. Но нельзя было понять, что там внутри. Тот, кто заглядывал туда, почему-то сразу убегал со всех ног или получал стрелой в лоб. Красная точка на лбу у индусов — это ведь просто мишень! Знак того, что от судьбы не уйдешь, если она сама тебя не отпустит. Будь готов — всегда готов!

После фильма начались танцы. Приехал из города рок-ансамбль и пел песни Юрия Антонова:

Время разлучает часто
С теми, кто нам дарит счастье.

Мне еще никто никогда не дарил счастья! Если вдруг кто-то подарит, то я от него, конечно, и сама убегу — пока не передумал и не забрал обратно.

Я стояла у стеночки, а он танцевал с подругой, слившись с нею так плотно, будто они оба были из пластилина. Иногда наши глаза встречались, и тогда мне казалось, что он смотрит на меня с затаенным вопросом или, наоборот, хочет что-то объяснить. Под конец песни на его лице ясно проступило возвышенное томление, и я решила, что следующий танец точно мой. Измятая в объятиях девушка проскользнула к выходу, роняя на ходу, как фантик, запах своих духов. Он, бросив мне напоследок душераздирающий взгляд, как будто против своей воли выбежал за ней. Придерживая одной рукой надетую вечером разве что для фасона панамку, а другой — кармашек с вышитой свинкой на животе, я вышла на крыльцо. Они целовались, расплющивая друг другу губы. Но я знала, я, конечно, знала, что он думает только обо мне. Значит, 1 : 0 в мою пользу. Навсегда.

Скрытое

«Скрытое нельзя увидеть или прочитать — только услышать. А для этого его нужно произнести или спеть. Но ни в коем случае не исполнить на музыкальных инструментах. Инструменты — как вообще любая техника — это протез, мешающий нам напрямую дотянуться до царства небесных созвучий. Мы должны соприкасаться с ним без посредников, используя только голос — обнаженный, единственный и

неделимый, в котором еще резонирует эхо того великого Голоса, подарившего когда-то миру загадочное Бытие, не имеющее, может быть, никакой другой субстанции, кроме его возвышенных вибраций. Чтобы снова не погрязнуть в хаосе, мы должны научиться настраивать свои голоса максимально чисто. Именно этой цели служит комплект из трехсот камертонов покойного друга моего отца, дирижера и композитора Эдуарда Греля, которые, очевидно, были изготовлены по его заказу с 1880-го по 1886 год для занятий с различными хорами в Берлине. Особенность этих камертонов в том, что они тренируют у певцов абсолютную слаженность исполнения и исключают погрешности звучания, неизбежные при обычной настройке. Если бы нам удалось использовать это открытие на практике, двери вселенской гармонии, вне всякого сомнения, были бы для нас открыты».

— Это пишет немецкий музыкальный историк Хайнрих Беллерманн, лично знавший Греля и, вероятно, передающий здесь в общих чертах то, что сам успел от него услышать, — сказал 55 725 627 801 600, захлопывая папку с материалами. — Когда-нибудь я поеду в Берлин и найду эти камертоны!

70 607 384 120 250 снисходительно относилась к его мечте. Ведь, кроме мечты, им почти ничего не оставалось! Однажды в зоопарке 55 725 627 801 600 пошутил, что они как те две птички неопределенной породы со странными мясистыми наростами на головах, которых все обходили стороной: и посетители, и соседи по вольеру. Только сами они, вероятно, и могли оценить друг друга. Для остальных это был просто каприз природы — нелепый и не имевший практического применения.

Начиная со студенческих лет они сменили несколько съемных жилищ. Но больше всего ей почему-то запомнилась комната на Петроградской, ставшая их первой личной ячейкой времени и пространства. В неисправном сливном бачке беспрерывно гудел водопад, и 55 725 627 801 600 приходилось перекрывать воду на время чтения партитур. Соседей, по счастью, не было: хозяйка съехала, закрыв свои вещи в двух других комнатах и оставив им только самое необходимое для выживания, будто хотела отвлечь их от осязаемого мира и заставить обратиться к невидимому.

Каждое утро, просыпаясь, 70 607 384 120 250 видела волнистый край кружевных гардин, выглядывавших из-под штор, как подол ночной сорочки из-под халатика, и мысленно посмеивалась над ними за эту неопрятность, хотя сама по утрам выглядела не лучше. Стулья хозяйка зачем-то обтянула полиэтиленом. В результате обивка не портилась, но сами стулья периодически расклеивались, теряя ножки и обнажая анатомические подробности каких-то внутренних креплений. Единственным и одновременно недостижимым предметом роскоши в этом спартанском интерьере была многоярусная стеклянная люстра. Электрические свечи перегорали в ней одна за другой, а достаточно высокой стремянки, чтобы менять их под четырехметровыми потолками, у них не было. Так они и жили под угрозой однажды остаться в полной темноте.

Сколько ни приходилось переезжать, 55 725 627 801 600 неизменно возил с собой свое пианино, а 70 607 384 120 250 — несколько книг, не находимых в библиотеке, и коллекцию открыток со сценками из балетных постановок далекого прошлого, собранную когда-то ее мамой. Все эти сильфиды, принцы и виллисы были лучшими друзьями ее детства, с которыми она когда-то прямо на комоде, заменявшем сцену, разыгрывала свои собственные, еще не виданные спектакли. Особенно ее поражали открытки, где танцоры висели в воздухе, будто духи на спиритическом сеансе. Если уж эти осколки танца, как милостыня перепавшие фотографу, так прекрасны, то что же будет, если увидеть всю партию целиком? Иногда искусство даже необходимо вкушать мелкими глотками, чтобы не обратиться перед ним в пепел, как Семела перед Зевсом!

На третьем курсе филфака по программе потребовался еще один славянский язык, помимо русского, и 70 607 384 120 250 выбрала сербскохорватский. В то время в Югославии как раз было особенно горячо, и у нее появилась мысль уехать туда военной переводчицей. Наглаживая для 55 725 627 801 600 по утрам рубашки, она с радостью думала о том, что скоро в их жизни все изменится. Он, конечно, поедет с ней. Музыковеды везде нужны! Будет анализировать военные марши. Разберется, какие из них действительно поднимают боевой дух, а от каких лучше и вовсе отказаться. Ведь так, на слух, это совершенно непонятно. А он держит перед глазами ноты и сразу видит музыку насквозь. Даже удивительно, как это у него выходит!

Но с Югославией оказалось трудно. Везде, где она наводила справки, на нее смотрели даже не с удивлением, а с жалостью. Судя по всему, там не требовались переводчики. На войне чем меньше слов, тем лучше. И опять они оказались не у дел — никому не нужные, кроме друг друга.

— Мы должны жить ради науки, — успокаивал он ее.

70 607 384 120 250 помнила, как однажды их пригласила в гости ее школьная подруга, с которой они не виделись лет десять. Подруга после выпускных экзаменов все никак не могла устроиться — то разносила телеграммы, то сидела в кооперативном киоске, но теперь уже успела закончить экономический факультет и работала старшим товароведом в ювелирном магазине. У ее мужа был какой-то мелкий бизнес в области деревообработки. Обычно 55 725 627 801 600 не любил говорить с непосвященными о своей работе, но тут, видимо, подействовало разливное крымское вино, которым в избытке угощали хозяева, и он, выслушав рассказ о превратностях сбыта древесины, вдруг вспомнил, как разыскивал для какого-то издательства малоизвестную рукопись Гайдна. Сколько он обошел библиотек, сколько обзвонил архивов, прежде чем нотный листок, в существование которого уже почти не верили эксперты, лежал перед ним и ждал включения в полное собрание сочинений композитора! Закончив свою историю, 55 725 627 801 600 бросил торжествующий взгляд через стол поверх еще не опорожненных блюд с закусками. Хозяева вежливо улыбались, но как будто не решались чего-то сказать. Наконец подруга заговорила за обоих:

— Все это очень интересно. Но мы никак не ожидали, что человек в твоем возрастеможет таким заниматься. Это ведь работа для старичков!

— В смысле? — насторожился 55 725 627 801 600.

— Ну, я думаю, там такие зарплаты, что только для пенсионеров и хороши. Да и то — разве что для теперешних. Скоро и у пенсионеров будут другие требования, так что, боюсь, некому станет в архивах сидеть. Хотя ведь там, наверное, так скучно, что следовало бы доплачивать еще и за вредность!

Они потом долго вспоминали этот разговор с каким-то мазохистским удовлетворением. Интересно, что именно через это издательство 55 725 627 801 600 вышел на след камертонов Греля, которые действительно должны были до сих пор храниться в Берлине.

— Судя по всему, никто ими пока не заинтересовался, — разводил он руками. — А мы еще боялись, что нам нечего делать в этом мире!

Когда-то он провел несколько семестров в Германии, но в Берлине был всего два часа проездом, не найдя в этом городе ничего примечательного. Зато теперь он каждый вечер раскладывал перед собой карты берлинских улиц и представлял, как уже совсем скоро будет по ним ходить. Однако потребовался еще год, чтобы наладить контакт с институтом, которому принадлежала теперь коллекция, и договориться о

возможности писать у них диссертацию. Уезжать было легко. Как неровно вырезанная когда-то в садике из фольги красная звезда, они не подходили ни к одному фону. Отовсюду им хотелось сковырнуть самих себя, хотя от переклейки становилось только хуже.

В Берлин приехали в декабре и сразу как будто попали на несколько месяцев назад. В Петербурге уже лежал снег, а здесь деревья, казалось, еще только начинали всерьез избавляться от листьев. Впрочем, делали они это как-то второпях, будто внезапно спохватились, и иногда опавшие листья, так и не успевая раскраснеться или пожелтеть, сразу серели, превращаясь в прах.

На остановке рядом с их домом чинно прогуливались неонацисты с женами, детьми и собаками. За углом у них была своя пивная. Вход туда был занавешен черной шторкой, как в секс-шопе. Иногда левые активисты под покровом ночи били им стекла. Пожалуй, вся эта черносотенная, чернофутболочная компания сошла бы за святых мучеников, не имей эти ребята такой витально-брутальный вид. Хотя что есть смирение, если не способность сносить все испытания со здоровым румянцем на щеках?

Первое свидание

Новые помещения Государственного института музыкальных исследований, находящегося в ведомстве фонда «Прусское культурное наследие», были построены в середине 80-х на восточной границе Западного Берлина. Вместе с подчиненным ему музеем музыкальных инструментов институт должен был вписаться в архитектурный ансамбль, к которому относились также филармония, публичная библиотека и два выставочных зала. Все эти здания собрали здесь, как в кулак, чтобы продемонстрировать восточной стороне превосходство западной культурной политики, осыпающей своих граждан плодами искусства и науки, как из рога изобилия.

У входа в институт 55 725 627 801 600 встретил вахтер. Не покидая своей застекленной каморки, он внимательно изучил документы, которые протянул ему новый аспирант и, немного подумав, разрешил подождать в вестибюле. На стене висела афиша с черно-белой фотографией танцовщицы, одетой только в оклеенную блестящей бумагой корону и инкрустированный бисером пояс. «Ольга Десмонд. Нагая Венера Пруссии», — успел прочитать 55 725 627 801 600. Ольга Десмонд, конечно, уже давно не танцевала, ее нагота теперь тоже была всего лишь «прусским культурным наследием». Внизу на афише значился адрес, по которому все желающие за символическую плату могли ознакомиться с оставшимися от нее реликвиями...

Кто-то окликнул 55 725 627 801 600 голосом, лежащим в верхнем нотном регистре.

«В хоре он наверняка стоит с тенорами», — подумал 55 725 627 801 600.

— Вы сразу хотите посмотреть коллекцию? — предложил возникший перед ним сотрудник, подавая руку с надежного расстояния, будто принимая позицию для менуэта. — Пойдемте, вас уже ждут.

Его провожатый двигался стремительно, но как-то хаотично, будто сам точно не знал, куда идти, и надеялся, что ноги отдельно от него вспомнят нужное направление. Исчезая за какой-нибудь колонной, он мог вдруг появиться уже за следующим поворотом, а потом снова раствориться в глубине коридора, чтобы через пару секунд вернуться назад и постучать, смущенно хихикая, в не замеченную ранее дверь.

Чем дальше они проникали в недра института, тем насыщенней и основательней казалась закрепившаяся здесь жизнь. Сначала им попадались только сложенные на полу стопки отсортированной музыкальной периодики, затем появились шкафы, из которых торчали диковинные акустические приборы. Кто-то заботливо отодвинул

в сторону возникшие на пути доски. Уборщица поспешно смахнула тряпкой неизвестного происхождения лужицу, через которую 55 725 627 801 600 хотел было перепрыгнуть. Наконец начались помещения, отданные непосредственно музыке — в самом материальном ее проявлении. Валторны, тубы, геликоны свисали с деревянных стеллажей, как копченые окорока в кладовой рачительного хозяина. На одной из стен 55 725 627 801 600 заметил распятый корпус контрабаса с растянутой на нем единственной струной, которую палач-реставратор с садистским хладнокровием поглаживал защищенными резиной пальцами. Затем показались короли музыкальных инструментов — рояли. Даже с откученными ножками, сложенные друг на друга наподобие захлопнутых тетрадок, они имели царственный вид. По виньеткам на передних стенках, как по кольцам на срезе дерева, 55 725 627 801 600 попытался определить их примерный возраст. Страшно подумать, какие тайны погребены, быть может, навечно под их массивными крышками!

Они переместились на один этаж ниже — в святая святых (или преисподнюю преисподен) института. 55 725 627 801 600 знал, что здесь, в намертво закрывающихся двойными дверями камерах, проводятся эксперименты над звуком. Звуки искусственно изолируют, отнимая у них естественные функции, вроде эха и резонанса, заставляя беспомощно блуждать в стерильном акустическом пространстве в поисках своих несуществующих отражений.

Часть подвала была изначально предназначена под бомбоубежище — дань модной в 80-х тенденции. На смену эпохе «холодной войны», однако, пришла не только эпоха разрядки, но и эпоха спокойного понимания тщетности всех аварийных концепций спасения, так что убежища теперь подчеркнуто отрицали сами себя и свое предназначение стоять на страже органической жизни, давая вместо этого вечный приют списанной технике.

Провожатый театральным жестом распахнул перед ним обитую войлоком дверь, и 55 725 627 801 600 почти сразу уперся в низкий металлический стол, похожий на операционный и уходящий другим концом куда-то в глубину помещения, плохо освещенного двумя тусклыми электрическими плафонами. На столе была раскатана белая бумажная скатерть. Сверху лежали камертоны Греля, похожие на гигантские пинцеты и аккуратно обмотанные в пожелтевшие от времени тряпочки с выписанными на них тушью иероглифами, в которых только при ближайшем рассмотрении угадывались виньетки архивных шифров. Они молчали. Но в каждом из них чувствовалась нежная, пульсирующая вибрация, готовая в любой момент сорваться в воздух и заполнить собой тот уголок вселенной, который изначально принадлежал именно ей в гениальной партитуре мироздания.

55 725 627 801 600 был потрясен этим сочетанием мертвого и живого, этой бесконечной пирамидой смыслов, наслаивающихся на материальную очевидность предметного мира. Он видел перед собой алтарь, на котором дымились жертвы священного культа, братскую могилу, где возвышенно разлагались мощи узников концлагерей, свитки Торы, по строчкам которой блуждает карающий Закон...

Только сейчас, привыкнув к полумраку, 55 725 627 801 600 заметил по другую сторону стола тучную фигуру мужчины средних лет с коротко остриженной головой, в тяжелых очках, под которыми почти полностью терялся приплюснутый нос. Обе руки он положил на стол ладонями вниз, веки его были полуопущены. Казалось, он спал или медитировал.

Провожатый куда-то исчез, и 55 725 627 801 600 стоял в нерешительности, не зная, как обратиться к стражу камертонов и стоит ли это делать вообще. После затянувшейся генеральной паузы незнакомец приоткрыл чуть вывернутые наружу губы,

из которых полился на удивление хрупкий голос, напоминающий по тональности григорианский хорал.

— Вы меня не узнали? — спросил он.

55 725 627 801 600 покачал головой.

— Мы состояли в переписке, — продолжал страж гармонии, не поднимая век. — Я директор института Бреннер. Мы ждали вас еще на прошлой неделе.

— Вы знаете, мы должны были найти квартиру, устроиться. Переезд в другую страну — такое дело...

— Да, понимаю. И где вы обосновались? В каком районе?

— Пренцлауэр Берг.

— А, на востоке, — причмокнул Бреннер с некоторым презрением. — Вы знаете, у нас есть сотрудники, которые сбежали к нам оттуда в свое время. Вы не представляете, через какие унижения им пришлось пройти, прежде чем они смогли пересечь границу. Теперь, конечно, вы можете приехать сюда прямо на трамвае, — заметил он почти с досадой.

— Это и есть камертоны Греля? — спросил 55 725 627 801 600, радуясь, что директор выглядит слишком погруженным в себя, чтобы заметить его волнение.

— Да, весь комплект. Вернее, почти весь. Три камертона утеряны. Возможно, еще до войны: в последний раз архив поднимался лет шестьдесят назад. Но это никак не должно сказаться на вашей работе. На основании оставшихся двухсот девяноста семи можно делать все необходимые выводы. Вы ведь ознакомились с таблицами, которые я выслал вам в Петербург?

— Разумеется.

— Тогда для вас не должно быть здесь особых сюрпризов. Каждый камертон описывается с помощью четырнадцатизначного числа, дающего в системе Греля исчерпывающую информацию о его звучании.

— Да, но когда видишь их так близко...

Директор многозначительно усмехнулся, протянул пухлые пальцы к одному из лежавших в поле его досягаемости камертонов и осторожно погладил его одними подушечками, будто желая убедиться, что это не фантом:

— Разумеется, никакая теория не заменит прямого контакта с объектом. Для этого мы и пригласили вас сюда. Ваша задача — соединить теорию с ее воплощением, математические расчеты, найденные в бумагах Греля, — с той уникальной музыкой, которой он до самой смерти пытался добиться с помощью своих камертонов. Видимое — с невидимым.

Бреннер стянул с себя очки и с заметным усилием приподнял веки. В этот момент 55 725 627 801 600 осознал, что разговаривает со слепым.

Семейные тайны

Бабушка Лиля любила говорить: «Лучше сто морщин на лице, чем одна на чулке». Я была уверена, что эту мудрость она почерпнула у своей мамы, служившей когда-то горничной в старинной актерской семье, где к обеду иногда бывал сам Шаляпин. На фотографиях у этой чужой мне женщины всегда был напряженный и немного испуганный вид, будто она и вправду страшно переживала за свои чулки, не сморщились ли они случайно на коленках.

Я никак не могла запомнить ее имя, хотя бабушка всегда произносила его четко, чуть ли не по слогам. Что-то крайне простонародное, что можно было носить только в лаптях и подперев руками сарафанные бока на манер буквы «ф». С этой буквы, кажется, оно и начиналось — то ли Фекла, то ли Федосья, то ли Федора. Как она ре-

шилась приехать с таким именем в Петербург? Платье можно сменить, чулки подтянуть, но ведь имя-то остается — складывает и раскладывает себя по слогам, как веер.

В семье, приютившей Федору, настроены были демократично. С прислугой обращались на «вы» и приглашали прямо к столу ‹не делая исключений и на время визитов Шаляпина›. На прогулку с детьми Федосью отправляли на велосипеде. И опять ее имя, истонченное, как нить, детскими голосами, летело за ней по аллеям парка, наматывая заглавную букву на окружности колес.

Благодаря велосипеду Феклу и заметил бабушкин отец, Василий. Сначала заметил именно велосипед и с ходу определил его марку, а потом уже увидел, что на нем сидела дама, но не смог сразу составить о ней определенного мнения. Он дождался, пока она сделает круг и снова проедет мимо. Но опять — ничего конкретного, никаких особых прелестей и примет. Так он и стоял озадаченный до конца ее прогулки, а потом и еще несколько раз приходил, чтобы только разобраться — нужна она ему или нет. Наконец заключил, что издали такие вещи не решаются: что нужно, как минимум, сходить в кинематограф или откушать с ней на господской кухне, пусть и в присутствии кухарки. Нет, нет, все не то! Необходимо именно остаться наедине, чтобы никто не мешал спокойно разглядывать и думать...

Свадьбу сыграли уже перед самым февральским переворотом. Федора потом смеялась, что кругом стрельба, волнения, а у нее внутри все так от счастья взрывается, что никаких революций не надо! Жаль, что фотограф опоздал к этому моменту. Хотя, может быть, это и была его работа — заглушать своей вспышкой внутренние взрывы, выглаживая реальность, как выглаживали его клиенты свои платья и воротнички, прежде чем переступить порог ателье? Чтобы ни одной складки, ни одной морщинки, ни одного затаенного желания, которое могло бы, как зараза, передаться потомкам.

Бабушка еще говорила: «Тебе нельзя носить короткие юбки. Твои ноги вызывают у мужчин низменные чувства». Интересно, как выглядят ноги, которые вызывают возвышенные чувства? Могут ли ноги — разумеется, при соблюдении определенных пропорций — сеять разумное, доброе, вечное? Существует ли в теле то золотое сечение, которое заставляет забыть о его физической природе и напрямик переносит созерцателя в пространство духа?

«В наше время, — продолжала бабушка, — все было как-то лучше, чище. К людям не приставала никакая грязь».

Белье бабушка кипятила в эмалированном ведре на газовой конфорке, помешивая его длинной деревянной ложкой.

«Ни одного пятнышка — слышишь? — ни одного пятнышка не должно оставаться! — приговаривала она. — От женщины все зависит... Помню, ухаживал за мной после войны один летчик. Волевой подбородок, голубые глаза — красавец. Один раз после ресторана предложил к нему домой подняться. Было поздно уже, я не хотела, но он взял меня на руки и так и нес до самого пятого этажа. А я ведь не легенькая была, очень даже в теле! Ну вот, принес он меня и на коленях умолял отдаться. А я — посмеялась только».

Уезжая на дачу и оставляя нам квартиру ‹утюг, холодильник, сервант›, она, отозвав меня в сторону, протянула накрахмаленную белоснежную салфетку, обшитую по краям кружевом.

— Не забудьте подложить, — шепнула она, кивнув на диван. — Там еще стопка в нижнем шкафчике, возьмете сколько надо.

Мы парили потом на этой салфетке, как на облаке, цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, чувствуя, как целая эпоха раскуривает вокруг нас свой фимиам.

Пространство страха

В Берлинскую картинную галерею 70 607 384 120 250 приходила каждый четверг. Прямо в вестибюле сбрасывала с себя принесенные снаружи мысли и вместе с верхней одеждой сдавала на хранение в гардероб. Первый зал был пуст, будто посетителям предлагали в последний раз перевести дыхание.

В одно из первых посещений 70 607 384 120 250 расслышала слова проходящей мимо экскурсоводки, доверительно брошенные какой-то туристке, озадаченно теребившей входной билетик:

— Можете себе представить, люди рыдают перед картинами!

70 607 384 120 250 всего один раз в жизни видела, как рыдают перед картиной.

Она тогда заканчивала восьмой класс и уже всячески тянулась ко взрослым развлечениям. В один из майских вечеров их с подругой занесло на презентацию нового культурно-художественного журнала в Музее-квартире Пушкина на Мойке, двенадцать. В первом отделении немногочисленной публике рассказывали про обэриутов и про то, что они, по последним научным данным, страдали дислексией, чем и объясняются их языковые эксперименты ‹этот рассказ, конечно, тоже был экспериментом, но не все сразу поняли шутку›. Потом смешной человек во фраке и с ушами от Микки Мауса, прикрепленными к шляпе, пел песни на стихи Даниила Хармса под аккомпанемент рояля. А после антракта улыбающийся, излучающий оптимизм киновед объявил, что хочет представить аудитории американский фильм ужасов «Собаки» ‹или «Псы»›, в котором просит обратить особое внимание на конструирование пространства страха. В маленьком зале с пилястрами и изящными малиновыми креслами погасили свет, по темному экрану забегали силуэты бродячих собак, выслеживающих в ночи свои жертвы. Было страшно и весело от того, что все это происходит в непосредственной близости от апартаментов великого поэта и что откушенные кинобестиями конечности то ли пародируют, то ли искупают пролитую им на дуэли кровь.

Когда происходящее на экране окончательно приобрело ритуальный характер и стало напоминать навязчивый сон, они с нервным хихиканьем покинули зал. Петербургская ночь оказалась намного светлее американской. Они шли вприпрыжку вдоль рек и каналов, демонстрируя друг другу размах расклешенных юбок, надувающихся, как паруса, при повороте вокруг своей оси. Кровожадные собаки будто остались в другом мире, но в то же время продолжали присутствовать где-то на кромке подсознания, невидимо следуя за ними на своих мягких лапах и сверкая голодным оскалом из каждой подворотни.

Вдруг стало понятно: это они убили Александра-то нашего! Перегрызли ему горло — бестии окаянные. Здесь, на Екатерининском канале, пролилась кровь, и был воздвигнут храм невинно убиенному государственному мужу. И покрыли тот храм, внутри и снаружи, росписями цветными, чудесными, чтобы сердце народное сжималось от тоски и радости.

В церковь уже не пускали. Но какая-то старушка в коричневом, длинном не по погоде платье с брошкой, прижимая к груди сумочку, семенила через площадь к Спасу на Крови, будто по срочному делу, которое никак нельзя было отложить. Обойдя церковную стену с востока, она остановилась возле фрески с распятым Иисусом, опустилась на колени, положила перед собой сумочку и стала горячо целовать оказавшиеся на уровне ее лица розовые ступни, размазывая по ним исторгнутые в рыданиях слезы.

70 607 384 120 250 вспомнила, что Христос показался ей тогда каким-то несураз-

ным, будто он просто не знал, куда девать свои руки, и от того держал их на уровне плеч. Или же земная оболочка его вообще больше не волновала, и он был рад повесить ее на гвоздь, как запылившийся плащ.

Она завернула в раздел к фламандцам. Здесь не презирали анатомических подробностей. Доступ к божественному открывался напрямую через жировые складки, набухающие под кожей венозные соцветия и напрягшиеся мускулы. Можно понять тех церковников, которые, начиная с эпохи Ренессанса, удаляли из капелл и часовен чересчур натуралистические изображения святых и библейских патриархов: уж слишком увлеченно, судя по всему, молились на них прихожанки. Граница между религиозным и эротическим экстазом постепенно размывалась, пока церковь наконец не сдалась, сделав ставку исключительно на эротику.

С расцветом барокко Богочеловек становится все более мускулистым и загорелым, будто у него постоянный абонемент в тренажерный зал в комбинации с солярием. Если раньше самыми распространенными были сцены распятия и оплакивания, то теперь популярность приобретают сюжеты, где Спаситель целиком контролирует ситуацию, являясь оторопевшей Марии Магдалине в образе садовника с инструментами за плечами, разгоняя плеткой торговцев в храме, дозволяя ощупывать себя неверующему Фоме...

Вот знаменитая картина Рубенса: Иисус по-хозяйски вручает Петру ключи от Рая в присутствии других апостолов. Ключей — две штуки (один — от квартиры, другой — от подъезда). Духовное превосходство Христа прочитывается в превосходстве физическом. Он один из всей группы не стесняется демонстрировать обнаженный торс, эффектно оттененный перекинутой через плечо алой накидкой. О перенесенных — или грядущих? — мучениях напоминает только маленькая ранка под правой грудью, больше похожая на боевой шрам — украшение любого мужчины. Униженно согнувшийся к ключам дряхлый Петр с тоской взирает на рельефные мускулы Сына Божия, которому повезло не только погибнуть, но и воскреснуть молодым.

Гость

Письмо пришло, пока она плавала в бассейне. Нет, не плавала, а висела над кафельным дном в самом «ленивом» отсеке купальни, вдали от состязательных дорожек, зажатая между двумя конвульсирующими подводными струями. И письмо тоже висело в электронном почтовом ящике. Нет, оно лежало там, как зверь в засаде.

В бассейне был женский день, поэтому разрешалось заходить в воду совсем без одежды, чем, впрочем, немногие пользовались. Луч солнца заглянул внутрь через стеклянную крышу, как всевидящее око царя Давида.

Они уже и раньше состояли в переписке, но очень короткое время. 66 870 753 361 920 тогда стал лауреатом очередной престижной литературной премии, и ей поручили сделать с ним интервью для одного журнала. Интервью предполагалось сделать заочно, так как 66 870 753 361 920 был женат на американке и уже много лет жил в Калифорнии. Кутаясь в мохеровую шаль и придвигаясь ближе к батарее, она набрасывала список вопросов и представляла себе, как он, загорелый и обветренный морским воздухом, будет отвечать на них, быть может, прямо на террасе пляжного кафе. Его взгляд тогда, конечно, остановится на проходящей мимо девушке в бикини — и это будет для него она.

Но роман его она тогда не смогла прочитать, отвлекшись на что-то другое. Идея интервью забылась даже в журнальной редакции, а переписка оборвалась к обоюдному, как ей казалось, облегчению.

С тех пор он стал еще известнее, не читать его для человека ее профессии было уже почти неприличным. Но именно это-то теперь и останавливало: она боялась, что где-то между строк ей сделается душно от чужих восторгов, и откладывала чтение на потом, когда его, может быть, забудут.

Новое письмо (почти через семь лет после предыдущего) даже не успело ее толком удивить. Чтение заняло всего несколько секунд, и сразу стало понятно, в чем дело. В самом повседневном тоне он сообщал, что приезжает на полгода в Берлин и, услышав от общих знакомых, что она сейчас тоже там, хотел бы возобновить знакомство. Ей показалось странным и даже слегка обидным, что он за это время, конечно, уже бывал в Петербурге, но ничего «возобновлять» не собирался. Зато ведь и она ни разу не сходила на его творческий вечер, хотя образ загорелого писателя на берегу моря продолжал втайне волновать воображение.

Через неделю 66 870 753 361 920 ждал ее на мостике над железной дорогой, поеживаясь в застегнутой до подбородка демисезонной куртке. На улыбку он не ответил и вообще выглядел подавленным. То ли его не устраивала далекая от калифорнийских стандартов погода, то ли он все еще был погружен в мысли о новом романе, над которым собирался работать до обеда. Другие возможные причины: ее опоздание (на две минуты) и она сама — отнюдь не в бикини, а, напротив, в пальто и вязаной шапочке, с которой не решалась расставаться после недавней простуды.

— Очень рад познакомиться лично, — сказал 66 870 753 361 920 таким тоном, что ей показалось, что он сейчас просто развернется и уйдет.

Но следовало хоть немного прогуляться вместе, хотя бы ради соблюдения приличий.

— Если хочешь, я покажу тебе наш район, — бодро предложила она.

— А что здесь интересного? — он недоверчиво осмотрелся.

— Вообще-то ничего, — поспешила 70 607 384 120 250 занизить ожидания. — Просто сохранилась застройка начала прошлого века. Раньше здесь жили рабочие, а теперь наоборот — люди искусства.

Положив руки в карманы плохо греющей куртки, 66 870 753 361 920 молча двинулся за ней. 70 607 384 120 250 вдруг почувствовала себя с ним удивительно легко. Не надо было прилагать усилий, отвечая любезностью на любезность. Они как бы перескочили эту стадию, оказавшись сразу на следующей, когда люди либо молчат, либо говорят о главном.

Он рассказал, что уже четыре года как развелся. Это ее удивило: в интервью он до сих пор упоминал этот брак в настоящем времени и называл бывшую уже, оказывается, жену «моя любовь».

— Я не люблю ее больше, — вставил он, как бы угадав ее мысли. — Теперь прошло.

Они зашли в какой-то скверик, для чего им понадобилось отворить низенькую железную калитку и снова затворить ее за собой. Но в скверике не оказалось ничего любопытного, кроме пологой горки, от которой даже у малышей едва ли захватывало дух, и собачьих экскрементов, на которых пришлось всецело сосредоточиться, чтобы, не вляпавшись, добраться до противоположного конца сквера, где на выходе их ждала точно такая же калитка.

Неожиданно он сказал:

— Я так счастлив, что встретил тебя!

70 607 384 120 250 молчала. Ей хотелось, чтобы он держал свое счастье при себе, как делала это она.

Дождавшись, пока они как бы случайно окажутся в двух шагах от ее дома, она пригласила его зайти. В квартире был наведен относительный порядок, хотя с первым хаосом переезда удалось справиться совсем недавно. Только на люстре, которую всего неделю назад подвесили к потолку гостиной, почему-то не горела одна лампочка, как когда-то давно в Петербурге. Именно эта деталь и бросилась ему в глаза.

— Хромающая на одну лампочку люстра — я уже знаю, в какой сцене она появится у меня в романе! — сказал он, торжественно показывая наверх.

Они сели на диван прямо под цветной литографией, изображающей хищно вгрызающуюся в яблоко змею. Вдруг пол пришел в движение, мелко завибрировал, будто пытаясь стряхнуть их, как пылинки с ковра. Оказалось, это рабочий с катком под окнами утрамбовывал асфальт. Подождав, пока дрожь в полу уймется, он начал рассказывать:

— Когда мы с Джил приехали на побережье, я не мог понять, как можно постоянно жить на курорте. Ну, жить еще куда ни шло! Но как здесь можно работать? Потом я, правда, научился воспринимать это как ссылку, как мою персональную Сибирь. Просто вместо леса здесь море, а вместо барака — одноэтажный домик с гаражом и садом, который, кстати, нужно возделывать — в лучших гуманистических традициях. Но суть все равно одна — одиночество и уход в себя. Ну, утро, чтобы не расслабляться, начинается с прогулки, как у Льва Толстого в Ясной Поляне. Только на обстоятельную прогулку в нормальном темпе, конечно, нет времени, поэтому приходится «гулять» в спортклубе, по беговой дорожке. Вообще, в спортклубе мне нравится. Есть в этом некий элемент смирения. Вот сидишь ты, скажем, целыми днями за компьютером, погружаешься в роман, думаешь обо всех тех людях, которые потом будут его читать, о том, как ты развернешь их мировоззрение... И тут вдруг оказываешься в этой раздевалке — как равный среди равных. Удивительное чувство! Ты надеваешь на себя футболку с номером, и тебя как личности уже как будто нет. Это и есть лагерный опыт, которого современному писателю так не хватает. Если тренажеры установлены правильно и нагрузка достаточно большая, то в такие моменты ты не можешь думать о романе. И этот вакуум в голове чрезвычайно важен: происходит своего рода освобождение, будто само собой расчищается место для новых идей. Чтобы роман поднялся до максимальной высоты, его нужно отпустить, как шарик. И это возможно только в минуты отказа от себя — в спорте или в экстазе.

Жалость и желание

Женщину с идеальной фигурой никогда нельзя полностью раздеть. Раздеть — значит сделать беззащитной, поставить в неловкую ситуацию, заставить принести себя в жертву. А о какой жертве или неловкости может идти речь, если тело под платьем оказывается совершенным? Наверное, поэтому в объекте любви больше всего интересуют недостатки.

55 725 627 801 600 нравилось наблюдать за 70 607 384 120 250 в нелепых ситуациях. Как-то она провожала подругу в аэропорт, автобус неожиданно тряхнуло, 70 607 384 120 250 налетела лицом на стекло и разбила себе нос. Было много крови, ее высадили в оживленном месте, возле какого-то гипермаркета. Вокруг стали собираться любопытные. Всех живо интересовало, как она с такой кровавой травмой может стоять и даже звонить по телефону. Звонила она, конечно же, 55 725 627 801 600. Он был недалеко и приехал раньше, чем «скорая», которую на всякий случай вызвал водитель.

55 725 627 801 600 сдержанно обнял ее, следя за тем, чтобы не запачкаться кровью. Они хотели сразу ехать домой, но санитары из подоспевшей «скорой» настояли

на том, чтобы доставить 70 607 384 120 250 в больницу. В приемном покое о них никто не позаботился. Кровотечение остановилось как-то само собой. Наконец 70 607 384 120 250 вызвали на рентген, который не обнаружил никаких серьезных повреждений. В результате их отпустили на все четыре стороны, даже не предложив смыть кровь под краном. 55 725 627 801 600 отмывал ее по дороге, в городском фонтане. 70 607 384 120 250 уже вовсю смеялась, хотя все еще было больно и немного стыдно.

В тот же вечер они сбились со счета, занимаясь любовью. Он признался, что никогда еще не хотел ее так сильно. Разве что однажды, когда у нее несколько дней подряд держалась температура под сорок. Она вставала с кровати только в туалет, почти ничего не ела и с трудом воспринимала окружающую действительность. Он готовил для нее бульон, читал вслух фантастические рассказы (она ненавидела фантастику, но в таком состоянии ей было все равно) и в промежутках овладевал ее разогретым от температуры телом

.

Писчий спазм

Когда академик Павлов проводил опыты над собаками, он обратил внимание на странное явление, о котором решился упомянуть в своих лабораторных дневниках только лишь на полях и которое не стал включать в свою научную теорию из опасения зайти слишком далеко, в какие-то сферы, куда он на тот момент и сам не хотел заглядывать. Итак, он заметил, что если достаточно долго держать собаку в относительной неподвижности, последовательно лишая ее визуальных, аудитивных и любых других чувственных возбудителей (то есть зафиксировать в темной комнате с непроницаемыми для звуков стенами и с клапанами на глазах, а питание подавать через специальную инъекционную трубочку, вставленную заранее под кожу), то прикрепленные к ее голове датчики обнаруживают любопытные вещи. Через какое-то время мозг сам начинает проецировать на сетчатку глаза некие картины, которые собака, разумеется, не видит в данный момент, да, скорее всего, никогда и не видела. Чаще всего это набор произвольных фрагментов действительности, не имеющих к подопытному животному никакого отношения. Например, ей могут «пригрезиться» интегральные формулы или архитектурные чертежи вперемежку с венецианскими палаццо. Но это действительно только пример, потому что на деле «видения» настолько хаотичны и запутанны, что четко отделить их одно от другого не представляется возможным (по крайней мере, с помощью той техники, которой располагал тогда Павлов) . Однако самое удивительное заключается в том эффекте, который эти самогенерирующиеся образы производят на собаку: она начинает беспокоиться, рваться изо всех сил из креплений и в конце концов сходит с ума, не будучи в состоянии вернуться к нормальной жизни, даже после полного окончания эксперимента.

В начале 70-х группа энтузиастов-психоневрологов независимо от предшествовавших исследований (материалы которых осели в секретных архивах как противоречащие соцреалистической концепции художественного творчества и подрывающие научный авторитет академика) поставила ряд похожих экспериментов, но уже с людьми. Эксперименты поначалу имели игровой, полуразвлекательный характер, и стоял даже вопрос о том, чтобы задействовать их в каком-то популярном телешоу. Однако результаты оказались слишком неоднозначными, так что запланированный эфир пришлось отменить.

Идея была, по сути, та же, что и у Павлова, с поправкой на человеческий материал. Подопытного изолировали от привычной среды, помещая на несколько недель в

практически стерильную в плане интерьера комнату. О телевизоре или радиоприемнике, конечно, и говорить нечего, но даже орнамента на обоях или посуде старались избегать: ничто не должно было отвлекать испытуемого или испытуемую от самого себя. При этом выбирали преимущественно людей нетворческих профессий, иногда даже вообще с незаконченным средним образованием (этого требовала чистота эксперимента). Поначалу тестируемые вели себя совершенно нормально: пили, ели, прогуливались взад-вперед по комнате (в этом их никто не ограничивал), пробовали что-то напевать. Казалось, им ничего не нужно, и они спокойно ждут окончания эксперимента (за участие в котором им, к слову, полагались определенное денежное вознаграждение и дополнительный отпуск). Но когда, ближе к концу оговоренного срока, им вдруг неожиданно давали бумагу и ручку, почти все набрасывались на них чуть ли не со сладострастием и тут же принимались писать — причем с удивительным проворством и быстротой. Например, некая швея-мотористка, сорока восьми лет, за полдня исписала почти целую общую тетрадь, практически без единой помарки. Но больше всего удивил наблюдателей сам произведенный ею текст: это оказалась научно-фантастическая повесть с таким детальным описанием космической техники, что было просто удивительно, как человек, никогда не соприкасавшийся с этой областью знаний, может ко всему этому прийти. Другой подопытный, водитель грузовика второго разряда, тридцати пяти лет, написал цикл рассказов «из жизни Древнего Востока», также снабдив свое повествование рядом узнаваемых для профессиональных историков подробностей и даже некоторыми оригинальными изречениями на мертвых уже языках, известных теперь только редким специалистам.

Однако было также несколько случаев, имевших другой исход, точнее говоря — прямо противоположный. Обнаружив бумагу и писчие принадлежности, подопытный сначала с заметным воодушевлением садился к столу, но при попытке писать его внезапно охватывало резкое напряжение, затрагивающее в первую очередь разные группы мышц руки, участвующей в акте письма. Рука начинала дергаться и дрожать, при этом подопытный жаловался на боли и слабость в области кисти, существенно затрудняющие удержание ручки и ведение ею по бумаге, в особенности в конце строки. Чтобы добиться некоторого облегчения, пишущий прибегал к различным ухищрениям: например, подтягивал свободной рукой лист бумаги, как бы проталкивая вперед застопорившуюся строку, стабилизировал выскальзывающую из пальцев ручку, зажимая ее в кулаке, или высоко поднимал локоть над столешницей, пытаясь избежать неконтролируемых спазмов. Тем не менее существенного улучшения не происходило. Если ему и удавалось воспроизвести что-то на бумаге, то почерк оказывался настолько искажен, что даже сам испытуемый зачастую не мог расшифровать написанное, приходя от этого в отчаяние (ибо он по какой-то непостижимой причине был убежден в исключительной важности излагаемого). Тяжело переносился этим видом подопытных и тот факт, что процесс письма постоянно замедлялся, в то время как поток мыслей, требующий своего исхода на бумагу, судя по всему, все ускорялся. Если вовремя не вмешаться, такая ситуация вполне была способна привести к нервному срыву или психологическому истощению. Интересно, что на фоне откровенной деградации функции письма все остальные действия, производимые кистью руки, оставались в таких случаях сохранными. Испытуемый мог без проблем продолжать пользоваться столовым прибором, расчесываться, бриться, застегивать и расстегивать пуговицы, но при попытке что-либо написать он снова и снова сталкивался с непреодолимыми физиологическими затруднениями.

Чтобы вернуть пострадавшим участникам эксперимента способность к письму, был разработан ряд упражнений. Например, они получали задание написать текст

под диктовку или переписать отрывок из книги или газетной статьи. Это фокусировало их внимание на происходящем вокруг, подпитывало интерес к внешнему миру и со временем избавляло от чрезмерной сосредоточенности на внутренних процессах, ведущей к мышечной блокаде. Полезным оказывалось также письмо под метроном с постепенным убыстрением ритма. Особенно благоприятный прогноз все эти меры обещали в комбинации с приемом транквилизаторов и релаксантов. Однако, несмотря на это, тестируемым, попавшим в эту категорию, так и не удавалось впоследствии произвести на свет самостоятельный текст сколько-нибудь осмысленного содержания. Способность к письму они возвращали себе через копирование и, однажды обретя привычную твердость в пишущей руке, больше не проявляли никакой склонности к самовыражению в письменной форме.

Древнейшая профессия

Берлинская квартира 66 870 753 361 920 находилась в самом модном, но при этом, наверное, самом скучном районе города, куда по инерции все еще продолжали селить представителей творческой элиты, приехавших по приглашениям различных фондов. Какое-то время назад здесь, должно быть, бурлила жизнь, но теперь цены на недвижимость подскочили так сильно, что местной публике стало уже не до веселья. Зато появилась тяга к роскоши в качестве компенсации за потерянную свободу.

И самое главное: все вдруг заговорили на английском. Немецкая речь на улице или в кафе стала редкостью. Однажды 70 607 384 120 250 увидела группу людей, оживленно переговаривающихся между собой по-немецки. Оказалось, это туристы, догоняющие своего экскурсовода. В остальном гарантированно немецкоязычным был только обслуживающий персонал: продавщицы в булочных, официантки в кафе, строительные рабочие в синих комбинезонах и, разумеется, проститутки. Как только начинало темнеть, девушки в корсетах, зашнурованных — в зависимости от погоды — поверх дутых курточек или летних сарафанов, выстраивались вдоль улицы.

Считается, что писатели издревле с особенным сочувствием относятся к служительницам культа платной любви. Вероятно, здесь играет роль определенная солидарность: и те, и те не производят ничего осязаемого. Тело проститутки так же, как и текст писателя (овеществленный в книжке), принадлежит покупателю только иллюзорно, через те эмоции, которые оно в нем пробуждает. Чем сильнее эмоции, тем надежнее выручка. Однако по большому счету каждый остается при своем: проститутке никуда не деться от своего тела, как и писателю не убежать от текста. А другим перепадают только крошки от блюда, которое с ними разделили через силу, с трудом преодолевая стыд и отвращение.

66 870 753 361 920 говорил:

— Либо оно дается тебе легко, либо это никому не нужно. Роман должен прийти сам, как хорошая официантка.

Официантка, однако, не приходила. Завернувшись по шею в обязательные в это время года во всех уличных кафе шерстяные одеяла, они сидели за столиком, почти перегородившим весь тротуар, и пытались проникнуться «гением места» — игра, которой он научил ее пару дней назад. 70 607 384 120 250 теперь знала, что «гений места» есть везде, даже в зубоврачебных кабинетах, где только что сделали ремонт и провели дезинфекцию. Только нащупывать его надо осторожно.

За соседним столиком сидела женщина средних лет, но одетая броско, даже с какой-то сумасшедшинкой. Седые пряди в коротко стриженных волосах соседствовали с голубыми. Почти не отрываясь, она писала что-то в толстую коленкоровую

тетрадь, заполняя ее быстрыми, безукоризненно ровными строчками, не знающими помарок и исправлений. Иногда ее взгляд чуть соскальзывал в сторону, и тогда она смотрела сквозь них, улыбаясь кому-то невидимому — то ли рассеянно, то ли саркастически.

— Как ты думаешь, она пишет про нас? — предположила 70 607 384 120 250.

— Вполне возможно, — согласился 66 870 753 361 920. — Мы ведь благодарные объекты, говорим на непонятном ей языке: есть где разгуляться творческой фантазии. Вот, кстати, почему художники так любят обнаженные модели: у голой женщины нет прошлого, настоящего или будущего. Она вырвана из своей жизни и отдана тебе — бери, пиши, заполняй ее, чем хочешь. Удивительно, но когда разденешь женщину, первое, что хочется сделать, — это одеть ее снова, дать ей новую историю, новую личность. Это как роды: вот она лежит перед тобой, вся такая голенькая и беззащитная. Ты добился, чего хотел! И вот теперь ты начинаешь задумываться о воспитании, о том, что могло бы выйти из нее потом — роман, рассказ или повесть? Иногда, правда, хватает только на одно лирическое отступление.

Самым интересным местом дома у 66 870 753 361 920 оказалась спальня, почти целиком отданная под книги. Они лежали на деревянной панели над изголовьем кровати, на подушке, в складках одеяла, на стульях и даже на полу, занимая законное место комнатных тапочек. Было невозможно лечь в эту постель или хотя бы присесть на край, избежав тесного контакта с классиками.

Прямо с порога 66 870 753 361 920 подошел к окну и раздвинул штору, как будто снял завесу с картины, заранее зная, какой она произведет эффект. Закат проступал на небе цветными пятнами, как диковинная болезнь. Розовый смелел, наливался краской и затевал смертельную схватку с голубым, но постепенно оба сдавались, ослабляли свой натиск и неожиданно сливались, но уже не в ярости, а в экстазе. Отсвечивающий золотом купол новой синагоги и вспыхивающий маяком шпиль телебашни казались на этом фоне останками давно отживших цивилизаций, поднятыми археологами в надоблачный музей, который соотносится с нашим миром, как наш с подземным. С трудом верилось, что все это можно видеть и чувствовать наяву.

— Есть два типа вдохновения, — объяснял 66 870 753 361 920. — Один — женский и один — мужской. Женское вдохновение я называю «вдохновением Данаи». Жизненный опыт или особенности биографии здесь не играют никакой роли. Напротив: чем ты моложе, счастливее и беззаботнее, тем даже лучше. Когда на тебя вдруг начинает изливаться золотой дождь, ты даже не знаешь толком, чем ты это заслужил. Ничем! Дело именно в твоем естественном открытом взгляде на мир, что само по себе магически притягивает богов. И вот когда золотые капли вдруг брызнут сверху, как из душа, тут уже вопрос в том, что ты будешь с этим делать. Лучше всего не искать объяснений, а просто довериться этому ощущению и принять его как самый драгоценный подарок. Тогда есть шанс сразу получить такую власть над словом, к которой иные идут годами, а то и десятилетиями. Однако так же быстро, как он появился, этот дар может и пропасть — вместе с юностью и, если хочешь, определенной наглостью (тоже, кстати, исключительно привлекательное качество для богов!). И тогда — все кончено. Золотой дождь нельзя собрать про запас, подставив под него корыто. Но есть и другой путь к вдохновению, мужской, его я зову «вдохновение святого Павла». Апостол Павел, как известно, долгое время, называясь Савлом, не подозревал о своем предназначении. Будучи наставлен в Иерусалиме в толковании Торы, а также в философии и риторике, он устроился работать по специальности. В основном приходилось сидеть в кабинете, разбирая многотомные дела самозваных пророков, которые проповедовали, не имея на то лицензии от Духа Святого и прикрываясь именем какого-то Иисуса Христа. Иногда, правда, выезжал и на места,

проверяя, с достаточным ли усердием исполняются приговоры и собственноручно убеждаясь в качестве камней, выписываемых со склада для побивания. Со стороны карьера развивалась успешно, но в глубине души Савл считал себя конченым человеком. Жизнь не открывала новых смыслов, а тут еще один недуг весьма деликатного свойства заставлял либо отчаяться, либо примириться с вечным одиночеством. Получая от начальства направление в Дамаск, он еще не видел для себя выхода, но когда уже летел во весь опор по пустыне, правя колесницей, то понял, что тому, кто подписал столько распоряжений о чужих казнях, нетрудно устроить и свою. Он решил, что не будет останавливать колесницу у городской стены, а так и въедет в нее на полном ходу, нарочно раззадорив лошадей. И как только утвердился в своем решении, перед колесницей возник некий муж, одним движением руки остановивший и лошадей, и мысли его, которые устремлены уже были в царство мрака. О чем был их разговор, того не любил выдавать Савл во всех подробностях. Но оставил он в тот день свою колесницу в пустыне и в Дамаск пришел уже налегке, не заботясь ни о багаже, ни об опрятности одежды. Отныне не принадлежал он больше самому себе, и тщетно искало начальство своего верного слугу среди потерпевших бедствие в пути или сбежавших с казенными деньгами за границы империи. Прежнего Савла, благороднейшего из фарисеев, не существовало, а был только Павел, нижайший среди апостолов. С тех пор терпел он голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитался, и трудился своими руками, среди великого испытания скорбями преизобилуя радостью. Усмирял и порабощал тело свое, чтобы в немощи стать сильней, а в рабстве — свободнее. В то же примерно время он и начал проповедовать. Сначала, правда, это выглядело так, будто он что-то бубнит самому себе, как часто бывает с бродягами, потерявшими способность к разумному высказыванию и сорящими словами, словно объедками. Но тот, кто случайно ловил его фразы — на рыночной ли площади, либо в городских трущобах, — вдруг находил в них смысл и утешение. Не из постигнутых в юности уроков риторики черпал Павел свое красноречие. Все отработанные приемы ораторства были забыты, ибо что есть словесная акробатика — медь звенящая. Буквы убивают, а дух животворит. Знание надмевает, а любовь назидает. Не в того вселяется вечность, кому все дано, а в того, у кого все отнято. Как сосуд пустой душа отчаявшаяся, и будет в него вливаться по капле истина, и ничего не протечет мимо. Нет у него больше жизни вне языка, и если будет на то воля свыше отнять тот язык, то вырвать его можно будет только вместе с телом. Все, что бывает в мире волнующего и занимательного, для него позади, а впереди — только уходящая вдаль строка, по которой нужно идти и идти, пока она не оборвется.

Запрет

Утром у входа в институт 55 725 627 801 600 встретил негра. Негр тоже здесь работал — по крайней мере, сегодня. Брызгая на стену жидкостью из ядовито-оранжевой баночки, он сосредоточенно удалял с фасада появившееся там за ночь граффити. Насколько позволял судить еще неокончательно съеденный растворителем контур, это было одно из тех граффити, в которых уже на стадии замысла не предусматривался никакой сюжет. Изображение исчерпывалось фирменной виньеткой автора или группы — вернее, даже группировки — авторов, находившейся в состоянии непрерывной конкурентной войны с другими такими же группировками. Собственно, поодиночке в этой войне было не выжить, поэтому коллективное творчество здесь являлось скорее практической необходимостью, чем эстетическим выбором.

55 725 627 801 600 вдруг разозлился на негра. Ему показалось, что тот сам нанес это граффити сегодня ночью — и, скорее всего, с помощью того же распылителя, из

которого теперь пытался его уничтожить. Может быть, это и есть вершина власти творца над своим творением — готовность хладнокровно и с использованием новейших промышленных технологий стереть с фасада мироздания начертанное там накануне в припадке вдохновения? Так хотя бы постоянно расчищается место, за которое потом опять придется воевать, а значит, все время есть к чему стремиться и не нужно бояться самоповторов: каждый рисунок всегда самый первый и всегда дается с трудом. Еще разумнее, правда, экономить на чистящих средствах и просто бросать свой «кунстверк» где попало, сразу же напрочь забывая о нем. От борьбы за чистое место тоже по идее можно отказаться, рисуя прямо поверх чужих граффити или просто ставя рядом с ними свою подпись.

Эту мысль 55 725 627 801 600 додумывал уже, расписываясь в ведомости о выдаче ему из хранилища десяти камертонов Греля для научно-исследовательских целей сроком на один рабочий день. С этой процедуры он вот уже на протяжении месяца начинал каждое утро, выбирая при этом камертоны из различных регистров. Сначала 55 725 627 801 600 планировал подходить к работе строго систематически, но чем дальше, тем туманнее он представлял себе, в чем, собственно, могла бы состоять эта система. Время, которое он выделил себе на «знакомство» с коллекцией, шло, а знаний о ней не прибавлялось. То, что к оставшимся от Греля математическим расчетам, иллюстрирующим его нотную систему, будет не так просто подступиться с точки зрения музыковедческого анализа, он понимал еще в Петербурге. Но тут, воссоединившись с объектами, осязаемо воплотившими в себе то, что так сухо и тяжеловесно смотрелось на бумаге, 55 725 627 801 600 ожидал качественного прорыва в своих изысканиях. Поэтому в Берлине он уже почти не заглядывал в бумаги, старясь как можно больше времени проводить непосредственно с камертонами, будто надеясь, что те в конце концов сами выдадут ему свою тайну. Ежедневно он «допрашивал» их различными способами, ударяя по ним то деревянными, то металлическими молоточками и прислушиваясь затем к надолго повисающему в пространстве звуку. Процесс завораживал, и временами даже казалось, что просветление близко, но неизбежно наступал момент, когда 55 725 627 801 600 вздрагивал, будто пробуждаясь от дремоты, и понимал, что исследование-то на самом деле буксует на месте.

Установив один из камертонов на деревянном резонаторе, он осторожно ударил по нему молоточком, мысленно расчленяя добытый, как огонь из кремня, звук на отдельные составляющие и по-гурмански смакуя обертоны. Чтобы не стать рабом этого опиума, выбраться из тумана бестолково наслаивающихся друг на друга частотных колебаний, требовалось подчинить их строгой системе.

Несколько дней назад у него появилась мысль пропустить камертоны Греля через компьютер, с максимальной точностью фиксируя высоту каждого отдельного экземпляра. Однако выяснилось, что в институте при всем его оснащении либо нет пригодных для этого программ, либо никто не знает, как с ними обращаться. Старший техник только разводил руками, на которых, как гирлянда, висели разноцветные шнурки кабелей, намекая на безнадежность задуманного аспирантом предприятия. Тогда 55 725 627 801 600 дозвонился до лаборатории Технического университета, где ему подтвердили наличие необходимого оборудования и разрешили безвозмездно провести все замеры. Но тут неожиданно заупрямился директор:

— Вы не можете выносить камертоны из института.

— Но почему? — искренне удивился 55 725 627 801 600. — Если здесь нет условий, чтобы их проанализировать...

— Вы не можете никуда выносить камертоны! — повторил директор, будто его слепота давала ему право быть малоподвижным не только в телодвижениях, но и в аргументах.

— Я гарантирую сохранность...

— Вы не можете ничего гарантировать! — теперь уже казалось, что Бреннер только открывает рот, а слова произносит какая-то высшая инстанция, с которой бесполезно спорить. — Вы не можете отвечать за последствия.

— Ну хорошо, тогда скажите, как мне дальше работать? Нужен же материал!

— Материал перед вами, — бросил Бреннер, указывая наугад куда-то перед собой. — Опишите для начала то, что видите, — он загадочно блеснул слепыми зрачками.

55 725 627 801 600 уже знал, что Бреннер слеп не от рождения. Говорили, что в молодости он начинал как наборщик нот и обладал поразительным зрительным чутьем, позволявшим ему избегать ошибок даже в самых запутанных партитурах, доводивших его коллег до отчаяния. Заболевание, стоившее ему зрения и заставившее сменить профессию, дало одновременно неожиданный толчок в карьере. Бреннер отучился на музыковеда и стремительно пошел в гору, со временем возглавив институт. Однако ходили слухи, что запах типографской краски до сих пор навевает на него приступы ностальгической грусти.

Он любил употреблять такие выражения, как «надо взглянуть», «видно невооруженным глазом» и «это мы еще посмотрим», будто хотел подчеркнуть, что все это ему по-прежнему доступно. Болезненнее всего директор реагировал, если кто-то пытался объяснить ему видимый мир своими словами. Тогда Бреннер в довольно резкой форме мог дать понять, что не нуждается тут в посредниках. Не угадываемое интуитивно, на ощупь или на слух, для него просто не существовало.

Иногда *55 725 627 801 600* сомневался, может ли его научный руководитель, ни разу не видевший камертонов, оценить всю красоту и грандиозность коллекции, а значит, и проникнуть в ее суть. В другой раз он, напротив, подозревал, что директор знает о камертонах Греля значительно больше, чем ему хотелось бы доверять другим, так что новый аспирант взят только для имитации поиска научной истины там, где ее на самом-то деле пытаются упрятать подальше.

Решив потратить обеденное время на восстановление душевного равновесия, *55 725 627 801 600* спустился вниз, взяв курс на полураздетый на зиму Тиргартен. Почему-то ни ученые, ни менеджеры с островков бизнеса и культуры вокруг Потсдамерплац в Тиргартене никогда не гуляли. По будним дням парк принадлежал в основном нищим и одиноко блуждающим наркоманам, которые, видимо, в определенные фазы их жизни особенно остро нуждались в покое и возможности созерцать прекрасное, присутствующее здесь в виде гипсовых статуй немецких классиков, неожиданно и как-то нелогично возникающих вдруг из-за поворота, будто оставленные кем-то галлюцинации. В этом альянсе бомжей и великих мужей было что-то трогательное: ни в тех, ни в других общество не видело для себя практического толка, поэтому они старались держаться вместе.

Немного успокоившись, *55 725 627 801 600* с удивлением заметил, что карман его куртки оттягивает что-то подозрительно тяжелое. Он запустил туда руку и похолодел от ужаса. В кармане лежал один из камертонов, которые он, должно быть, взял с собой на прогулку, пребывая в состоянии, близком к гипнотическому. На ощупь *55 725 627 801 600* без труда идентифицировал соответствующую ему цифру и даже мысленно воспроизвел точное звучание.

Сознание того, что он — пусть и невольно — сделал что-то запретное, неожиданно согрело и взбодрило. Идеи, одна безумнее другой, вдруг забегали вокруг, как белки.

А что если прямо сейчас сесть в метро, быстренько съездить в лабораторию и произвести замер — хотя бы с одним камертоном? Потом то же самое можно будет постепенно повторить со всеми остальными. Так, в течение года у него уже накопят-

ся все интересующие его данные. Правда, он все равно не сможет их нигде упомянуть. Придется писать параллельно две диссертации: одну — официальную, для ученой общественности и научного руководства, а другую — только для себя и, может быть, для пары подпольных знатоков, способных по-настоящему оценить весь масштаб его исследования.

А вдруг он наткнется в ходе работы на что-то такое, что в корне изменит традиционный взгляд на музыкальную культуру девятнадцатого века или даже на музыку вообще? Тогда, конечно, глупо скрывать это от мира и вести все это время двойную жизнь. Не лучше ли вообще больше никогда не возвращаться в институт, а просто исчезнуть, раствориться в пространстве? Пока его хватятся, он успеет собрать вещи и быстренько вылететь в Питер, где спокойно изучит хотя бы этот один камертон, чудом выцарапанный из братской могилы в институтском бункере? Да, конечно, ни о какой стипендии нельзя уже будет и мечтать, а работать придется не в комфортабельном кабинете, а в каком-нибудь сыром подвале (ведь его, скорее всего, объявит в розыск Интерпол за вывоз за границу национальных ценностей!), но зато внутренне он будет свободен и сможет двигать науку, куда ему вздумается, а не куда угодно господину Бреннеру.

55 725 627 801 600 так увлекся этими мыслями, что уже всерьез начал размышлять, проскочит ли он с камертоном через таможню и как отнесется ко всему этому 70 607 384 120 250. Хватит ли у нее сил и мужества быть подругой непризнанного и преследуемого со всех сторон гения?

«Вы не можете отвечать за последствия!» — снова вспомнил он слова директора, но теперь они прозвучали не грозно, а комично, будто из какой-то скрипучей табакерки.

«Разумеется! В науке последствия всегда бывают самые непредсказуемые, а вы не знали?» — саркастически парировал он, как бы продолжая отыгранный уже в реальности диалог.

Его шаг стал заметно энергичнее и уже вышел за рамки прогулочного, но знакомых дорожек он пока не покидал, словно бы сначала следовало отрепетировать эту новую походку, а потом уже определяться с направлением. Вскоре, однако, парк начал исчерпывать себя, и очередная тропинка вернула его к самому институту. Находиться здесь с планами побега в голове было опасно, но все-таки на всякий случай он осторожно заглянул снизу в свое окно. Сразу стало понятно, что туда за время его отсутствия никто не заходил и, уж конечно, не пересчитывал камертоны, которые в конце дня, как всегда, надлежало сдать в архив под расписку. Испытав вдруг невероятное облегчение, которое может дать только прохладный душ после пробежки «на износ», 55 725 627 801 600 направился к проходной. Но тут уже происходило нечто странное. Его сослуживцы — от профессоров из научных отделов до кассирш из Музея музыкальных инструментов — выбегали наружу, возбужденно вскрикивая и жестикулируя.

«Неужели все-таки заметили?» — 55 725 627 801 600 побледнел.

Но на него никто не обращал внимания. Все взгляды были направлены в сторону филармонии, над которой маячило красное зарево, сворачивающееся по краям черной, закипающей пеной.

— Пожар! Пожар! — слышалось со всех сторон. — Там же люди! Вы не знаете, кто там сейчас репетировал?

— Оркестр от агентства Хоенфельса.

— Это хороший оркестр?

— Да нет. Полное говно, если честно.

— А, ну тогда ладно. Чего же вы раньше-то не сказали?

Под прикрытием возникшей суматохи 55 725 627 801 600 незаметно проник в опустевший институт, зашел в свой кабинет, положил камертон на место, аккуратно, как и полагалось, запер его снаружи и только после этого присоединился к своим коллегам, захваченным необычным зрелищем, так кстати внесшим разнообразие в их не слишком бурные трудовые будни.

Непорочное зачатие

Отец ушел в армию за год до моего рождения, так что зачатие было практически непорочным, то есть сопровождалось минимальным количеством порока: моя мама за все время приезжала навещать его всего два раза. В результате день, когда меня, как соринку, забросило в этот мир, мне известен доподлинно. После армии он еще четыре года прожил с нами, но дома бывал редко, почти не пересекаясь со мной. О том, что мы сосуществуем бок о бок, я могла судить преимущественно по слухам и некоторым вещественным доказательствам: отполированной его спиной овальной протертости на обоях возле окна, где он курил, сидя на табуретке, или трем параллельно легшим трещинам, впечатанным в обеденный стол ударом его кулака. Ночью из холодильника пропадали куски мяса — и это тоже был мой отец.

Во время редких встреч он говорил мне: «Жаль, что ты не мальчик. А то бы я знал, как тебя воспитывать». При этом он проводил рукой по ремню. В такие моменты мне тоже становилось жаль, что я не мальчик и отец не может передать мне какое-то важное знание.

Один раз мне захотелось его поцеловать. Он брезгливо увернулся: «От тебя пахнет чесноком». Я удивилась: как от меня может пахнуть чем-то нечеловеческим, сразу представив себя персонажем из книжки про Чиполлино? Но еще больше меня поразило, что это может стать препятствием для поцелуев.

Отец много времени проводил на вещевых рынках. В доме стали появляться ролики, проигрыватель, качели, кинопроектор. Квартира превратилась в парк аттракционов. Потом вдруг все исчезло, а заодно стали пустеть книжные полки с доставшимися от дедушки и обработанными от клопов томами Ницше и Фрейда. Говорили, что папа начал выпивать, и ему нужны деньги. У мамы под глазом обнаружился синяк, который она маскировала фиолетовыми очками и выгодно оттеняла васильковым платьем.

Через стену детской до меня доносились отголоски вечерних скандалов. Обычно отец требовал от мамы, чтобы она «легла» с ним. Мама, судя по всему, отказывалась, поэтому отец все больше впадал в бешенство и грозил поломать мебель. Я втайне гордилась его силой, но одновременно дрожала от страха и наутро умоляла маму в следующий раз уступить: «Ну ляг с ним, пожалуйста! Ну что тебе стоит!» Но мама делала вид, что меня не понимает. Однажды он в ярости изгнал нас ночью из квартиры, выставив на лестницу в одних ночных сорочках. И опять мне не удалось его как следует разглядеть: запомнились только мамины рыжие сапоги, летящие нам вслед, и захлопывающаяся за ними дверь.

Нас приютила на ночь соседка снизу. Она работала в торговле и доставала для всего дома какие-то «тряпки». Мы раньше к ней никогда не заходили, и я не ожидала, что ее квартира действительно окажется тряпичной. Ткани, в которых с трудом угадывались очертания конкретных изделий, не просто заполняли, но сами порождали пространство: казалось, что, потеряв в них опору, мебель и стены тут же рухнут. Только один предмет здесь существовал отдельно от тряпок — картина маслом, подвешенная прямо под потолком. На картине была изображена обнаженная женщина,

будто насильно втиснутая в рамку и все же толком там не поместившаяся: заложенные за голову кисти рук обрывались в правом верхнем углу, а ноги ниже колен терялись в левом нижнем. Вместо глаз у нее зияли черные прорези. Такая же чернота, но только не пустая, а рельефная, выпирающая наружу, проступала и в низу живота. Я знала, что это то место, из которого выходят дети. А потом его закрывают треугольной заплатой, чтобы никому не захотелось обратно.

После этой ночи наступил «развод», что означало, что следы папиного существования должны окончательно исчезнуть из нашей жизни. Мама старательно вырезала его из общих фотографий, даже свадебных. В разговорах теперь старались о нем не упоминать. Вещи в новой квартире никто не продавал, не выменивал и не грозил им физической расправой. Отца не стало.

Благодаря хлопотам бабушки мы встречались раз в несколько лет. Эти свидания тяготили нас обоих: мы не привыкли к общению лицом к лицу и стыдились того, что не испытываем друг к другу никаких чувств. Папа рассказал, что специально женился теперь на женщине, у которой не может быть детей. Он даже сходил в другую комнату за справкой, чтобы доказать, какой он счастливчик.

Язык любви

66 870 753 361 920 сказал ей однажды: «Если хочешь признаться в любви, говори о чем-то другом. В языке нет слов, которым можно было бы доверить свои чувства, не искажая их».

Этого принципа он придерживался и в письмах. Он подробно сообщал ей, как охотился по всей квартире за мухами с дезодорантом для ног, как подвернул себе палец, катаясь на велосипеде, как его унижали в посольстве... Она чувствовала себя виноватой от того, что прочитывала эти строки рассеянно, прыгая через одну. Хотя понимала, что именно такие вещи должны сближать. Недаром 55 725 627 801 600 ревновал, когда кому-нибудь из знакомых мужского пола удавалось втянуть ее в разговор о компьютерных программах или способе эксплуатации электродрели. Он считал, что на право обсудить с женщиной настолько чуждые ей темы может претендовать только ее муж (так же как только ему иногда дозволяется появляться перед ней в майке и трусах).

Иногда у 70 607 384 120 250 было ощущение, что 66 870 753 361 920 обращается в своих письмах не к ней, а сразу ко всему миру. Вероятно, он даже так и делал, подставляя в первую строчку нужные имена в уменьшительно-ласкательной форме. Поскольку ее имя не было слишком редким, открывалась возможность дополнительно оптимизировать процесс, в отдельных случаях копируя весь текст целиком. Она не обижалась: его слова были слишком драгоценны, чтобы он мог позволить себе каждый раз сорить оригиналами. В конце концов 70 607 384 120 250 научилась рассматривать эти послания как мини-романы, облагороженные дарственной надписью в виде ее адреса. Ведь романы, по сути, это и есть «волшебные письма», которые под угрозой фантастических напастей бесконечно переписываешь с реальности и отсылаешь всему контактному листу в надежде, что хоть кто-то чудом примет сказанное в них на свой счет.

Однажды она обнаружила в ноутбуке, оставленном им на столе открытым, письмо, которое могло бы быть ответом на коротенькую записочку, которую она сама получила от него накануне. Неизвестная корреспондентка (письмо было подписано женским именем) перебирала каждую крупицу полученной от него информации, интерпретируя ее на разные лады и тысячу раз извиняясь за то, что беспокоит его

своими «глупостями». Так выглядят письма от благодарных читателей или от влюбленных женщин. Может быть, он хотел показать 70 607 384 120 250 пример, образец для подражания, дать ей урок каллиграфии?

66 870 753 361 920 считал, что настоящий язык любви европейцам следует искать разве что у азиатов — очевидно, потому, что он наиболее далек от привычной нам речи и максимально зашифрован для непосвященных. Уже по их эротическим гравюрам, сочетающим животное вожделение с ритуальным смирением, можно судить об утонченности освоенной ими любовной грамматики, которая в большинстве случаев, увы, не поддается переводу.

— Я не знаю, что такое любовь, — призналась она 66 870 753 361 920.

— Не может быть! — испугался он. — Ты же женщина! Ты должна знать!

Она была уже в курсе, что он пишет книгу про любовь и про женщину, которая знает, что это такое. Он искал для себя натурщицу, возможно, не первый год, но все кандидатуры были слишком плохи. Теперь он хотел попробовать с ней.

— В идеале, — объяснял 66 870 753 361 920, — ты должна записывать все мысли и чувства, которые ежедневно приходят тебе в голову, вести своего рода дневник, но только, пожалуйста, без литературных прикрас. Только голые факты: ты же знаешь, я ценю именно обнаженную натуру, необработанный материал. Можешь просто наговаривать свой текст на пленку. Это не займет много времени: за приготовлением завтрака, во время похода в магазин или нанесения макияжа. Что может быть проще? Конечно, с наибольшим удовольствием я вмонтировал бы в тебя видеокамеру, вживил бы под кожу, где-нибудь на уровне бедра, а там бы уже расшифровал, что получилось. Ты бы никогда не узнала себя в этом портрете — именно потому, что он так близок, так неприлично близок к реальности.

Встреча

В первый раз я встретилась с настоящим писателем еще в утробе матери. Моя мама с уже вполне заметным животом столкнулась с ним в троллейбусе, и они поняли, что знали друг друга раньше. К моменту их первой встречи мама училась в институте, а он пришел к ним в актовый зал читать свои стихи. Поэтов на сцене в тот вечер было чуть ли не больше, чем зрителей в зале, поэтому он сразу ее заметил и решил заговорить. Тут-то и выяснилось, что он писатель, то есть прозаик, а стихи в его жизни не главное. Главным были рассказы, которые он, не то из отчаянного упрямства, не то из аскетического смирения, регулярно рассылал по разным литературным журналам, коллекционируя отказы и смакуя их ядовитые канцеляризмы как «objets trouves».

Их отношения длились недолго, хотя могли бы длиться еще меньше, если бы мамино поведение не казалось ему таким загадочным. Во-первых, она совершенно неожиданно отказалась признавать его гением. Писатель не мог взять в толк, что ей тогда от него нужно. Мысль о том, что им заинтересовались просто, как обычно интересуются другими мужчинами, казалась настолько удивительной, что отвергалась по определению. Такого от любимой девушки он не ожидал! А она, наоборот, не понимала, зачем он дает ей с собой избитые молоточками печатной машинки страницы и как это соотносится с его нежными чувствами. Отправляя в мусор плотно перевязанную пачку номеров газеты «Твое здоровье», она представляла себе, как неплохо было бы, если бы на их месте оказались его сочинения. Крышка мусоропровода, могильной плитой задвинутая над невостребованным, разочаровавшим и отслужившим, всегда символизировала для нее облегчение и возможность начать жизнь сначала.

Однажды писатель сказал, что так дальше продолжаться не может и он уходит. Мама сказала: «До свидания». Он обошел скамейку, на которой они сидели во время объяснения, дошел до конца аллеи... Но ничего не произошло. Тогда писатель быстрым шагом вернулся.

— Разве ты не понимаешь правил игры? — вскричал он.

— А что случилось? — испугалась мама ‹она уже вынула из сумочки «Кинонеделю» и размышляла, на какой фильм сегодня стоит сходить›.

— Почему ты меня не останавливаешь? — недоумевал тем временем писатель. — Назло, да?

— Я думала, ты хотел уйти, — призналась мама.

— И тебе ни капельки не жаль?

— Жаль, — сказала мама вежливо. — Но что я могу поделать?

— О Боже! — схватился за голову писатель. — Ты можешь попытаться меня удержать!

Больше они не виделись, а теперь вот снова встретились и прошли вместе по улице. Разговор не клеился: каждый был погружен в мысли о новой жизни, которую он вынашивал.

После перестройки о нем начали писать в газетах. Мама удивлялась, как можно такое печатать и, главное, читать, если есть уже Достоевский и Стефан Цвейг. Но мне почему-то нравилось. Однажды мы с ней даже купили сборник его прозы, изданный в каком-то независимом издательстве в виде брошюры. Однако читать его в таких количествах никто не смог, поэтому мама, считая тему исчерпанной, попросила меня отнести книжку в «Букинист». Там ее, впрочем, не приняли, объяснив: «Детективы в мягких обложках сейчас плохо идут». Аргумент, который несомненно мог бы стать достойным экспонатом в его коллекции отказов.

Зато маме неожиданно удалось осуществить свою мечту и захлопнуть наконец крышку мусоропровода над текстами, из которых ей так и не удалось извлечь никакой пользы.

Натюрморт

Теперь 70 607 384 120 250 ходила в Картинную галерею не одна: она познакомилась с Аллой. Алла была по образованию математиком, даже кандидатом наук, но считала этот этап своей жизни пройденным. Ее муж, профессор с мировым именем, ради которого она несколько лет назад перебралась в Берлин, заведовал математической кафедрой в одном из местных университетов. В свободное время он писал книги по алгебраической топологии и функциональному анализу, которые расходились среди его коллег почти как бестселлеры. 70 607 384 120 250 не понимала, как рядом с таким человеком можно охладеть к математике. Когда они познакомились с 55 725 627 801 600, она не умела даже читать ноты, зато теперь могла на слух записывать мелодии и без труда разбирала на фортепьяно несложные пьески. Даже страшно подумать, какие бы ей открылись перспективы, будь она подающей надежды выпускницей консерватории, а 55 725 627 801 600 — признанным светилом музыковедения! Впрочем, здесь, видимо, сказывались какие-то глубинные особенности ее характера: если бы она, к примеру, не дай Бог, была замужем за хирургом, то наверняка рано или поздно кого-нибудь разрезала, невзирая на отсутствие медицинского образования.

Но Алла, очевидно, не ощущала заразительного воздействия математических формул. Она теперь мечтала стать художницей и терпеливо срисовывала составленные из яблок и кувшинов натюрморты, чувствуя необходимость сначала постичь

азы мастерства, а уже затем подключать воображение и двигаться дальше. В галерею она ходила также из образовательных побуждений, надеясь чему-то научиться у старых мастеров посредством подробного анализа их шедевров. У нее был наметанный глаз в том, что касалось различных типов моделирования пространства и построения перспективы. Она с легкостью разлагала палитру на спектральные составляющие и выявляла невидимые источники света. 70 607 384 120 250, напротив, за каждой картиной пыталась угадать какую-нибудь историю, выводя ее из своих познаний в области мифологии, религии и эмблематики.

Алла внимательно выслушивала ее рассказы и гипотезы, но доверяла далеко не всему. Ей казалось маловероятным, что миска с хлебом, поставленная Мурильо в центр стола, за которым расположилась троица музыкантов, отсылает к Тайной вечере.

— Ведь это же совершенно естественно, что в трактире подают хлеб, — пожимала она плечами. — Почему же художник не может его изобразить, если это подходит по смыслу и по композиции? Просто так, без намеков и подтекстов!

70 607 384 120 250 пробовала возражать, что если художник не владеет всеми подтекстами и ассоциациями, которые способны вызвать его объекты у современников, то это плохой художник и у него нет шанса на место в истории.

— Да нет же, — качала кудрявой головой Алла. — Он ими может прекрасно владеть, но учитывать их в своих произведениях не обязан. Он просто берет от предметов то, что ему вздумается — например, только оболочку, а остальное ему безразлично. На то он и великий мастер, чтобы делать на своей картине, что захочется!

70 607 384 120 250 объясняла, что такая трактовка творческой свободы появилась в искусстве много позже и что для каждой эпохи существует определенная эстетическая норма, которой подчиняются даже гении, причем они даже в самую первую очередь. Но Аллу было не переубедить, и, взаимно исчерпав аргументы, они, притихшие и озадаченные, двигались дальше.

В следующем зале становилось еще сложнее: здесь висели чистые образцы натюрмортов, не отягощенные и не оправданные никаким сюжетом или жанровой сценкой. Алла с пристрастием разглядывала хрупкую текстуру китайского фарфора, отливающую перламутром броню наутилусов, играющие отраженным светом стенки бокалов, искусно вывернутые наизнанку лимоны, только что пересекшие грань между жизнью и смертью тушки омаров... Подкравшаяся сзади музейная смотрительница в форменном пиджачке истолковала ее взгляды по-своему.

— В этот зал лучше заходить в последнюю очередь, — заметила она со снисходительной улыбкой. — А то аппетит так разыграется, что потом все равно сразу убежите — в ресторан или в магазин.

70 607 384 120 250 подумала о том, каково этой женщине самой было сидеть здесь целыми днями? Но решила, что именно этот опыт привыкания наверняка делает смотрительницу невосприимчивой к чувственным соблазнам, исходящим от окружающих ее полотен, и позволяет смотреть на сглатывающих слюну посетителей немного свысока.

Воспользовавшись мгновенным оцепенением, в которое ее подруга впала перед натюрмортами, 70 607 384 120 250 стала перечислять известные ей символические значения разложенных, а иногда даже и разбросанных перед ними в изобилии предметов: обнаженная мякоть лимона предупреждает об обманчивости удовольствий, обнаруживающих под привлекательной оболочкой отрезвляющую горечь; омар и другие морепродукты служат признаком роскоши, но одновременно намекают на необходимость воздержания, заменяя собой запрещенное во время поста жирное мясо; тушка зайца вызывает, в свою очередь, ассоциации с пасхальным сюжетом бессмертия и непрерывного обновления, наглядно воплощенном в способности этого

животного к сезонной смене шкурки. На другой стене — натюрморты с явно выраженными элементами Vanitas, иллюстрирующими бренность всего земного: мухи, впивающиеся хищными хоботками в перезрелые фрукты; пойманные художником в недолгом полете опрокинутые стаканы; песочные часы; догорающие свечные огарки; вопросительно зияющие пустыми глазницами черепа; искалеченные античные торсы; растрепанные книги с покореженными переплетами...

— Даже духовные ценности подвержены материальному распаду, — прокомментировала 70 607 384 120 250 наставительно. — В этом глубокий пессимизм эпохи барокко, вместе с изобилием породившей и отвращение к его плодам.

— В чем же тут пессимизм? — ожидаемо возразила привыкшая во всем сомневаться Алла. — Если книга в таком состоянии, значит, ее много читали, она пользовалась успехом. Для меня это скорее символ того, что духовные ценности не лежат мертвым грузом, а находят какое-то практическое применение. Вполне оптимистическая композиция! — заключила она, поправляя очки.

Выходя из зала натюрмортов, 70 607 384 120 250 подумала: почему никто не отправляется отсюда в библиотеку или книжный магазин? Неужели книги, будучи подвержены тлению не меньше, чем креветки или разбухшие от собственных соков сливы, не могут, однако, возбудить столь же острый аппетит? Ей вспомнился читальный зал районной библиотеки, где она когда-то испытывала почти религиозные чувства, созерцая зеленые и красные тома с золотым тиснением, расставленные по росту и комплекции в высоких застекленных шкафах. Ее мало волновали названия произведений и фамилии авторов — уже один тот факт, что на них выделено столько коленкора, золотой краски и типографских завитушек, гарантировал их исключительную ценность для всего человечества. Добраться до этих заповедных полок можно было, только попросив у библиотекарши специальный ключик. Но 70 607 384 120 250 никогда этого не делала, предпочитая оставаться на расстоянии с каким-нибудь журнальчиком из общедоступного фонда и строить планы на будущее. Ведь перед ней за стеклом стояла ее жизнь — аппетитная, соблазнительная и непредсказуемая, за которую не следовало браться слишком поспешно. Это только так кажется, что книжек в шкафах — читать не перечитать, а если засесть за них со свойственной ей жадностью, то не успеешь оглянуться, как все запасы иссякнут. И тогда уж точно конец — ни жизни, ни надежды.

Потом ей часто снились именно эти полки, и у нее захватывало дух от восторга, что она снова совсем близко к воплощению страстного желания, которое почему-то так долго откладывала. Но, проснувшись, понимала, что уже поздно и никогда она больше не найдет свою мечту в такой высокой концентрации и такой удобной расфасовке.

Однажды, уже на втором курсе университета, она не выдержала и пришла в ту же самую библиотеку. Но застекленных шкафов не было на месте. Их заменили на низкие пластиковые стенды, где книги не стояли корешком к корешку, а полулежали обложками вверх, словно им совсем нечего больше скрывать. Оказалось, что в читальном зале теперь хозрасчетный магазин, куда книги можно приносить из дома на комиссию. Прием осуществлялся довольно демократично: брошюры по эзотерике делили полки с переливающимися нездоровым глянцем новыми изданиями зарубежных классиков. 70 607 384 120 250 обратила внимание на книжку в зеленом суконном переплете, на которой не сразу читалось затертое название. Но было видно, что сделана книжка добротно, лет двадцать, а то и тридцать назад. Она, единственная здесь, хоть чем-то напоминала вымерших динозавров из исчезнувшего шкафа. Может

быть, она и вправду каким-то чудом попала на стенд прямо оттуда? 70 607 384 120 250 открыла зеленую книжку, как сквозь туман различая голоса двух юных продавщиц-библиотекарш, обсуждавших у нее за спиной нечто успокаивающе-повседневное. Изнутри книга подтвердила свой предполагаемый возраст безупречной полиграфией. Однако уверенный советский нажим, с каким строки распределялись по бумаге, вступал в странное противоречие с содержанием, вращающимся вокруг увечий и смерти. Это был учебник судебной медицины, вполне подходящий, впрочем, чтобы стать учебником жизни и ее неизбежной конечности. Наряду со словесными описаниями леденящих душу случаев из криминальной практики имелся и богатый иллюстративный материал в строгом монохроме: мальчик с откушенной собакой головой; обугленный труп мужчины, сгоревшего, как гласила подпись, заживо в позе «боксера»; женщина с распоротым животом и вываленными на стол внутренностями, а потом она же — уже собранная по частям, с грубым швом, проходящим, как молния, от лобка до горла.

От современных библиотек 70 607 384 120 250 уже не ждала потрясений. Она привыкла к будничному виду стеллажей, на которых литература расставлялась по области знаний или по алфавиту — без учета весовых или эстетических категорий. В особенности библиотека отделения славистики университета Гумбольдта, куда она в Берлине иногда заходила за русскими книжками и где за длинными столами всегда сидели согнувшиеся над ноутбуками студенты, напоминала ей скорее цех, чем храм. Однако 66 870 753 361 920, который однажды попросил взять его с собой, как будто не заметил этой подмены. Он шел в отдел русской прозы как к иконостасу, прикладывая палец к губам, чтобы заставить ее понизить голос.

— Тебе не страшно здесь? — спросил он шепотом, когда они уже стояли в узком проходе между полок с классиками и современниками, заклеенными со стороны корешка, как пластырем, этикетками с библиотечным шифром.

Нет, ей не было страшно.

— А я все время боюсь почувствовать рядом с ними собственную ничтожность, — он, не глядя, махнул рукой куда-то в сторону сочинений Виссариона Саянова.

Они оказались слишком близко друг к другу, и он, почувствовав неловкость, попросил оставить его в этом отсеке одного. Она переместилась дальше, к самому концу алфавита, где стояли его собственные книжки. Самого известного романа не хватало: легкая брешь на полке указывала на то, что книга на руках. У 70 607 384 120 250 по коже пробежали мурашки ревности: значит, кто-то, возможно, прямо сейчас листает эту книгу и тоже думает о нем — так же напряженно, как она думала все эти дни, или даже еще сильнее. 70 607 384 120 250 провела пальцами по обложкам оставшихся экземпляров и почувствовала вдруг отчуждение к нему — доступному и публичному, всегда открытому для чужих рук и интерпретаций.

Вечером они сидели перед телевизором у него в гостиной. Он предложил посмотреть диск с полузабытым фильмом о ленинградской блокаде, снятым еще в военные годы. Из-за того, что съемки шли по горячим следам, фильм, несмотря на неестественно одухотворенных героев и героинь, воспринимался почти как документальный. Да и сама эта одухотворенность, граничащая с бесплотностью, казалась вполне закономерным следствием хронического недоедания.

66 870 753 361 920 принес из кухни красное вино и блюдо с сырами и нарезкой ветчины. После совместного посещения галереи современного искусства у нее создалось впечатление, что 66 870 753 361 920 совершенно равнодушен к визуальности.

Но тут она поняла, что ошиблась: строгие черно-белые картины умирающего города волновали его всерьез и отражались в зрачках апокалиптической обреченностью, которую невозможно подделать, если сам этого не переживаешь. 70 607 384 120 250 постепенно заражалась атмосферой торжественной скорби, наполнявшей теперь всю комнату, освещенную только отблесками с экрана и нечеткой, будто залапанной кем-то луной. Вино растекалось внутри сладко и тревожно, как жар, заставлявший героев бредить на смертном ложе. Онемевшие без движения пальцы тянулись к сыру, нарезанному полупрозрачными ломтиками, как блокадные порции хлеба. Они почти не смотрели друг на друга, но их взгляды соприкасались на изможденных голодом и страданием лицах блокадников, извлекая из этого самую близкую близость, какой еще не было ни у кого на этом свете.

Когда все кончилось, она привстала с дивана, но поняла, что едва держится на ногах: с непривычки вино вызывало головокружение, к которому 70 607 384 120 250, впрочем, решила относиться мужественно, как герои фильма к внезапным приступам голодной слабости. 66 870 753 361 920 подхватил ее за руку, а затем, понимая, что этого недостаточно, за талию. Она прикрыла глаза и подставила ему губы. Но ничего не происходило. Она приподняла веки и увидела, что он просто смотрит на нее — с той же скорбью, с какой только что смотрел на экран.

Когда они наконец поцеловались, это был холодный и целомудренный поцелуй, каким могли бы обменяться статуи или два трупа, брошенных друг к другу голодной блокадной зимой.

Архив

Известие о смерти отца не было для 70 607 384 120 250 неожиданным. В последний раз она видела его за несколько месяцев до отъезда, на даче, куда они с 55 725 627 801 600 приезжали заранее проститься, подозревая, что не найдут для него больше времени, и одновременно опасаясь, что опоздают. Отец был уже очень болен и почти не поднимался с перекошенного дивана, поставленного за домом на манер завалинки. Волосы и бороду он перестал стричь несколько лет назад и теперь напоминал вырастающего прямо из почвы языческого старца, чья растительность намертво сцеплена с природной. Ему все трудней становилось координировать собственное тело, включая речевой аппарат. Рядом с ним делалось болезненно очевидным, что каждая фраза — это не столько поворот мысли, сколько движение языка, иногда на грани физически возможного. Однако помутнения рассудка не наблюдалось. Его юмор, всегда отличавшийся повышенной долей сарказма, теперь казался даже более уместным. На прощание он прикоснулся к 70 607 384 120 250 мягкой, как войлок, бородой, и она поняла, что все закончилось. Низенькая калитка закрылась перед ним, как дверь в потусторонний мир. Это была черта, за которую он теперь не решался заходить, даже с палочкой.

Ее присутствия на похоронах никто не ожидал. Поэтому она не спеша выбрала в Интернете дешевые билеты и вылетела в Петербург через две недели после кремации, рассчитывая, что к ее приезду все ритуальные хлопоты будут уже завершены. Его вдова Зина предложила ей поселиться у нее, собираясь сама проводить почти все время на даче, где как раз начался ягодный сезон. 70 607 384 120 250 еще ни разу не была в этой квартире, где Зина с отцом поселились сравнительно недавно — всего три года назад.

Зина сразу захотела показать ей семейные фотографии, которые опрокинула ворохом прямо на двуспальную кровать. Вместе с фотографиями на покрывало высы-

пались открытки с репродукциями из Третьяковской галереи, хранившиеся в том же ящике и никак не отделенные от семейного архива. Аленушка, Кружевница, боярыня Морозова, три богатыря, четыре медведя в сосновом лесу, Достоевский, Горький, Ленин — все это тоже были члены их общей с Зиной семьи.

Фотографии с отцом Зина быстро сгребла в сторону. Зато бережно, как пасьянс, разложила перед собой снимки, сделанные еще до их знакомства. На пожелтевшей фотобумаге, как призрак, проступал хрупкий силуэт молоденькой девушки со смешливым лицом. В основном она позировала на открытом воздухе: в лесу, на лыжне, на пляже. А вот уже совсем другой сценарий: Зина в профиль, опустив голову с внезапно раздувшейся прической, сидит за столиком в общепите напротив вазы с гвоздиками.

— Это на работе, — объясняет она. — Я — официантка. После замужества.

Имеется в виду одно из предыдущих ее замужеств, задокументированных на нескольких свадебных фотографиях. Оба бывших мужа так похожи между собой, что 70 607 384 120 250 могла бы принять их за одного, если бы Зина не надела к бракосочетаниям разные платья. На последнем снимке этой серии Зина опять на пляже, в компании друзей или сотрудников, она снова улыбается, но через весь живот полумесяцем проходит шрам. Или это фотопомехи? Зина быстро засовывает фотографию под «Березовую рощу» Куинджи.

Симфония рук

Рассказывают, что архиепископ Эрнст Пардубик, ежедневно склоняясь в молитве к алтарю, предпочитал в своем смирении являться перед Богом как простой смертный, без подобающих его сану понтификалий. Таким мы и видим его в образе донатора на иконе Клодзской богоматери работы неизвестного богемского мастера. Пардубик, с обритой макушкой и миндалевидными глазами, дежурит на коленях у трона Девы Марии и ее младенца. Митра, епископский посох и длинноногий крест аккуратно сложены у подножия трона. Только что стянутые с рук перчатки вместе с нанизанными на них перстнями лежат тут же, на ступенях, как сброшенная змеиная кожа. Обнаженные кисти повернуты ладонями друг к другу и обращены к многократно превышающей его в масштабах «повелительнице ангелов». То, что не могут вымолвить уста, поднимается в небесные сферы прямо с кончиков пальцев.

Практически любую многофигурную композицию старых мастеров можно свести к симфонии рук и жестов. Фрагмент алтаря «Иисус у Понтия Пилата» Мастера LCz дает нам прекрасный пример этой бессловесной коммуникации. Напряженные кулаки стражников, вопросительно вывернутые ладони первосвященников, пресекающий жест римского прокуратора, и на их фоне — Иисус с перевязанными за спиной руками, смирившийся с невозможностью жестикуляции. На картине Ханса Бальдунга он уже безвольный труп, чья рука приподнимается только усилием Марии Магдалины, прикладывающей ее кровоточащей раной к своей бледной от слез щеке. А в соседнем зале все начинается снова, и младенец Христос опять выпрыгивает из пеленок на коленях своей матери, пытаясь цепкими пальчиками ухватить ее за сосок. И еще один шаг назад: любопытные старческие руки Елизаветы в азарте предвкушения ощупывают стыдливо задрапированный живот Марии.

В светских портретах руки портретируемого предоставляются сами себе. В отсутствие собеседников и четких сюжетных мотивов им ничего не остается, как рефлектировать внутренний мир позирующей персоны. Дисциплинированные костяшки коммерсанта Арнольфини, снисходительно выглядывающие из манжетных оборок запястья вандейковских аристократов, полупрозрачные пальчики кокеток Вермеера...

Впервые 70 607 384 120 250 обратила внимание на руки 66 870 753 361 920 на его творческом вечере в Берлине. Он сидел на сцене, подсвеченный лампой так, что вокруг его головы образовывался нимб. Привычным жестом он поставил перед собой книжку, которую должен был рекламировать по договоренности с организаторами, будто нарочно смягчая этим приземленным жестом повисшее в воздухе благоговение. Он говорил уверенно, артистично расставляя акценты и суверенно варьируя мелодию голоса. 70 607 384 120 250 плохо поддавалась гипнозу, но как человек, у которого любое волнение мгновенно передается кончику языка, была особенно восприимчива к словам, произнесенным с убежденной интонацией.

Речь его текла плавно и авторитетно, но именно эта способность целиком контролировать беседу стала постепенно вызывать в ней тревогу. Как она могла надеяться обнаружить в нем слабое место, через которое, как через тонко наросшую кожицу после ожога, они могли бы по-настоящему почувствовать друг друга? Где та ранка, к которой ей мечталось присосаться пиявкой, чтобы забрать себе то, что он сам никогда не решился бы отдать?

Тогда-то она и присмотрелась к его рукам. Их нервные, порывистые, непредсказуемые движения словно проговаривались о чем-то, что нельзя было произнести на языке слов. 70 607 384 120 250 тут же успокоилась: это и было то уязвимое звено в казавшейся непроницаемой цепочке, те ворота, через которые ей предстояло войти в его мир.

Через неделю они сидели в опере, и эти руки вздрагивали на подлокотниках в такт арии, пока одна из них, соскользнув вниз, не коснулась ее пальцев с короткими оранжевыми ногтями. 70 607 384 120 250 стригла их под самую подушечку, подражая профессиональным пианисткам. В последнее время играла она крайне редко, но ей было приятно думать, что если вдруг придет вдохновение, она всегда будет готова сесть за клавиши.

Их участок партера почти целиком занимали старички в наглухо застегнутых у горла рубашках и старушки в наглаженных блузках под парчовыми пиджаками. Казалось, они принадлежат к одной группе, которую организованно привели на «Дона Джованни» как на экскурсию по экзотическому и давно неактуальному для них миру страсти. Прилежные туристы, они сосредоточенно смотрели на сцену и болезненно реагировали на посторонние шумы, оглядываясь на любой шепот. Как глухонемым, 66 870 753 361 920 и 70 607 384 120 250 оставались только руки, которые все говорили за них, то крепко сплетаясь, то делая попытку к отступлению, но в конце концов все равно оказываясь вместе.

На левой руке у 70 607 384 120 250 было серебряное колечко с прозрачным янтарем, в котором, как в формалине, просматривался законсервированный прах какого-то древнего насекомого — подарок бывшей одноклассницы, работавшей в ювелирном магазине. Кольцо довольно свободно скользило по пальцу, и 66 870 753 361 920, нащупав ободок, начал двигать его вверх и вниз. Это напоминало одновременно акт любви и процедуру обручения. Позже он мог одним этим движением доводить ее почти до оргазма. Почти.

В тот вечер после театра они ужинали у него. Когда она встала, чтобы отнести посуду в раковину, он вдруг неожиданно хищно схватил 70 607 384 120 250 за плечо и развернул к себе. Ее удивленный взгляд подействовал лучше любого протеста. Он отступил назад и вышел в коридор за курткой.

На следующий день на том месте, где накануне заканчивался сборкой рукав ее блузки, она нашла серо-голубой синяк. «Как его глаза!» — подумала она.

Лямур

По местам, где 70 607 384 120 250 когда-либо в жизни занималась любовью, можно было бы составить неплохой путеводитель с культурно-историческим уклоном: Литейный проспект, Аугустшрассе, рю Гей-Люссак...

Рю Гей-Люссак в Латинском квартале названа в честь ученого-естественника Жозефа Луи Гей-Люссака. В 1968 году здесь с неизбежностью муравейников вырастали пирамиды студенческих баррикад, горели перевернутые автомобили, мостовая разбиралась на булыжники. Упорно ходили слухи, что в двух шагах отсюда, в отеле Медичи на рю Сент-Жак, незадолго до своей смерти останавливался Джим Моррисон. Можно только догадываться, какой делирий привел его в этот семейный пансион, где и десятилетия спустя можно было за демократичную плату снять двуспальный номер, упирающийся окном в выступ стены, с биде, но без ванной и туалета.

В комнате, которую 70 607 384 120 250 выделили в университетском общежитии, не было, правда, даже биде, да и находилось оно на самой окраине, в Венсенне, неподалеку от замка, где когда-то томился в заключении вольнодумный маркиз де Сад (тюрьма — удел тех, кто слишком любит свободу). Каждый день ей приходилось ездить в Сорбонну с несколькими пересадками. Там она слушала лекции по французской литературе и пыталась хоть что-то понять. Молодой философ, с которым 70 607 384 120 250 столкнулась в одной из аудиторий, говорил ей, что все это бесполезно и что сам он начал по-настоящему понимать французских писателей только через пять лет жизни в Париже. А у нее в запасе был только месяц.

Ее удивило, что философ совсем не пьет вина. Он ей с первого взгляда напомнил Вакха с картины Караваджо, и потом она так и не смогла избавиться от этой ассоциации. Только глазам, не приученным, очевидно, к вакхическому дурману, не хватало мечтательной вялости караваджовского бога. Одевался он в основном из комиссионки, но следил за тем, чтобы на пиджаках и рубашках в его шкафу иногда попадались бирки с надписью «Босс» или «Карден». В автобусе философ принципиально ездил без билета, готовый в любой момент соскочить с подножки при виде контролера, и умудрялся в дороге еще и читать книжку, делая в ней пометки карандашом. Он мечтал основать в Европе новую партию и поступить на работу сценаристом в Голливуд, то есть хотел заниматься вещами, напрямую не связанными с философией (»потому что философия — это все, что с нами происходит», — как он ей объяснил). В настоящий момент он писал роман и пробовал себя в качестве фотомодели, поражая ее многообразием своих талантов. К слову рассказал, что его подруга тоже модель и что он вообще предпочитает девушек попроще (предыдущая его любовь была продавщицей) и покрасивее.

Обитал безалкогольный Вакх на последнем этаже буржуазного дома на рю Гей-Люссак. От подъезда до лифта и далее через все коридоры тянулась ковровая дорожка. У его двери дорожка обрывалась вместе с буржуазностью. За ней открывалась каморка, имевшая все шансы сойти за романтическую, но как будто нарочно обставленная самым прозаическим образом. Диван, этажерки с книгами, письменный (он же обеденный) стол, кухонная плитка, душевая кабинка в углу — все предельно практично и без малейшего намека на какую-либо живописность. Тем досаднее был укоренившийся здесь беспорядок, обнажающий не оправданную никаким анархическим умыслом потерю контроля над бытом. В качестве единственного декоративного элемента к стене крепился на липучке вырезанный из газеты портрет какого-то юноши с гладко зачесанными назад волосами и слегка безумным взгля-

дом. Философ объяснил, что это итальянский революционер. Она прослушала, какой именно революции. А может быть, это был революционер совсем без революции? Не всем же выпадает удача полностью осуществить свое предназначение?

Философ курил, сидя в кресле перед компьютером, почти вплотную к ней (она сидела на диване). На экране висел его незаконченный роман. «Зачем он это делает?» — подумала она, имея в виду и роман, и сигарету. И поняла: «Забыться. Не думать о том, что вокруг. И о том, что будет завтра». Ей вдруг тоже захотелось забыться, и, поднявшись с дивана, она пересела к нему на колени. Он ничего не говорил, только низко опустил голову, будто в чем-то перед ней провинился, и продолжал покручиваться на роликовом стуле — туда-сюда. Она, поступая сама себе назло, обхватила руками его шею и, дождавшись, когда он поднимет к ней грустные (грустнее обычного) глаза, поцеловала в губы.

В тот вечер они, не зная куда себя девать, пошли в кино. Смотрели какой-то фантастический фильм, где люди превращались в страшных уродцев с выпирающими из-под кожи ребрами и рыбьими загривками. Эти существа обитали в тунелях, с трудом передвигаясь на подворачивающихся вовнутрь, лишенных ступней ногах. От собратьев по несчастью их шарахало и передергивало, но как вернуться к первозданному облику, они не знали. Ей вдруг стало очевидно, что этот фильм про них, про то, как они только что, преодолевая отвращение, засовывали друг другу в рот раздваивающиеся змеиные языки, не зная, что делать со своими изуродованными неведомым вирусом телами.

Из этого дня 70 607 384 120 250 выбралась благополучно, как из подземелья. Опять слушала лекции под лепными потолками сорбоннских аудиторий, гуляла в Люксембургском саду, осматривала позабытые путеводителем церкви, опрыскивала себя духами из пробных флакончиков в магазине на Елисейских полях, назначала рандеву в кафе новым подругам с факультета.

Через неделю она вдруг набрала его номер и сказала, что зайдет. Философ попрежнему сидел с сигаретой перед своим романом. По другую сторону стола стоял не разобранный еще чемодан, с которым он обычно ходил за продуктами. Роман был стилизацией под комсомольскую прозу. Его герои, как Незнайка и его друзья, жили в бестелесном мире, где всю ночь мечтали о любимой, а наутро ехали на войну совершать подвиги.

Он попросил ее лечь на диван по фэнг-шуи (ногами к двери, головой к окну) и раздеться только ниже пояса. Она ничего не чувствовала, кроме грубых толчков, как в трамвае. Нависшее над ней лицо оставалось безучастным, поэтому 70 607 384 120 250 переключила внимание на революционера на стене. Было видно, что тот любит и умеет страдать. Только он страдал за свои идеалы, а она — просто так.

Вакханалия закончилась, как и началась, без единого звука. Философ, задернув клеенчатую занавеску, скрылся в душевой кабинке.

— Ты все еще лежишь? — спросил он удивленно, выглядывая наружу.

Она не отвечала.

— Ну, как хочешь, — философ пожал плечами. — Оденься хотя бы.

Он уже натянул брюки и сел перечитывать последний написанный им абзац.

— Ты думаешь, все так просто? — спросила она с дивана.

— А что же тут сложного? — он закурил. — Должно же быть в жизни хоть что-то простое! —и добавил: — Если когда-нибудь напишешь про это, я подам на тебя в суд.

Она еле доехала к себе в Венсенн. По пути села не в тот поезд, через несколько остановок опомнилась, вернулась и опять начала все по новой. Уговаривала себя, что нет причин для отчаяния, что бывают ситуации, когда подпускаешь чужих людей даже намного ближе. Хирург на операционном столе в свое удовольствие может копаться в твоих внутренностях, и ты на него потом не в обиде. Если, конечно, остался жив и здоров. Но она, как назло, заболела. Без температуры и вообще безо всяких специфических симптомов. Было просто плохо и страшно, как будто в ее тело вживили какой-то чип и вот-вот начнется генетическая мутация.

— Чего ты конкретно боишься? — спросила забежавшая проведать ее соседка с этажа.

— Перестать принадлежать самой себе.

Перед отъездом она зашла к нему за книжками. Он предложил встретиться в баре на своей улице. Бар был типично французский, то есть рассчитанный на коренных парижан, преимущественно с окрестных улиц. За атмосферой тут никто не следил, она складывалась сама — именно так, чтобы отпугнуть туристов и дать постоянным посетителям возможность побыть среди своих. За стойкой стояла девушка с высокой прической, накрашенная, как буфетчица, и меланхоличная, как поэтесса. Несмотря на неиссякающий поток жаждущих, работала она подчеркнуто медленно, иногда на несколько секунд замирая с пустой стопкой в руках, пока клиент сам не напоминал ей, что он только что заказал — коньяк или виски.

Они взяли по чашечке эспрессо, которое пришлось нести к столику почти над головой, чтобы уберечь от столкновения с другими посетителями, неловко толкущимися в проходе. 70 607 384 120 250 чувствовала себя прекрасно и была будто опьянена предвкушением скорого возвращения домой. Ей захотелось, чтобы и философ подумал или поговорил о чем-нибудь приятном. Она обратила его внимание на стоявшую у входа мулатку с фаянсовой кожей в щеголеватой шляпе на ковбойский манер:

— Смотри, какая красивая!

— Ты красивее, — вздохнул философ, едва оглянувшись, и стал почему-то еще мрачнее.

70 607 384 120 250 засмеялась:

— Я не в счет!

Философ накрыл ее руку своей, но смотрел все время куда-то мимо, будто в противоположном (пустом) углу находилось нечто для него очень важное, от чего он никак не мог оторвать глаз.

Перед их столиком появился клошар и что-то затараторил, протягивая грязную ладонь за подаянием. Философ ничего ему не давал, но и не прогонял, продолжая пребывать в своем необъяснимом оцепенении. Тогда озадаченный клошар решился, видимо, на крайнее средство и, доверительно наклонившись над самым столиком, мечтательно прошамкал беззубым ртом:

— О лямур, лямур!

Коляска

За полгода до смерти у отца появилась коляска. Простейшая модель — без автоматического привода и регулируемой спинки. Он сам спускал ее по лестнице со второго этажа при помощи соседа-алкоголика. Коляска давала возможность передвигаться по всему району, хотя это и было рискованно: несколько раз его грабили — отнимали деньги и мобильный телефон. Возможно, правда, он просто сочинял эти истории

для бабушки и Зины, а деньгами и телефоном распоряжался как-то по-другому. В образ несчастного инвалида он вживался неохотно, иногда нарочно усугубляя его гротескными чертами, чтобы не принимать всерьез.

Больше всего отца притягивали магазины. В респектабельный «О-кей» его, впрочем, не пускали, поэтому для постоянных визитов он облюбовал «Перекресток». Проходы там были *уже*, и коляска с трудом лавировала между заставленными до потолка стеллажами, но зато охранники относились к нему снисходительно. К тому же он всегда что-то покупал. И обязательно что-нибудь ненужное, непрактичное, «только для души», как говорила бабушка Лиля. Она показала 70 607 384 120 250 одну из его последних покупок: набор бритвенных станков с самовыезжающими лезвиями. Отец не брился годами, поэтому не было сомнений, что в товаре его заинтересовало нечто большее, чем бытовое предназначение. 70 607 384 120 250 покрутила в руках один из станков, несколько раз нажала на кнопочку — механизм бесперебойно функционировал. И отец жил в нем дальше — красиво, технично и, может быть, даже вечно.

Иногда он уезжал на коляске и не возвращался всю ночь. Никто не знал, что он делает. Но для него это был глоток свободы: просто уйти в никуда, блуждать по городу и ничего не объяснять. Часто его подбирала милиция. 70 607 384 120 250 подозревала, что и это тоже было частью плана: отец если и соглашался на роль жертвы, то всегда только в собственной постановке.

Зина рассказывала, что накануне смерти он тоже допоздна проездил в коляске. Но вернулся сам и попросил его помыть. Каждый раз, принимая душ в их квартире, 70 607 384 120 250 проигрывала в уме эту последнюю сцену из его жизни. И каждый раз массивное тело отца не укладывалось в ее воображении в эту короткую, как корыто, пожелтевшую ванну. Она могла представить его здесь только в позе эмбриона.

В комнате, где он умер, уже успели переклеить обои. Почти все личные вещи Зина раздарила или вынесла на помойку. Остались только книги и деревянная доска с репродукцией «Сикстинской Мадонны», которую отец уже в свою последнюю неделю выменял на радиоприемник у дворовых забулдыг. Страсть к вещам, к их волшебному превращению из одной в другую была движущей силой, мотором его жизни до самого конца. Прервать эту цепочку обмена значило сдаться, выпасть из круговорота материи, потерять свое место в рядах приобретающих и отдающих.

Чего ожидал он от этой Мадонны с детским личиком? Что она станет его проводницей в Вечность, где вещественные доказательства твоего существования уже не имеют никакого значения? Или отец предпочитал общаться с загробным миром без посредников, как зарубежные детективы у него на полках? «Восемь миллионов способов умереть», «Смерть приходит в конце», «Срочно нужен гробовщик», «Умереть легко»... Смерть как последнее приключение, бессмысленное, но захватывающее. Так тоже можно было с ней поладить.

След

66 870 753 361 920 говорил, что по-настоящему уютно чувствует себя только в своем тексте, куда всякий раз может забраться, как под одеяло, и никого к себе не пускать. 70 607 384 120 250 так и представляла его пишущим под пледом на диване, после душа и в свежем белье, как это было принято у иконописцев. Ее тексты он тоже оценивал на предмет уюта, будто комнату в гостинице, и каждый раз оставался недоволен. Она спрашивала, что ей делать.

— Ничего, — разводил он руками. — Текст — это твое зеркало, отражение твоей личности. В тебе потеряна гармония. Ты видишь только нижний уровень бытия.

Как ты сможешь написать о высоком? Тебе нужен кто-то другой, кто сделает это за тебя.

Долгое время ей не требовалась бумага. Она не хотела оставлять следов, но все равно оставляла — на снегу, на свежевымытом детсадовском полу, в только что отросшей, слезящейся росой траве. Невозможно было жить не сочиняя и невозможно было сочинять не разрушая. Авторучка с бумагой — наиболее безобидные на вид инструменты письма, потому что поддерживают иллюзию, что текст ничего не отнимает от мира, а, наоборот, добавляет, заполняя существующие пустоты. Но на самом деле именно след, впадина, в их самом прямом, осязаемом смысле точнее всего передают тот урон, который писатель наносит окружающей среде, выковыривая из нее кусочки реальности, как изюмины из пирога.

Буфет всегда осаждали старшеклассники, у которых водились деньги. Мы с подругой Кирой приходили туда, как в музей: посмотреть на самых красивых в мире мальчиков из десятого «б». Их было трое, и все трое — друзья. Они будто специально всюду ходили вместе, чтобы за ними удобнее было наблюдать. Наблюдение велось каждую перемену. Шифроваться особо не приходилось: шестиклассниц они все равно не замечали. Иногда мы не оставляли их в покое и после уроков, прогуливаясь с Кирой на пару в тех местах, где могла всплыть «святая троица», как мы ее условно называли.

Наиболее тонкой, почти девичьей красотой из всех троих обладал Леня. Мы с Кирой сходили с ума по его малиновому рту и нежной шее. Когда он улыбался, нас накрывали волны блаженства. Самым мужественным был Виталя, у которого уже пробивались усики и имелись время от времени какие-то девчонки. А самым горячим — Эд. Он всегда так внезапно заливался краской и так вспыльчиво реагировал на самые безобидные ситуации, что попасться ему как-нибудь под горячую руку представлялось целым приключением. Довольно быстро мы присвоили их себе. Это было легко. Накопив о человеке определенное количество знаний (пусть и помимо или даже против его воли), ты уже можешь считать его своей собственностью, потому что именно тогда ты сближаешься с материалом настолько, чтобы начать лепить из него что-то свое. Любая сценка с участием «троицы», попавшаяся нам на глаза, немедленно становилась легендой и достраивалась до сюжета. Фантазия позволяла проникать сквозь захлопнутые двери классов, парадных и уборных. Скрытое кропотливо вплеталось в очевидное, образуя непрерывную цепочку истории.

Мы с Кирой исписали уже по несколько общих тетрадей рассказами о рыцарях своих сердец. Это принесло удовлетворение, но ненадолго. Теперь следовало сделать следующий шаг: стать заметными для своих героев, вклиниться в их мир и попытаться если не расшатать, то хоть подтолкнуть его в ту или иную сторону. Таким образом было принято решение перейти к жанру афоризма. Вычислив, где наша троица будет сидеть на грядущем уроке, мы за время перемены покрывали их парты таинственными посланиями, написанными как бы свысока, то есть от имени какой-то верховной инстанции: «Лёнчик, ты не пробовал красить губы? Тебе бы пошло!», «Виталя, после того, как ты обнимался на лестнице с Анькой из девятого «в», у тебя были поллюции?» или «Эдик, зачем вчера покупал сигареты в киоске у метро? Лучше бы ботинки купил новые!».

Такие вещи, конечно, невозможно было проигнорировать. Мы ожидали праведного гнева, поиска виновных, заслуженного наказания. Ну или хотя бы некой перемены облика и настроения у наших подопечных. Хоть какого-то знака, что они приняли к сведению наше внимание к их жизни. Но ничего не происходило. Надписи на

партах (их состояние затем тщательно изучалось!), правда, часто оказывались перечеркнутыми и даже несли следы не слишком успешной ликвидации — ластиком или бритвенным лезвием. Однако в поведении «святой троицы» ничего не менялось. Интереса выследить и наказать обидчиков они не обнаруживали, продолжая свои обычные занятия.

Тогда мы с Кирой решили действовать более целенаправленно. Теперь послания писались на бумажках и опускались адресатам прямо в карманы курток, которые на протяжении учебного дня мирно покачивались в гардеробе. Тон записок стал откровеннее: «Я хочу с тобой в постель», «Покажись мне голым!», «Мы закроем тебя в кабинете химии и будем везде трогать».

Но и на это мы не дождались никакой реакции. Только учитель истории однажды отобрал у нас несколько записок, которые мы оживленно составляли прямо у него на уроке. Но, просмотрев их, ничего не сказал, вернул все обратно и даже не написал замечания. Тогда мы и поняли, что наш проект обречен. Всегда и везде ответом нам будет только молчание. Жизнь упорно отказывается впускать в себя своих хронистов, отводя им жалкую роль сверчков, невидимо стрекочущих где-то за печкой.

Рукопись

Архив Греля, как и его камертоны, тоже принадлежал фонду «Прусское культурное наследие», но хранился в восточной части города, в историческом здании Государственной библиотеки, переданном фонду после падения Берлинской стены. Больше всего 55 725 627 801 600 любил здесь географический отдел, где на стенах висели старинные карты, а на шкафах стояли глобусы, на которых мир выглядел не так, как теперь. С потолка в проходы свешивались какие-то растения, похожие на лианы, затруднявшие передвижение между стеллажами и дававшие повод почувствовать себя первопроходцем в тропиках. А если за изобильно пропускавшими дневной свет окнами вдруг появлялась радуга, то казалось, что история человечества вот-вот начнется сначала, как в день, когда Ной впервые вышел из своего Ковчега на большую землю.

Но здесь ему нечего было делать, поэтому, побродив, как путешественник, вдоль шкафов с атласами и описаниями экзотических уголков планеты, 55 725 627 801 600 возвращался в отдел музыкальной литературы, где его ждал фанерный ящик, похожий на посылку с фруктами из тех далеких краев, которые он только что осваивал в своем воображении. В ящике легко помещались все рукописные документы, оставшиеся после Греля: письма, ноты, дипломы, заметки по теории музыки и что-то вроде собственного жизнеописания, начатого им в возрасте пятидесяти шести лет.

Биография Эдуарда Греля, вошедшая во все музыкальные энциклопедии и известная 55 725 627 801 600 в таком виде почти дословно, целиком состояла из перечисления должностей, которые он занимал в течение своей жизни — от исполняющего обязанности церковного органиста до директора Певческой академии, а также соответствующих им дат. Трудно было даже предположить в ней нечто захватывающее и тем более фатальное. Видимо, поэтому никто из исследователей до сих пор не заинтересовался этими записями. Однако у 55 725 627 801 600 тут был свой расчет: не находя других точек опоры, он надеялся приблизиться к смыслу и назначению коллекции камертонов именно через биографию их создателя, вернее, через ту ее часть, которая осталась за рамками скупых энциклопедических строчек. Было ведь возможно, что где-то в своем жизнеописании Грель упоминал о том, когда и зачем ему пришла в голову идея поэкспериментировать с изготовлением собственных камертонов.

С такими мыслями 55 725 627 801 600 попросил откомандировать себя на несколько недель из института для изучения личных документов Греля, что одновременно позволяло ему отдохнуть от самих камертонов, чьи вибрации уже преследовали его во сне. Но работа с рукописью, вообще-то говоря, оказалась плохим курортом: шрифт и стилистические конструкции, которыми пользовался Грель, были довольно далеки от современного немецкого, и в первый день 55 725 627 801 600 потратил несколько часов на расшифровку одного-единственного предложения. На второй день он пришел, уже вооружившись лупой и таблицей, переводившей сливающиеся на письме в единый узор завитушки в доступные его пониманию графические знаки. И все равно работа шла крайне медленно, учитывая, что кое-где чернила выцвели и потопили в своих разводах куски слов и предложений. В некоторых местах Грель и сам уже попытался избавиться от показавшихся ему излишними фраз, вымарав их с такой тщательностью, что бумага протерлась до дыр и записи с обратной стороны также оказались изрядно попорченными. 55 725 627 801 600 постоянно казалось, что он теряет нить и заносит в свой ноутбук обрывки предложений и мыслей, плохо подходящих друг к другу. Но постепенно, несмотря на неизбежные пропуски и разрывы, он начал улавливать общий силуэт, как будто его научили наконец правильно смотреть на трехмерные картинки, которые с непривычки кажутся набором беспорядочных цветовых пятен.

«На протяжении всей жизни, в нежном, среднем, равно как и зрелом возрасте <...> частию прилагая старания, частию будучи обречен определенными ограничениями, наложенными на меня природою, всецело посвящал я себя музыке, что дает теперь в изобилии материал к написанию <...>, если бы время и талант также были даны мне в изобилии <...>

Свет мира увидел я впервые 6 ноября 1800 года в Берлине, в доме Хессе, по адресу: Постштрассе, дом 12, в семействе Августа Вильгельма Греля, пребывающего в чине тайного секретаря Его Величества при высшем Лесном департаменте, и его жены, Урсулы Генриетты, урожденной Вебер. 7 декабря того же года был я окрещен именем Август Эдуард в Николайкирхе, чей фасад мог затем с наступлением сознательности наблюдать из окна моей детской. Храм Божий, в котором сердце мое стихийно искало средоточие гармонии, печалил меня, однако, с ранних лет неуклюжей асимметрией строения. Только над одной из двух его башен поднимался в небо заостренный шпиль, вторая же обрывалась резко и нелепо, как сломанный зубец вилки. Не знак ли это неизбывного ничтожества рукотворного творения перед небесным, с которым готов был бы смириться, если б не видел сызмальства предназначения своего в преодолении искривлений наших относительно первозданной идеи Всевышнего?

4 ноября 1804 года нашему семейству был дарован еще один ребенок, моя возлюбленная сестра <...>, безвременно ушедшая от нас тому четыре года. Больше детей родители не имели, ибо были оба слабого здоровья и почти беспрерывно страдали от всевозможных недугов, так что я в любой момент приготовлялся потерять кого-либо из них или даже остаться круглым сиротой. <...> Душой нашего небольшого семейства был младший брат отца, дядюшка Отто, занимавший квартиру в том же доме и излучавший всегда здоровье и неведомое нам довольство жизнью. Отто обладал сильным и выразительным голосом, очаровывая окружающих своим пением. Как бы и мне хотелось подхватить какую-нибудь из искусно выводимых им мелодий! Но, увы, слабая грудь, которую я унаследовал от маменьки, не позволяла свободно упражняться в певческом искусстве, и позже врачи и вовсе рекомендовали мне воздерживаться от разрушительного напряжения, причиняемого моему организму пением.

В 1808 году, будучи переведенным по службе, дядюшка Отто покинул Берлин, оставив нас всех безутешными. Некоторое успокоение и умиротворение моя душа находила теперь только в уроках фортепьяно и в дружбе с Эдуардом Кноблаухом. <...>

Эдуард был мой тезка и почти одногодка. Его отец, состоятельный торговец тканями, занимал со своей семьей целиком весь дом на противоположной стороне улицы. Помню, как мы, мальчишки, подавали друг другу сигналы через окно и какой-то господин с тротуара погрозил нам шутливо тростью. А когда увидел, что мы заливаемся смехом, взялся за колокольчик у двери Кноблаухов, будто хочет добраться до нас поочередно. Сердце на минуту ушло в пятки, хотя мы и догадывались, что он всего лишь направляется в лавку отца Эдуарда, которую тот держал тут же, в нижнем этаже. <...>

Помню, как вечерами после уроков навещал моего друга. Дом Кноблаухов казался гигантским, и мы свободно бегали по всем четырем этажам, лишь изредка натыкаясь на кого-то из родных или прислуги. Мы воображали, что все это принадлежит только нам — и распластанная на паркете деревянная кукла Эдуарда, и оставленная на низком столике трубка его отца, напоминавшая засушенную рептилию, и портреты его предков на стенах, в которых мы вместо заслуженных адмиралов видели злорадно похохатывающих пиратов, и книги в отцовском кабинете, с которых мы, потрясенные недавно обретенной способностью складывать буквы в слова, жадно считывали проступавшие на корешках надписи: Софокл, Аристофан, Гомер, Кальдерон, «Исторический атлас», «История города Рима в Средние века» — все это звучало в наших детских восторженных устах как волшебные заклинания.

<...> Особый интерес, почти преклонение, в нас вызывал секретер старого Кноблауха. С двух сторон его, подобно античному храму, подпирали стройные ионические колонны, а верхушку венчал треугольный портик, на котором полулежа отдыхала какая-то богиня или нимфа. <...> Однажды мы, вопреки строжайшему запрету, залезли внутрь секретера. За ворохом писем и бумаг, в которых мы все равно ничего не могли бы разобрать, лежала маленькая фарфоровая шкатулка. Эдуард нажал на кнопочку, крышка подскочила, и мы оба похолодели от ужаса: на дне лежал такой же фарфоровый, неживой глаз в натуральную величину, обрамленный короткими, как щетина, натуральными ресницами. <...>

Когда родители Эдуарда утомлялись нашими похождениями, нас сажали на «тихий» диван в гостиной и давали в руки альбом с образцами шелковых тканей из лавки. От каждого вида ткани в специальную ячейку был вставлен только маленький кусочек, напротив которого значился номер соответствующего ему цветового оттенка:

59 507 787 110 400	Кипенно-белый
54 419 558 400 000	Бланжевый
70 607 384 120 250	Экрю
51 539 607 552 000	Аделаида
68 797 071 360 000	Червчатый
61 152 952 320 000	Маджента
66 870 753 361 920	Турмалиновый

52 895 810 764 800	Альмандиновый
52 242 776 064 000	Акажу
60 466 176 000 000	Краповый
65 303 470 080 000	Скарлатный
51 597 803 520 000	Адрианопольский
64 497 254 400 000	Резвая пастушка
62 762 119 218 000	Рвота императрицы
58 773 123 072 000	Сюрприз дофина
61 917 364 224 000	Орельдурсовый
72 559 411 200 000	Юфтевый
68 719 476 736 000	Фернамбук
66 045 188 505 600	Камелопардовый
57 982 058 496 000	Джало санто
61 987 278 240 000	Последний вздох Жако
55 788 550 416 000	Гелиотроповый
69 657 034 752 000	Шартрез
65 229 815 808 000	Селадоновый
55 099 802 880 000	Бристольский голубой
55 037 657 088 000	Бле-раймондовый
70 527 747 686 400	Шмальтовый
66 119 763 456 000	Таусинный
61 222 003 200 000	Маренго-клер
56 422 198 149 120	Гридеперлевый
62 691 331 276 800	Прюнелевый
55 725 627 801 600	Вороний глаз

<...>

— Папа, — спрашивал Эдуард, — зачем такие большие цифры? Неужели на свете существует столько цветов?

— Ну конечно, мой мальчик, — отвечал Кноблаух, посасывая трубку. — Просто не все они нам известны. Мы можем различать только миллионную долю оттенков, которые дала нам природа. Большинство из них скрыто от наших органов зрения. Но запомни: Бог видит все и радуется, когда мы признаем неисчерпаемость его творений. У него на небесах есть свой каталог, в котором он не оставляет никаких пробелов. Но это уже не наша забота».

Парад

70 607 384 120 250 давно хотела начать вести дневник. И вот однажды уже почти решилась: пришла пораньше домой из университета, выбрала подходящую тетрадь и написала число, а под ним — первые строки: «Сегодня день прошел, как обычно. Ничто меня не потрясло и не удивило». На этом месте в дверь позвонили. Пришел 55 725 627 801 600, едва знакомый мальчик, которому она давала переписать видео с концертом «Аквариума». Он вернул ей кассету, поцеловал в губы и спросил: «Хочешь быть моей девушкой?» В тот вечер она засунула дневник подальше в шкаф и никогда его больше не открывала.

55 725 627 801 600 учился в консерватории и играл в рок-группе. На отчетных концертах по классу фортепьяно он выходил на сцену в бабочке и фраке, а по вечерам появлялся в клубах с электрогитарой в руках, с накрашенными ногтями и в галстуке, завязанном поверх женской сорочки. Но 70 607 384 120 250 быстро поняла, что настоящий он только без одежды, что в этом и было его главное предназначение: стать источником ее удовольствия.

Они шутили, что их тела будто нарочно подогнаны друг под друга и в объятиях образуют одно целое, как две правильно найденные детали пазла. Часто в полумраке она не могла разобрать, где заканчивается ее бедро и начинается его. Даже их волосы были почти неотличимы на ощупь, и в моменты ласки она не всегда знала наверняка, чью прядь перебирают ее пальцы.

Она вернулась с ним на Васильевский остров, который покинула еще в детстве и теперь стала осваивать заново, как необитаемый. Заходила в булочную, где когда-то, ожидая маму с покупками, пела на крыльце сама себе какую-то песню, а выходивший наружу незнакомец повесил ей на шею бусы из еще теплых баранок. Нынче здесь устроили кафе, но посетителей было немного. Двое перепачканных краской рабочих налегали на винегреты. Или это были не рабочие, а двое художников, только что разбрызгавших по раскатанному на полу их студии холсту несколько ведер краски? А потом они, должно быть, разделись и боролись друг с другом в еще не засохших радужных разводах. И вот теперь наслаждаются обеденным перерывом.

В соседнем квартале разыскала старую пирожковую, где бабушка Маня после садика брала ей ватрушки. Там все осталось без изменений. Даже красная табличка с надписью «Места только для инвалидов ВОВ» у единственного «сидячего» столика потускнела, но была еще вполне читаема. Бабушка каждый раз пыталась уговорить ее сесть за этот столик, но 70 607 384 120 250 боялась, что рано или поздно к нему подковыляет какой-нибудь инвалид, позвякивающий орденами и медалями, и с позором прогонит ее своим костылем. Или что от сидения здесь она сама превратится в инвалида — без рук, без ног и даже без военных воспоминаний.

А вот и лютеранская церковь с двумя перекормленными ангелами, поддерживающими у фронтона гигантский крест. Этот крест — просто две перекрещенные доски— всегда казался ей правдивее и беспощаднее своих нарядных византийских собратьев, которые богатым убранством отвлекали от главного: что все рано или поздно будет перечеркнуто или даже уже перечеркнуто (что, впрочем, одно и то же). И ангелочки, будто чувствуя, как обманчива юность, даже и не пытались резвиться, а с искаженными всезнающей скорбью лицами, закусив пухлые губы, безропотно несли свою недетскую ношу.

За углом 70 607 384 120 250 заметила дом, почти совсем забытый снаружи, но памятный исходящими от него ощущениями, давно уже успевшими обзавестись самостоятельной биографией, как отделившееся от телесной оболочки привидение. Здесь когда-то жила мамина студенческая подруга, и именно здесь с мамой случилось занимательное происшествие, о котором она потом рассказывала со смехом и не проходящим с годами изумлением.

Однажды, зайдя в парадную, она заметила у лестницы молодого мужчину приятной наружности и по тем временам очень хорошо одетого. На нем были длинное кожаное пальто, элегантная малиновая шляпа, шелковый шарф, на руках какие-то перстни... Чем-то он напоминал кинорежиссера или телеведущего. И еще у него был удивительный взгляд — глубокий и наполненный, как слезами, возвышенной тоской. Мама невольно подхватила этот взгляд, как бабочку в сачок, сама вдруг почувствовала в себе какую-то особую грацию и, ступив на лестницу, уже была уверена, что это столкновение для обоих не случайно и должно непременно иметь какое-то продолжение. Между первым и вторым этажами он окликнул ее, она обернулась и снова встретила его тоскующий и зовущий взгляд. Больше он ничего не говорил, но ведь и так все было понятно. Она стояла, наклонившись над лестничным пролетом, и смотрела на него сверху, как Джульетта со своего балкона. Где-то размеренно капало с потолка. Или это их сердца пытались найти общий ритм?

Не отрывая от нее глаз, молодой человек порывисто распахнул полы пальто. Брюки оказались уже расстегнутыми и приспущенными, а над ними маячил белый кусочек плоти, в котором мама даже не сразу узнала знакомый ей тогда еще только из лекций по анатомии мужской орган. Незнакомец, будто устыдившись, и сам прикрыл его руками, которые сразу пришли в движение так быстро, что маме стало за него неловко. В то же время и убегать сейчас было неудобно, ведь между ними возникло что-то человеческое, а спущенные штаны не могут же так сразу все перечеркнуть! Эта мысль владела, ею, правда, всего несколько секунд, пока она, как завороженная, наблюдала за его судорожными и безрезультатными попытками скрыть очевидное и сделать видимым то, что не хотело себя обнаруживать. Может быть, мама убежала бы чуть раньше, если бы не его перстни, которые так загадочно блестели в полумраке парадной, превращая все происходящее в некий сказочный ритуал...

70 607 384 120 250 улыбнулась этому чужому воспоминанию, в которое влезла так же беззастенчиво, как одна ее подруга — высокая и статная девушка — в халатик своей прабабушки, которые теперь все принимали на ней за мини-платье. Прабабушке он в свое время доходил до середины икры.

Возвращаясь назад, в их комнату на Большом проспекте, 70 607 384 120 250 никогда не знала, застанет ли кого-то дома или нет. 55 725 627 801 600 приходил с занятий и репетиций в плохо предсказуемое время. Звонить и уточнять было бесполезно: вокруг него все время играла музыка.

70 607 384 120 250 тоже включала музыку. Какую-нибудь песню, которая восхищала ее в данный момент и которую хотелось слушать бесконечно. Она ставила проигрыватель на повтор и внимательно следила за своими реакциями. Сначала это

было ощущение непрекращающегося счастья, преодолевшего все естественные ограничения, вроде длины композиции, и переходящего почти в блаженство. Затем она чувствовала, как острота впечатлений постепенно притупляется и отдельные куски мелодии хочется проскочить как можно быстрее. А потом вдруг вся песня превращалась в бесформенное, тоскливое причитание, которое невозможно было выносить ни одной лишней секунды. Тогда 70 607 384 120 250 торжественно вынимала диск. Искусство в очередной раз пасовало перед Вечностью. Зато она была удовлетворена.

За окном дребезжал трамвай, и она вздрагивала с надеждой: не он ли везет к ней 55 725 627 801 600? К вечеру трамваи становились все реже, а надежда на каждый из них все отчаяннее. Но он почему-то всегда приезжал на самом тихом, незаметном, подкравшемся к остановке вне распорядка, будто нарочно усыпляя ее бдительность. Появлялся на пороге с фортепьянными нотами под мышкой или гитарным усилителем в руке (иногда и с тем, и с другим).

Пропуская ужин, они сразу ложились в постель, где им всегда было чем заняться. Она ощупывала его, проверяя, не изменился ли он за этот день. Но нет, все оставалось по-прежнему. Волосы на руках мягкие, как опавшая хвоя. Второй и средний пальцы на ногах у основания срослись вместе, как опята. Пупок внутри весь в складочках, как перевязанный ниткой хвостик воздушного шара.

За стеной соседка, занимавшая вторую комнату, слушала радиопостановку. Женский голос с придыханием пробивался сквозь фоновое журчание синтезаторов:

«Скажи мне, мой царь, не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?»

Мужской голос подхватывал ровным учительским тоном:

«Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины...»

В Берлине им больше не приходилось любить друг друга под радиотеатр. Вместо этого через окно в любое время дня и ночи пробивался голос диктора с ближайшей остановки городского поезда, объявлявший рейсы и требовавший отойти от края платформы. Его скупые указания, однако, напоминали о легкости перемещений и свободе выбора, впрыснутой в геометрию железнодорожных рельсов.

Иногда они просто выходили из дома, садились в поезд и ехали куда попало. Их, как диверсантов, забрасывало в разные концы города, откуда потом предстояло выбираться дворами и заповедными улочками. Комментируя увиденное, они сводили свои впечатления к простейшим аналогиям: «Это Париж. Это Москва. А это Лондон». Назывались также города, где они никогда не бывали, но все равно система сравнений работала безотказно: у них могли быть только один воображаемый Нью-Йорк и одна придуманная Венеция на двоих.

Как-то их занесло в полусонный западный квартал, который они тут же сравнили с Веной. В окнах первых этажей сидели фарфоровые куклы и затаившиеся за цветочными горшками коты, а 70 607 384 120 250 думала о том, что эти квартиры наверняка неисчерпаемы на предметы и воспоминания и их можно было бы разорять на протяжении веков, как гробницы фараонов.

С противоположного конца улицы неразборчиво доносилась музыка, возвращая их в прошлое, к временам первомайских демонстраций и предписанных свыше на-

родных гуляний с петушками на палочках. Подойдя ближе, они заметили неожиданное скопление народа, будто в этом месте проходила какая-то невидимая граница, где начиналась уже совсем другая, многонаселенная цивилизация. Почти вся толпа состояла из мужчин. Сначала 70 607 384 120 250 подумала, что ей просто показалось и такой плотности мужского просто не может существовать в природе. Но нет — это было фактом. Приглядевшись, она открыла еще больше общего в попадавшихся ей навстречу людях: многие мужчины были одеты в облегающие кожаные костюмы, некоторые, несмотря на пробирающий дрожью ветер, стояли в распахнутых жилетках, обнажающих руки и груди. Кое-где они объединялись в пары, тройки или целые группы, ощупывая друг другу бицепсы и ягодицы, прилипая губами то к бутылке с пивом, то к губам товарища.

55 725 627 801 600 взял ее за руку, и они протиснулись внутрь этого оазиса любви и братства — модели нового Рая, не нуждающегося в Еве. На них никто не обратил внимания. Зато они старались ничего не пропустить из происходящего, постепенно начиная раскладывать общую картину на отдельные мазки. За длинными деревянными столами, перегородившими площадь, крепкие юноши, начесанные под панков, поднимали кружки и чокались с ребятами в нацистском камуфляже. Рядом хрупкий интеллигент учительского вида с серьгой в ухе стоял, обхватив обеими руками, как гигантского плюшевого мишку, длинноволосого рокера.

Они вдруг поняли, что этот парад устроен в честь их любви, которая тоже никогда не будет такой, как у всех. Ведь по-настоящему любить можно только с чистого листа, только забыв, как это правильно делается, только вопреки тому, на чем настаивает природа.

Старая Ушица

Предки моей мамы еще с царских времен жили в еврейском местечке Старая Ушица. В детстве я никак не могла толком понять, было ли это официальным названием или обидным прозвищем, выдававшим плохо скрываемое семейное презрение к этому теперь уже давно погребенному под водохранилищем кусочку земли где-то на западе Украины. На карте оно, правда, продолжало существовать примерно в тех же самых местах, но говорили, что новая Старая Ушица не имеет к старой никакого отношения. Во время обзорного круиза мы проплывали мимо на теплоходе. Остановки не предполагалось, и я, заблаговременно выйдя на палубу, только издали смогла разглядеть очертания современного поселка. Мальчишки, облепившие выпиравшую, как клык, из воды скалу, поочередно прыгали вниз. Мне казалось, что где-то там, на глубине, они вылавливают жемчуг брошенных в спешке чужих воспоминаний, не зная потом толком, что с ним делать.

Вот паренек в желтых плавках ловко, как Ихтиандр, сиганул в реку и надолго скрылся под водой. Потом всплыл и стал выруливать к берегу медленно, как в трансе. Что он смог разглядеть на дне? Может быть, низкую каморку в избе моего прадеда, откуда тот, как говорили, не выходил иногда неделями, равномерно раскачиваясь над молитвенником, будто подтверждая свое согласие с каждым прочитанным словом. Дом нуждался в починке, семье едва хватало на хлеб, но прадед был убежден, что ни в одном деле он не преуспеет так же хорошо, как в молитве и изучении священных книг, и продолжал упорно следовать своему призванию.

«Кто прилежен в молитве, — говорил он, — тому нет нужды заботиться о чем-то еще».

И действительно, когда в Старую Ушицу пришли немцы, он, единственный из всей деревни, был готов к тому, что должно произойти. Кажется, все это уже давно

случилось где-то в глубине его книг, а теперь просто выпало наружу, как сухой листок, заложенный между страниц.

Их собрали на краю деревни, за большим амбаром. Жители Старой Ушицы еще долго после войны вспоминали, как евреи забавно упирались, как уморительно заламывали руки и восклицали: «Вай-вай-вай». Эту их манеру в деревне еще долго после войны мог легко имитировать любой, даже председатель сельсовета, всегда носивший шаровары и вышитую украинскую рубаху. В его исполнении это получалось смешнее всего! Не отставали и ребятишки, которые не могли, конечно, помнить тех событий, однако очень живо и непосредственно восстанавливали их ход в своих играх: от первого испуга жертвы до последнего контрольного выстрела немецкого солдата. Евреев выбирали из своих же рядов — случайным образом или по жребию. Настоящих еврейских семей в Старой Ушице почти не осталось.

К началу войны бабушка Маня (урожденная Мариам) училась в Ташкенте, а потом так и осталась там в эвакуации. Говорят, когда она заплетала волосы в бесчисленные косички, ее никто не мог с виду отличить от узбечки. И это было странное чувство: на Украине ее еще ни разу, даже по ошибке, не принимали за свою.

Братья, Моисей и Арон, писали с фронта, что возвращаться в Старую Ушицу после победы не имеет смысла: всю семью убили (в яму закопали и надписи не написали), но что это им, выжившим, знак — перебираться в большой город, Каменец-Подольский, где она после Ташкентского университета сможет работать учительницей и, главное, быстрее выйдет замуж.

Выбор женихов после войны, правда, и в Каменце оказался невелик, так что замуж пришлось выходить, почти не познакомившись. Вернее, на знакомство им выделили не слишком много времени, потому что они и так уже считались чуть ли не друзьями детства. Дедушка тоже был родом из Старой Ушицы, куда ему теперь тоже не к кому было возвращаться. Бабушка с трудом узнала его: они раньше никогда не играли вместе. Их семьи никогда не дружили: бабушкины родители держали пекарню, а отец дедушки, не имея никакого определенного занятия, кроме чтения и молитв, считался лодырем. Изредка его жена приходила поплакаться к бабушкиной маме. Но та не знала совета и вообще не имела достаточно свободного времени: булочки должны были поспеть в срок.

Бабушка очень боялась, что ее муж тоже начнет молиться, подобно своему отцу. Но тот, отучившись еще до войны в медицинском институте, абсолютно не был религиозен. Он просто мечтал — в свободной форме, только изредка заглядывая в книжку. Причем это запросто мог быть какой-нибудь атлас кожно-венерических заболеваний или пособие по гражданской обороне. Его вдохновляло все! Но работу с больными он не выносил: они требовали к себе слишком много внимания, открывая перед ним свои язвы, которые были для них центром вселенной. А ему не хотелось жить во вселенной, вращающейся вокруг гнойников и воспалений.

Однажды, приехав в гости к сестре, которая получила работу и жилплощадь в Ленинграде, он понял, что настоящая жизнь для него возможна только здесь. Ему вдруг открылось, что, хоронясь в детстве под палящим западноукраинским солнцем в камышах от преследовавших его мальчишек, блуждая в песках Средней Азии вокруг эвакуированного в войну госпиталя и переплывая, вопреки материнскому запрету, опасную реку неподалеку от Ивано-Франковска, он на самом деле двигался только сюда — в свой Северный Ханаан. Люди, населявшие этот город, казались ему потомками ангельского племени, так же естественно чувствующими себя в поднебесных сферах, как иные в собственном огороде. Он гулял рядом с ними по Таврическому саду, стоял в очереди в бакалее, сидел в кресле парикмахерской и думал о том, что молитвы ничего не дадут, если не будут подкрепляться делами, и когда-ни-

будь каждый должен попытаться взять оказавшийся у него на пути Иерихон.

Он тщательно приготовился к осаде: забрал в Каменце необходимые на первое время вещи и документы, уволился с работы и, переселившись к сестре, начал искать размена ее крупногабаритной комнаты на две поменьше, чтобы забрать в Ленинград семью. Беременная бабушка нервничала: она тоже ушла с работы и со дня на день ожидала переезда. Но разъехаться с сестрой не получалось, а вселиться к ней с младенцем было немыслимо.

После родов стало ясно, что дедушка не вернется. Бабушке предложили место завуча в родной Старой Ушице, куда дедушка затем изредка приезжал ее навещать, неизменно критикуя деревенский уклад и примитивность нравов. Вскоре в деревне появился еще один еврейский ребенок — моя мама.

В раннем детстве ее часто принимали за подкидыша, потому что короткие визиты дедушки быстро забывались, а в добродетели бабушки усомниться никто не мог. На сочувственные замечания бабушка реагировала с таким возмущением, что мама сама стала подозревать, что от нее что-то скрывают, и в конце концов свыклась с ролью подброшенной в дом сиротки. Непонятным, правда, оставалось, почему выбор приемной матери пал именно на бабушку — одинокую женщину, обремененную уже старшим ребенком и тяжелой работой. Мама мысленно примеряла на себя другие семьи, однако все они казались не менее чужими и не более подходящими. Возможно, значилась за бабушкой перед Богом какая-то тайная вина, раз подкидыш достался именно ей. Только и всего.

С каждым днем всплывало все больше доказательств ее сиротства. На первой детской фотографии вместо нее на руках у бабушки сидел какой-то случайный младенец со смазанными чертами лица и подозрительно бесформенной головой. За обедом ей доставались худшие куски. К тому же она не понимала языка своих предполагаемых родителей, которые при встрече продолжали говорить между собой только на идиш. Старший брат тоже делал вид, что ничего не понимает, но потом все-таки признался, что успел выучить несколько слов и даже фраз. А для нее это звучало лишь пустым бормотанием, в которое и вникать-то не хотелось. Правда, русский и украинский ей тоже были как будто не совсем родные. В обоих у нее замечали акцент, и она потихоньку пришла к мысли, что должен быть еще какой-то язык, на котором она могла бы изъясняться свободно, но которого ее почему-то лишили вместе с настоящими родителями.

Уже будучи студенткой Ленинградского педиатрического института, она много времени проводила в читальном зале публичной библиотеки, обкладываясь медицинскими атласами и справочниками только для прикрытия. Условия зарождения и развития отдельно взятого организма были ею уже прекрасно усвоены. Не хватало знаний об общих истоках бытия. В одном из альбомов по искусству Древнего Востока она нашла фотографии печатей, обнаруженных археологами во время раскопок в долине Инда. Оказалось, науке известно около четырех тысяч таких печатей, покрытых надписями на давно исчезнувшем языке, относящемся предположительно к хараппской цивилизации. Несмотря на все старания ученых, расшифровка шрифта пока никому не удалась, и маме стало страшно от того, как ничтожно малы наши сведения о хромосомах, хранящих в себе генетический код человеческой истории.

Но сироты и подкидыши в этом мире упорнее других в исследовании своей родословной. Они знают, что родились не от папы и мамы, и копают все глубже, пока не упрутся прямо в бок великану Иессею, в чьем теле пустило свои корни неприхотливое древо жизни.

Мама вспомнила, что накануне в детскую больницу, где она проходила практику, привезли цыганку с ребенком. Их нашли в общественном туалете, который они на

зиму сделали своим убежищем. Возраст ребенка установили с трудом: в четыре года он еще не умел как следует ходить, и мать носила его в платке за спиной. Врачи и медсестры хватались за голову, требуя лишить женщину родительских прав. А та только снисходительно улыбалась созвездием золотых зубов, уверенная в том, что никто из этих людей не делает для своего ребенка столько, сколько она.

Мы должны быть благодарны нашим родителям даже за место в туалете, ведь именно оно дается обычно самой дорогой ценой.

Преступление

Берлин — город для тех, кто не любит делать выбор. Здесь всегда есть возможность прожить, как минимум, две жизни одновременно. И в этом не будет греха, ведь, согласно Талмуду, все дороги праведные, если только ты найдешь в себе силы по пути закрывать глаза на недостойное. Среди нескольких дорог, однако, рабби советует выбирать ту, на которой зла попадается меньше всего. Но как ты можешь об этом узнать, если взгляд твой всегда обращен только к добру и не впадает в соблазн блуждания по обочине?

К дому 66 870 753 361 920 на Аугустштрассе от станции городской электрички можно было пройти двумя путями. Один шел через тихий переулок, куда зазывало разноцветными флажками общество буддистов, другой — через объезженную транспортом и обжитую по вечерам проститутками Ораниенбургерштрассе. У 66 870 753 361 920 не было любимого маршрута: он пользовался обоими, в зависимости от настроения. Иногда грубые заигрывания уличных девушек утомляли его, но в другой раз ему даже приятно было осознать себя в центре их меркантильного интереса, почувствовать, как кокон похоти вот-вот затянется вокруг горла, но затем вовремя сорвать его вниз, как шарф. Прогулка домой в такие вечера превращалась в маленькую битву с драконом, из которой он неизменно выходил победителем, сумевшим соблюсти свой сосуд в святости и чести, не расплескав содержимого.

70 607 384 120 250 немного завидовала ему: ей тоже иногда хотелось потягаться со злыми духами в рукопашной. Но ее демоны избегали открытых схваток, искушая ее изнутри и коварно принимая облик ангелов. Эти ангелы, вернее, голопопые ангелочки с наспех воткнутым в спину оперением сыпались на нее в снах, как из рога изобилия, будто прямо над кроватью находился барочный плафон, расписанный сценами из Священного Писания, вдруг ожившими и не устоявшими против земного притяжения. Ангелочки резвились, отнимая друг у друга сорванные еще где-то на облаках цветы, и вырывались из рук вспотевшей Мадонны, пытающейся подмыть их в фонтане во время короткого отдыха на пути в Египет. И тут начиналось настоящее веселье: обнаглевшие амурчики карабкались на каменную чашу и с визгом плюхались в воду. Их товарищи тем временем, балансируя на краю фонтана, направляли внутрь свои тонкие, почти прозрачные струйки, стараясь попасть в тех, кто уже плескался внизу. Потом и они прыгали в импровизированный бассейн, а их еще более ловкие товарищи, успевшие уже влезть на торчащую в середине фонтана античную статую, увлеченно поливали их сверху. Раскрасневшаяся Мадонна в смятении прикрывала от брызг лицо.

Под утро 70 607 384 120 250 приснился еще один сон, походивший поначалу на бытовую зарисовку. Она увидела себя на какой-то вялотекущей вечеринке. Кажется, это был новогодний праздник в ее университете. Ничего интересного не происходило, и она расслабилась на задвинутом в угол диванчике с коктейлем в руках. Внезап-

но в помещение, шелестя юбками, влетела бойкая цыганка, скороговоркой предлагая всем присутствующим услуги гадалки. Гости брезгливо отпрыгивали в сторону и, поддавшись панике, поспешно ретировались в коридор. 70 607 384 120 250 почему-то оставалась на месте, будто рассчитывая, что цыганка ее не заметит. Но та подобралась вплотную к диванчику и, перекрыв своим змеящимся телом все пути к отступлению, начала ощупывать ее, залезая в карманы.

«Хорошо, что у меня с собой ни ключей, ни денег», — подумала 70 607 384 120 250, с удовольствием отказываясь от сопротивления. Вдруг цыганка распахнула юбку, оказавшись под ней мужчиной, нацелившим прямо на нее свой фиолетовый от притока крови член. 70 607 384 120 250 закричала, но псевдоцыганка уже повалила ее на диван, поблескивая золотыми зубами в предвкушении долгого и методичного изнасилования...

С утра 70 607 384 120 250 знала, что пойдет к нему, и знала, чем это закончится. Ей хотелось хоть как-то загладить свою вину, успеть сделать в этом мире еще хоть что-то хорошее перед тем, как это произойдет, будто потом будет поздно и человечество дружно отвергнет все ее старания. Она навела порядок в квартире, дописала давно уже обещанную статью, купила и отправила подруге по почте подарок ко дню рождения, которого та от нее, скорее всего, и не ожидала. По дороге к 66 870 753 361 920 не смогла отказать бездомному, торгующему в поезде леворадикальной газетой, и не только купила свежий номер, но и начала внимательно читать статью о протестах против выселения коммун из пустующих домов.

Дверь в подъезд стояла открытой настежь. На лестнице она увидела полицейского, который, заметив посторонних, поспешил раствориться на верхней площадке, будто сам был воришкой или привидением. Двое его коллег совещались о чем-то во внутреннем дворе — высокопосаженное окно открывало их только начиная с пережевывающих неразличимые фразы подбородков.

66 870 753 361 920 спустился за ней на лифте.

— Что у вас тут произошло? — спросила 70 607 384 120 250.

— Не знаю. Кража или ограбление — они уже с утра ходят...

Когда они заходили в квартиру, она незаметно для него на секунду сжала пальцами дверной косяк, будто все еще надеялась, что сможет удержаться от искушения.

Пока он был в душе, 70 607 384 120 250, забравшись с ногами на диван, снова развернула «бездомную» газету. Некоторые коммунары, как оказалось, были инвалидами. А вторая половина за ними следила. Они образовывали пары (как в фигурном катании) и были очень довольны ситуацией, потому что инвалиды всегда имели уход, а здоровые — оправдание перед обществом, почему они не участвуют в капиталистическом производстве. Ведь заботиться об инвалидах — это, конечно, лучше и приятнее, чем кого-то эксплуатировать. Они жили в этой коммуне друг для друга, употребляя в пищу продукты неживотного происхождения и освобождаясь заодно от животных инстинктов, пока домовладельцы, отсудившие себе официально пустовавшие помещения, не приняли насильственных мер к выселению.

Не отрывая взгляда от тусклых типографских строчек, повествующих о дальнейшей судьбе оставшихся на улице коммунаров, 70 607 384 120 250 фиксировала все, что происходит в комнате: 66 870 753 361 920 вошел, запахивая на ходу полы махрового халата, подсел к ней, начал целовать в шею, гладить пальцами вдоль бедра... Отбросив газету, она оттолкнула его. Сняла через голову футболку, стянула колготки вместе с трусами и уже в самом конце, расстегнув молнию, вышла из юбки через верх, как из спасательного круга. Потом начала развязывать пояс его халата, но бросила на полпути — дальше сам. Спросила только:

— Здесь или в спальне?

Он молча кивнул на дверь, поднялся с дивана, пошел вон из комнаты, но, спохватившись, остановился у выхода, чтобы пропустить ее вперед. Она почти бегом пересекла длинный коридор, отталкиваясь босыми ногами от скрипучего паркета. Прыгнула в уже расстеленную кровать, затаилась, уткнувшись лицом в подушку. Дальше спасаться некуда, только стать тише воды — притвориться тростником. Но и тростник выдает себя, когда налетает ветер.

Приподнялась на локте, притянула его к себе, глядя из-под полуприкрытых век, чтобы не помнить потом ничего, кроме смутных очертаний. Самое страшное — быть всю жизнь самой у себя в свидетелях.

Они лежали рядом, сплетаясь голыми телами, но не решаясь окончательно соединиться, будто внизу у них, как у Наяды и Тритона, росли только рыбьи хвосты...

Скорее, скорее перевернуть страницу.

Продуктивная фаза

Просыпаясь в Петербурге в оставленной хозяевами (Зиной — на лето, отцом — навсегда) квартире, 70 607 384 120 250 делала зарядку в той комнате, где умер отец. Переходя к упражнениям на полу, она не могла отделаться от навязчивой мысли об отце, в предсмертных конвульсиях сползающем на ковер, на котором под утро его обнаружила Зина. Теперь на том же самом месте, где его мускулатура окончательно расслабилась и обмякла, ее мышцы приятно напрягались в такт музыке, изо всех сил цепляясь за жизнь.

За завтраком она пила чай из большой отцовской чашки с его знаком зодиака. На чашке по кругу прочитывались качества, которыми должен обладать типичный козерог. 70 607 384 120 250 с интересом изучала этот источник: «амбициозный, благоразумный, аккуратный, терпеливый, фаталист, остроумный, прозорливый». Вот каким, оказывается, был ее отец! Других письменных свидетельств о нем не сохранилось.

К метро она шла мимо бывшего кинотеатра «Прометей». Сам заступник человеческого рода изгибался в гимнастическом порыве над подушкой ионической колонны, спасая огонь от бронзового ястреба, вцепившегося ему когтями в тренированную икру. Его храм, однако, уже давно подвергся разорению и профанации, а затем, лишенный высшей божественной протекции, быстро пришел в упадок. Выведенные по трафарету вывески «Студия загара», «Ремонт обуви», «Бильярдная» наслаивались друг на друга и проваливались в небытие вместе с фанерной обивкой, закрывающей бреши на месте выбитых стеклянных витрин.

«Неделя бесплатно!» — кричал у метро размахивающий пачкой рекламок подросток.

Время — лучший подарок. Оно всегда слишком быстро заканчивается, вытекая, как из опрокинутого бидона, неделя за неделей. И вот уже кто-то напирает сзади, проталкивая ее сквозь с трудом поддающуюся напору дверь. Это оно свистит за спиной вентиляционным воздухом. Время. (То, что разлучает часто с теми, кто нам дарит счастье.)

Поездки в метро располагают к самосозерцанию. Внешний мир отсекается темнотой за окнами и гулом в ушах. Углубляясь в туннель, ты на самом деле погружаешься в себя, потому что больше тебе ехать некуда.

Академкнига на Литейном пустовала. Пожилой продавец, похожий на вахтера, читал газету. 70 607 384 120 250 присела на корточки перед одним из стеллажей: ей

почему-то казалось, что лучшие книги в букинистических отделах всегда труднодоступны и начинать поиски нужно сразу с наиболее потаенных мест. Через стекло витрины она увидела, как к магазину энергичным шагом подходят две пожилые женщины с миниатюрными фотокамерами в руках — наверное, туристки. На одной — комбинезон из белой плащевки, через весь живот накладной карман на молнии. Другая — в шелковой блузке с рукавом «летучая мышь». (70 607 384 120 250 мысленно разложила перед собой выкройки, по которым все это шилось.) Спустя минуту она услышала их щебетание в соседнем проходе.

— Ага, смотри, опять его книги, — возбужденно заговорила одна. — Куда ни пойдешь — везде он. С ума сойти можно!

— Это редкое издание вроде бы? — поинтересовалась другая.

— Ах, понятия не имею! Ты же знаешь, у меня дома вообще нет ни одного его романа!

— Ну как же? Я сама видела у тебя на полке.

— Брала у друзей почитать и не осилила даже половины... Отдала обратно.

— Неужели он не дарил тебе ничего?

— Кажется, нет. Не помню. Мы с ним другими вещами занимались.

Дамы сдержанно захихикали.

— Вообще, я тебе скажу: до чего ужасный у него был характер! — засокрушалась первая. — Сама удивляюсь, как я выдержала так долго!

— Ну, совсем и недолго, — возразила ее подруга. — Год от силы. Потом ведь он уехал? Писал тебе хоть, из Америки-то?

— Ну, пару раз...

— До чего же они все сволочи!

— А мы и до его отъезда несколько месяцев почти не виделись.

— Что, серьезно?

— Ну да! Я звоню ему, к примеру, и говорю: «Я сегодня свободна». А он: «У меня сейчас такая фаза продуктивная, буду работать целый день». Представляешь?

— А ты?

— А что мне делать? Занимаюсь чем-нибудь другим — иду в кино или на каток. Ну а на следующий день он сам звонит: «Давай встретимся!» Я ему тогда тоже: «Извини, у меня продуктивная фаза. Увидимся потом».

— Ты чего? Откуда у тебя продуктивная фаза?

— А что? Я тоже пописывала, да. Он мне даже обещал помочь с публикацией.

— И что, помог?

— Ну как видишь!

Обе от души засмеялись.

— Правда, когда я сказала про продуктивную фазу, он сначала совсем о другом подумал. Говорит: «Ничего, я буду осторожно».

Дамы захохотали еще сильнее.

— Так из-за чего вы поссорились-то? — поинтересовалась вторая.

— А мы и не ссорились. Просто то у него эта самая фаза, то у меня — когда же встречаться?

— Ну вы прямо как журавль и цапля из сказки... Так берешь книгу-то?

— Еще чего не хватало! Пойдем лучше мороженое есть!

Дверь хлопнула, и дамы выпорхнули на улицу, запустив внутрь несколько истеричных автомобильных гудков. 70 607 384 120 250 перешла в соседний проход и оказалась по другую сторону шкафа, возле которого только что сидела на корточках, подслушивая чужой разговор. Одна из книг на верхней полке была чуть выдвинута вперед, как патрон, выбившийся из обоймы. 70 607 384 120 250 потянула ее на себя, открыла титульную страницу и прочитала: «Александр Исаевич Солженицын».

У Серого монастыря

За несколько недель работы в библиотеке 55 725 627 801 600 почувствовал, что почерк Греля из досадной помехи на пути к познанию постепенно превращается в его инструмент. Манерные закорючки больше не заслоняли смысл, а, напротив, раскатывали его перед терпеливым читателем, как ковровую дорожку. И хотя некоторые пассажи были безвозвратно вымараны временем или самим автором, 55 725 627 801 600 теперь вполне сносно ориентировался в записках и мог нащупать в них те места, которые представляли интерес для его темы. Правда, тут всегда присутствовала некоторая неуверенность, так как Грель имел привычку выражаться витиевато и туманно, что увеличивало опасность за описаниями обыденных вещей не заметить нечто существенное или, напротив, заподозрить глубокий смысл там, где его не было. Так или иначе, страницы, относящиеся к детству и отрочеству Греля, 55 725 627 801 600 изучал особенно внимательно, стараясь не упустить то зерно, из которого произрастали все побеги.

«Учения мои, отмеченные усердствующим прилежанием, слишком часто прерывались печальной наклонностью организма к подавляющим тело недугам. Так привычно мне стало уже со временем исковерканное волдырями лицо с едва закрывающимся от нарывов ртом, сидящее на вздувшейся лимфоузлами шее и столь некстати обрамленное позолоченной гирляндой зеркальной рамы, что я почти сроднился с этим монстром и удивлялся, когда немочи отступали и на меня вдруг снова взирал миловидный белокурый мальчик, почти ничем не выделяющийся среди своих ровесников, кроме неистребимой никакими притирками бледности.

Из всех занятий, развивающих материю и дух в моем возрасте, доктор меньше всего опасности находил для меня в музицировании, которому предавался я со всеми силами, отвоеванными мною и моими также вечно хворающими родителями у испепеляющих волю болезней. Моим первым учителем был мой отец, помимо государственной службы, прекрасно владевший фортепьяно и органом. <...> Когда мне шел восьмой год, папенька получил назначение почетного органиста в Парохиалькирхе, всего несколькими кварталами отделенной от нашего тогдашнего обиталища. Почти ежевоскресно дозволялось мне сопровождать его к службе. С волнением и крайним внутренним напряжением ожидал я всякий раз того момента, когда грянет моя любимая фуга «Et incarnatus est de spiritu sancto», служившая мне и позднее неиссякаемым источником вдохновения. Вскорости отец, видя мое благоговение перед нитями, связующими земное и божественное, начал подпускать меня к большому церковному органу, доверяя мне исполнение прелюдий и постлюдий. Как же я преклонялся перед этим инструментом, дающим мне, маленькому мальчику, власть над целой общиной! И как жестоко ошибался я тогда, слепо доверяясь моему многотрубному идолу, способному на деле возвышать человеческий дух не более, чем старая разбитая шарманка! <...>

Однажды, проходя с отцом вдоль церковного зала, я заметил на скамье мавра, вперившегося глазами в одну точку и охваченного такой неподвижностью, будто сам он был из воска.

— Папа! — вскричал я. — Что здесь делает этот иноземец? Разве дозволено ему молиться нашему Богу?

На нас стали оборачиваться, а отец с силой сжал мою руку и быстро зашагал к инструменту, ибо близилось начало мессы. Я обернулся: мавр по-прежнему сидел, не шелохнувшись.

— Папа, — зашептал я, — уйдем домой! Я боюсь играть перед дьяволом!

— Дьявол — это что побуждает нас к нетерпимости, — строго сказал отец, открывая крышку органа. — Пусть музыка вразумит тебя и поможет развеять химеры!

В тот день я понял, что роль искусства не в том, чтобы возбуждать фантазию, как учат нас некоторые экзальтированные личности, а в том, чтобы усмирять ее чересчур буйные порывы. <...>

В июле 1810 года наше семейство переселилось на новую квартиру в дом Вустроу по Ландсбергерштрассе. Жилище это, хорошо запечатлевшееся у меня в памяти, располагалось на третьем этаже и состояло из четырех комнат, кухни, чулана, антресолей и подпола. Вносимая за него ежегодно сумма в 80 талеров казалась отцу удовлетворительной. В том же году в Берлин смог вернуться мой обожаемый дядюшка Отто, поселившийся в нашем же доме ниже этажом, в квартире из двух комнат и одного чулана, стоившей ему 36 талеров в год.

Дом Вустроу, по счастию, находился так близко к прежней квартире, что я мог некоторое время после переезда продолжать посещать частную школу Крюгера, в которую был определен начиная с моего шестилетия. Однако на Пасху 1812 года меня по возрасту перевели в гимназию «У Серого монастыря», где я затем и пребывал до преждевременного выпуска.

Гимназические стены, давшие надежный приют моей юности, принадлежали изначально ордену францисканцев, заложивших здесь еще в потемках Средневековья свою обитель. В эпоху Реформации францисканцы покинули Берлин, оставив после себя готические своды, оглашаемые с тех пор вместо молитв цокающими подошвами школяров и речитативами зазубриваемых уроков. Промеж учеников шептались, однако, что монахи ушли не совсем и их серые рясы можно иногда различить за колоннами деамбулатория, особенно если рано утром, еще затемно, опаздываешь в класс, а школьный сторож уже загасил половину свечек в бывшем церковном зале. Подозревали, что ночью францисканцы выбираются из-под ступеней главного портала, где во время эпидемии чумы наспех хоронили отошедших братьев, а на заре не всегда успевают заползти назад. Однажды, пробегая с латинским учебником в руках под аркадами центрального нефа, я услышал их пение. Они все тянули на один голос тяжелую, как хомут, мелодию, похожую на завывание ветра. <...>

Кроме музыки, я с детства отдавал дань восхищения живописным искусствам. Помню, как один из товарищей принес в гимназию альбом с цветными гравюрами из Ирана, который, вероятно, тайком извлек из родительской комнаты. Каждая гравюра отделялась от предыдущей папиросной прокладкой, и мы, затаив дыхание, ждали, какой сюжет откроется следующим. Большинство иллюстраций изображали всадников в чалмах и узорных халатах, поднимающих над головой изогнутые колесом сабли. А на одной гравюре оказалась вдруг странная сцена, которая потом своей загадочностью заставляла нас возвращаться к себе снова и снова: под шатром, рядом с выложенной кафелем купальней, сидело несколько женщин, полностью закутанных в черное. Еще одна девушка, только совсем нагая, лежала на кафельном полу. Двое «черных» женщин наклонились над ней, словно обтирая ее какими-то тряпками, скрывавшими срамные места. Что они делали? Готовили свою подругу с таинственному ритуалу? Или, быть может, обмывали уже бездыханное и равнодушное тело?

Мысли мои до сих пор нередко оборачиваются к гимназическим летам, и каждый раз вспоминаю я с грустью и светлым умилением нашу столетиями собираемую библиотеку, декорированную бюстами древних и полотнами мастеров недавнего прошлого. Отвлекаясь от книг, я засматривался на ведуты Каналетто, присланные

за полвека до того из Венеции бывшим выпускником нашей школы, торговцем и финансистом Зигмундом Штрайтом. Я воображал, что это не полотна, а оконные проемы и что я вот-вот выбегу на улицу, и по одну сторону от меня окажется Камподи-Риальто, а по другую — канал Гранде».

Спиноза

В детстве я часто путала Спинозу и Соснору. Хотя теперь я уверена, что это просто разные аспекты одного и того же, как те два бородатых дяди у нас в гостях: один из них обещал рассказать мне сказку, а другой почему-то отказался выполнить это обещание и даже не понимал, о чем идет речь. Зачем убивать столько времени на поиски различий, если все равно все в ответе за каждого и рано или поздно будет уже не отвертеться?

Кто-то из них ‹Соснора или все-таки Спиноза?› был членом Союза писателей. Союз писателей, в свою очередь, был частью Советского Союза, а Советский Союз управлялся с космического корабля «Союз Т-7». Счастливого полета и приятных ощущений в пути! Не забудьте пристегнуть ремни и не выдавливайте зубную пасту на щеки соседа — она все равно будет летать отдельно!

Союз писателей выделил Сосноре ‹будем в дальнейшем для удобства пользоваться этим именем› новую квартиру, потому что старая была уже дырявая, как Диогенова бочка. Вернее, ее вообще не было, а была только комната в районе улицы Зодчего Росси, рядом с балетным училищем. Мой дядя вместе со своим другом, учеником мастера, приехал помочь ему при переезде, и мы долго шли по коммунальному коридору, где за каждой дверью мне мерещился репетиционный класс. Соснора оказался в самой дальней комнате. Он сидел за пишущей машинкой в халате, словно бы и не собирался никуда переезжать. Впрочем, коробки с книгами уже стояли наготове, и даже кадка с каким-то домашним растением была заботливо обернута простыней. Пока все это переносили в машину, он стучал и стучал пальцами по клавишам, осекшись только, когда из-под него аккуратно вынули стул. Тогда он вдруг спохватился и поспешно засобирался, натягивая пальто поверх халата.

Его погрузили отдельно от мебели в бесцветные «Жигули» и повезли в другой мир, который не успел еще обветшать, потому что только начинал строиться. Когда выруливали с Зодчего Росси и колонны исторических фасадов одна за другой заваливались в стекле на заднее сиденье, Соснора даже не обернулся. Всю дорогу он смотрел только вперед, на грузовик от фирмы перевозок, указывающий нам путь.

Пока ехали по центру, грузовик двигался как-то неловко, вразвалку, но потом быстро начал набирать скорость и по шоссе летел уже уверенно, как конькобежец, только для успокоения окружающих касаясь колесами земли. Я хорошо знала эти места, мы и сами недавно получили здесь квартиру. Кругом лежали неосвоенные пустыри, будущие улицы были едва намечены заасфальтированными тротуарами и рассеянными в пространстве высотками. На некоторые из них еще только наращивалось блочное мясо.

Грузовик остановился на проспекте Наставников. Из него выпрыгнули люди в ватниках с папиросами в зубах. Прошел слух, что по дороге разбились зеркало и какая-то гипсовая голова. Но Соснора не подавал признаков беспокойства. Может быть, он верил, что сочинит себе все это заново? Или просто думал в тот момент о чем-то другом. Например, о том, что эти места хороши для прогулок. Сразу за проспектом Наставников начиналась деревня. Там еще стояли рубленые избы, схоро-

нившиеся за лежанками дров. Летом по улицам бегали свиньи, от которых я отмахивалась, как от собак. Зато за двадцать минут на автобусе можно было доехать до кинотеатра «Ладога», где по вечерам в фойе пела певица в рыжем парике с полным голосом. Иногда кто-то из посетителей угощал ее мороженым, и тогда становилось страшно, что она простудится и не сможет больше петь.

Универсамов поблизости еще не построили, поэтому под магазины отдавали крупногабаритные квартиры нижних этажей. В гостиной — мясной отдел, в спальне — молочные продукты, в детской — бакалея, в ванне — касса. Карамельки зачерпывали пластмассовым детским совком из фанерного лотка. В очереди за маслом меня приходилось приподнимать над прилавком, чтобы показать продавцу: он не имел права выдавать больше двухсот граммов в одни руки.

В школе учились в три смены. Рядом со мной сидел мальчик-левша. Ему ставили в пример мой почерк, а я втайне восхищалась его каракулями.

По вечерам в доме часто не работал лифт, и я поднималась пешком с портфелем за плечами на седьмой этаж по плохо освещенной лестнице. Встреча с маньяком казалась почти неизбежной. За себя я не боялась, но было немного обидно за мир, который так легко и так нелепо могли лишить моего в нем присутствия. Впрочем, с каждым годом переживаю за него все меньше. Пора, пора уже вам учиться обходиться без меня!

Настоящее

66 870 753 361 920 приходил в себя после любви медленно, как после жара. 70 607 384 120 250 уже давно оделась и перебралась с книжкой на подоконник, а он все лежал с закрытыми глазами, откинувшись на подушку.

В этой постели у нее еще не было постоянного места. Она могла ложиться с ним, как хотела — справа или слева, сверху или внизу. Делая ей самые откровенные комплименты, он неизменно интересовался, говорил ли ей это кто-нибудь до него, будто хотел знать, многих ли мужчин она подпускала к себе так же близко. А может быть, ему просто было важно придумать собственные названия для каждого участка ее тела, чтобы слепить его заново, как текст. Однако чем дальше заходили их ласки, тем меньше он заботился о стиле, пока наконец совсем не терял способность к членораздельной речи. Это казалось ей забавным, и она нарочно задавала ему посторонние вопросы, чтобы следить за тем, как постепенно затуманивается его сознание. Сама она не забывалась ни на минуту: удовольствие поражало ее коротко и внезапно, как ожог.

Оторвавшись от книги, 70 607 384 120 250 посмотрела вниз. Во дворе дети расстреливали из пистолета деревянного идола, который стоял перед ними, высоко подняв руки, будто сдаваясь. Один из мальчишек даже забрался к нему на плечи, чтобы пустить пулю прямо в голову.

— Слезь с окна, — 66 870 753 361 920 наконец открыл глаза. — И надень что-нибудь на ноги, у меня холодный пол, простудишься.

70 607 384 120 250 засмеялась:

— Ты думаешь, это единственное, чем я ради тебя рискую? Ну ладно, вставай уже скорее, мы опаздываем!

66 870 753 361 920 только что прилетел с книжной ярмарки в Лондоне и не хотел никуда идти.

— Ты не представляешь себе, как страшно общаться с писателями! — рассказывал он. — Думаешь: неужели ты тоже, как и они, никому не нужен? А потом, знаешь, я познакомился с девушкой. Она подошла ко мне и сказала: «Я не знаю, как раньше жила без ваших книг». И все как-то предстало в другом свете. Кстати, ее звали Свет-

лана, это ведь о чем-то говорит, да? Оказалось, что она тоже пишет, я взял у нее рассказ и стал читать по пути назад, в самолете. И это было что-то потрясающее! То есть это был эталон плохого текста, просто эталон. Я даже начал получать от него определенное удовольствие. Хочешь почитать?

— Нет, мы же собирались на вернисаж, — сказала 70 607 384 120 250 с досадой.

66 870 753 361 920 нехотя встал с постели и начал поднимать разбросанные по комнате предметы гардероба.

— Как ты так быстро все находишь? — рассуждал он. — Ведь женские трусики такие маленькие. Не боишься их здесь как-нибудь потерять?

— Ничего, у меня есть еще.

— Кстати, где моя майка, не помнишь?

— В кухне.

— Слушай, что бы я без тебя делал?

— Без меня она бы там не была.

У подъезда мальчишки, уже покончившие с идолом, дружно направили на них дула своих пистолетиков и держали под прицелом, пока они не свернули за угол. Погода была солнечная, и 66 870 753 361 920 надел темные очки, от чего сразу стал чужим и непроницаемым. 70 607 384 120 250 ждала, что он возьмет ее за руку, но этого не произошло. Только когда они спустились к набережной, он вдруг развернул ее к себе и начал целовать. Может быть, он репетировал очередную сцену для своего будущего романа. Или, наоборот, воплощал какую-то из уже написанных страниц.

— Почему, — спросила 70 607 384 120 250, наблюдая за своим отражением в его очках, — настоящее всегда хуже прошлого и того, что еще только должно произойти?

— Потому что у нас нет времени на его оправдание или предвкушение, — ответил 66 870 753 361 920 и пошел вперед, оставив ее стоять с полузадранным платьем, зацепившимся за чугунную решетку.

Она поправила подол и медленно двинулась за ним следом. Он дожидался ее на перекрестке.

— У меня такое ощущение, что я постоянно должен перед тобой в чем-то оправдываться. Ты ставишь меня в угол, как провинившегося школьника. Знаешь, как это невыносимо?

Шарманщик в прусской униформе, наяривавший на своем инструменте тему из «Титаника», избавил их от необходимости продолжать разговор, пока они не перешли на другую сторону.

— Я думаю, — сказала она, пользуясь тишиной очередного переулка, — как я буду жить без тебя?

— Ну вот, это типично: ты думаешь только о себе. Как я буду жить без тебя — никого не волнует!

На некоторое время их внимание отвлекла карта города, которую он достал из кармана, чтобы сориентироваться. 70 607 384 120 250 уже довольно хорошо знала центр Берлина, но адрес Министерства иностранных дел, где сегодня открывалась выставка, организованная обществом немецко-российской дружбы, ей ни о чем не говорил. Покрутив карту, они, впрочем, убедились, что взяли правильное направление, и минут через пять уже проходили контроль у турникетов правительственного здания, приютившего у себя работы наиболее передовых российских художников. Очередь к охраннику надо было занимать по одному, и она подумала, что для них стоять друг за другом теперь намного естественнее, чем рядом.

Внутрь пускали строго по паспортам и специальным приглашениям, однако народу в зале собралось порядочно. Прямо у входа 66 870 753 361 920 остановил мест-

ный профессор славистики и начал расспрашивать про новый роман. Видя, что 66 870 753 361 920 испытывает неловкость, не зная, как ее представить, 70 607 384 120 250 отошла к столику с напитками, где ее берлинская приятельница Женя как раз решала, у кого из одновременно подскочивших к ней молодых людей взять бокал с вином. Женя работала в международном концертном агентстве, а также в музейном департаменте, так что вокруг нее всегда было много энергичных деятелей культуры и искусства. Один из молодых людей, которого 70 607 384 120 250 очень кстати освободила от напитка, оказался сотрудником Эрмитажа и даже пообещал при случае провести ее туда без очереди. Второй был из какого-то азербайджанского оркестра и не очень хорошо говорил по-русски, что, впрочем, только дополнительно оживляло беседу. После вина 70 607 384 120 250 захотелось чего-нибудь безалкогольного, но их уже оттеснили от буфета. Заметив, что 66 870 753 361 920 закончил объясняться со славистом, 70 607 384 120 250 замахала ему рукой и, окликнув по имени, попросила принести стакан сока.

— Ой, а кто это? — поинтересовалась Женя. — Тот самый писатель?

70 607 384 120 250 кивнула.

— Неужели принесет? — на лице подруги появилось сомнение.

Молодые люди тоже выразили некоторое изумление и развернулись, приготовившись следить за передвижениями живого классика по залу. Классик, однако, был не так проворен, как ей бы хотелось, поэтому зрители вскоре заскучали и обратили свое внимание на другого известного писателя из Москвы, который как раз появился откуда-то из-за ширмочек, где, вероятно, скрывался до поры до времени, чтобы произвести своим появлением особенный фурор. Однако, кроме их любознательной группы, на него никто не посмотрел, и писатель опять скрылся «за кулисами», возможно, решив выждать еще более удачный момент. Тем временем 66 870 753 361 920 наконец донес до нее сок, но встал чуть в сторонке, так что 70 607 384 120 250 не была уверена, знакомить его со своей компанией или нет. Его глаза имели непривычно отстраненное выражение, которым он, казалось, заразился от солнцезащитных очков.

— Какой он у тебя строгий! — шепнула ей на ухо Женя и с характерным смехом переключилась на своих веселых и общительных спутников, которых, судя по всему, не мучила вселенская тоска.

70 607 384 120 250 вздохнула и подвинулась ближе к 66 870 753 361 920. У них была договоренность в обществе, где их могли знать, не прикасаться друг к другу. Но они все-таки ухитрялись каждый раз обходить этот запрет или возмещали его такими взглядами, которые были неосторожнее любых прикосновений. Сегодня, однако, их вряд ли могли в чем-то заподозрить: конспирация неожиданно оказалась на высоте.

— Ну как, тебе нравится выставка? — спросила 70 607 384 120 250 таким тоном, как будто они только что случайно столкнулись лицом к лицу.

— Ты думаешь, я в Лондоне не насмотрелся на людей? — ответил он, глядя в уже почти опорожненную им кружку пива.

Женя многозначительно подмигнула ей, делая какие-то загадочные знаки. 70 607 384 120 250 обернулась: к ним приближался известный русский фотограф, уже много лет назад перебравшийся в Берлин. Они с Женей недавно были на его выставке и, уходя, даже поблагодарили мастера за доставленное удовольствие, на что тот ответил благосклонным кивком. Еще в советское время он прославился в неофициальных кругах работами, идущими вразрез с требованиями соцреализма. Особенное внимание фотограф уделял обнаженной женской натуре в экспериментальных позах, используя в качестве неизменной модели собственную жену, которую и теперь бережно вел под руку. 70 607 384 120 250 пригляделась, пытаясь распознать в этой

уютной старушке юное черно-белое создание, нежившееся голышом на крымском песке или забравшееся с коленями на кухонный табурет, повернув к объективу отражающие утренний свет ягодицы.

Пожилая пара подошла к 66 870 753 361 920 и приветствовала его как старого приятеля, ругая, что он до сих пор не объявился, и зазывая в гости. На 70 607 384 120 250 они почти не обратили внимания, хотя 66 870 753 361 920 представил ее по имени и фамилии, даже коротко упомянув род занятий. Не найдя себе применения в разговоре, 70 607 384 120 250 спустилась в нижнюю часть зала, где немедленно оказалась в окружении людей, про которых даже и не думала, что они когда-либо соберутся вместе.

Первым делом она расцеловалась с Геллой, активисткой экспериментального театра, пригласившей ее когда-то на свою премьеру. 70 607 384 120 250 вспомнила, что Гелла когда-то грозилась убить одного известного современного художника за одной ей известные преступления против современного искусства.

— Он, кстати, сейчас здесь, — шепнула она Гелле. — Не хочешь попробовать?

— Слушай, если я начну убивать в этом зале каждого кто того достоин, у меня не хватит патронов, — ответила Гелла вполне серьезно и повернулась к своему собеседнику, неожиданно перейдя на английский: — I hate capitalism, you know.

С другой стороны к 70 607 384 120 250 уже пробиралась Лера, чемпионка города по стрельбе из лука и любительница балета, знавшая в лицо и по имени всю берлинскую труппу вплоть до исполнительницы роли оленя в «Белоснежке», которая, проскакав один раз через сцену, исчезала за кулисами до следующего представления.

— Хорошо, что я тебя встретила, — Лера доверительно взяла ее под руку. — На следующей неделе танцует второй состав «Сильфиды». Ни в коем случае нельзя пропустить!

— Я недавно видела «Сильфиду» в Мариинке, — созналась 70 607 384 120 250.

— Так это же прекрасно! — похвалила ее Лера. — Значит, сможешь сравнить постановки. Я тебе обещаю, ты посмотришь на эту вещь совершенно по-новому!

— А ты пойдешь?

— Я еще не знаю, смогу ли в этот раз. Но мне важно, чтобы ты обязательно посмотрела этот спектакль.

— Я?

— Да, мне почему-то кажется, что тебе это будет особенно интересно.

Лера так проникновенно посмотрела ей в глаза, что 70 607 384 120 250 почти поверила, что по каким-то особенным причинам второй состав берлинской «Сильфиды» может иметь в ее жизни решающее значение.

Между ними проскочило несколько детей, пытающихся приспособить выставочное пространство для игровых нужд. Одна из девочек, забежав за спину элегантной дамы с бокалом в руках, находчиво спряталась за ее пончо. Товарищи по игре затоптались на месте, озадаченные внезапным исчезновением подруги.

— Непременно расскажи потом о своих впечатлениях! — замахала ей Лера уже издали.

В ответ можно было даже не кивать: в вернисажной толпе все коммуникативные акты естественным образом саморегулировались и закруглялись. 70 607 384 120 250 подумала о том, что вернисаж — модель идеального мира, где ты всегда свободен занять любую позицию и где никогда не будут жалеть о твоем исчезновении.

Чуть не споткнувшись о тумбу с каталогами, 70 607 384 120 250 оказалась прямо перед Кириллом, студентом философии и одновременно владельцем салона эротического массажа. В университете ему приходилось готовиться к зачетам по Хайдеггеру и Ницше, зато в салоне он применял на практике более близкие для себя прин-

ципы тантры и других восточных учений. Они познакомились в Картинной галерее, где Кирилл попытался объяснить им с Аллой, почему Иисус и Мария Магдалина являются идеальной тантрической парой. По прейскуранту «массаж йони» в его салоне стоил сто двадцать евро в час.

Снизу верхняя часть зала просматривалась хорошо, как подиум. 66 870 753 361 920 появился на этой площадке с какой-то женщиной, которая время от времени клала руки ему на плечи, будто испытывала трудности с координацией движений. 70 607 384 120 250 медленно пошла к ним, успевая по пути реагировать на приветствия и саркастические замечания в адрес устроителей. Московский писатель снова показался из-за ширмочек и начал прогуливаться взад-вперед, как оперная дива в ожидании своей арии. Однако в мизансцене, которая должна была сейчас разыграться, он мог претендовать только на роль статиста.

— Познакомься, это Нина, — нехотя объяснил 66 870 753 361 920, отходя на пару шагов от своей собеседницы. — Она переводчица и журналистка.

— Вы тоже пишете? — догадалась 70 607 384 120 250.

— Ах, да что вы! — отмахнулась Нина. — Разве это называется «пишу»? Вот он у нас монстр, глыба! — она снова попыталась прильнуть к 66 870 753 361 920. — А я что? Так, пописываю немного.

По лицу 66 870 753 361 920 нельзя было понять, чувствует ли он себя польщенным этими признаниями или, наоборот, испытывает раздражение.

«Может быть, он ждет, чтобы я сказала ему то же самое?» — эта мысль почему-то испугала 70 607 384 120 250.

К ним присоединилась еще одна девушка, совсем молоденькая, которую 66 870 753 361 920 представил как студентку режиссерских курсов.

— Я в России преподавала один семестр историю кино, — попыталась 70 607 384 120 250 нащупать общую тему, втайне радуясь тому, что разговор уходит от литературы.

— Вы же сказали, что вы филолог! — студентка режиссуры осмотрела ее всезнающим взглядом, неожиданным и неприятным в ее возрасте.

— Да, но филология сейчас пересекается со смежными дисциплинами, — попыталась оправдаться 70 607 384 120 250. — Не исключено, что филологи могут сказать о кино нечто, до чего до сих пор не додумались киноведы.

— Что, например? — хладнокровно поинтересовалась девушка. — О чем был ваш курс?

— Ну, например, об Эйзенштейне...

— Об Эйзенштейне? — собеседница выразительно подняла брови. — Вы хотите сказать что-то новое об Эйзенштейне? Ну-ну.

Этот обмен репликами произвел на 70 607 384 120 250 самый мрачный эффект. Ей захотелось срочно удалиться за ширмочки, как это только что сделал московский писатель, так и не дождавшийся своего сольного выхода. Однако по законам вернисажа все устроилось само собой: в толпе очень кстати обнаружилась художница Соня, дав 70 607 384 120 250 естественный повод в очередной раз поменять местоположение в пространстве.

Соня знала огромное количество историй из жизни арт-богемы, причем все они не имели ни малейшей морали, оставляя слушателя не вполне неудовлетворенным и жадным до следующей серии, где, возможно, наконец произойдет нечто поучительное. В прошлую их встречу она рассказывала про галериста, который начал замечать, что его художники один за другим впадают в депрессивное состояние. Это вызвало

в нем беспокойство, и он послал своих сотрудников в обязательном порядке к психотерапевту, оплатив консультацию. Психотерапевт прописал всему коллективу специальные таблетки, после чего настроение в галерее резко улучшилось. И главное — продажи пошли намного успешнее. Хотя, возможно, галерист, который тоже принимал таблетки, просто по-новому посмотрел на ситуацию. Так что, скорее всего, ничего и не изменилось, но жить стало как-то легче.

Теперь речь шла о поездке на бьеннале в Венецию, где Соня с подругой посетила афроамериканский ночной клуб.

— В какой-то момент, — рассказывала Соня собравшимся вокруг нелюбителям искусства, — мы поняли, что мы здесь самые красивые. То есть что мы вообще единственные белые женщины! И нам стало страшно...

Всем, конечно, захотелось узнать, чем закончился вечер. Но оказалось, что абсолютно ничем: протанцевав еще несколько часов, девушки благополучно вернулись в отель. В этом было, как и во всех Сониных историях, что-то утешительное и одновременно безнадежное.

70 607 384 120 250 нашла 66 870 753 361 920 в шатре, раскинутом в боковой части зала специально для инсталляции, которую следовало рассматривать в темноте. 66 870 753 361 920 в первый раз за вечер стоял один, глядя куда-то мимо едва различимых глазом экспонатов, будто пытался уловить сквозь черноту очертания совсем других, одному ему дорогих и понятных предметов. В этом вакууме, из которого выкачали почти все, кроме их собственных мыслей, стало вдруг особенно очевидно, как мало между ними общего.

— Пойдем, — сказала она, тронув его за локоть.

Он молча отодвинул балдахин, прикрывавший вход, и они с облегчением выбрались наружу. Можно было попробовать все сначала.

На обратном пути он угрюмо задавал ей вопрос за вопросом:

— Кто ты мне? Что мы значим друг для друга? Чего ты хочешь?

— Творить, — ответила она. — Творить и быть творимой.

Уроки хождения

По утрам в поезде 55 725 627 801 600 иногда заглядывал в книги, которые читали рядом с ним другие пассажиры. Почти все книги были невероятно толстыми, будто каждый смертельно боялся того момента, когда текст иссякнет, и старался его по возможности оттянуть. 55 725 627 801 600 вспомнил, что мама на рынке всегда выбирала мандарины покрупнее: ей казалось, что это выгоднее с точки зрения соотношения мякоти и кожуры.

Если бы можно было всосать в себя суть, как сок, не вгрызаясь лишний раз в кожуру сюжета!

Чужие тексты, правда, все на одно лицо, как туземцы в этнографических фильмах: машут соломенными чучелами, конвульсируют в ритуальных танцах, а полюбить их не хочется. Потому что не понимаешь, откуда они пришли, повиливая оперенными бедрами, и что скрывают в своих ситцевых шатрах.

Девушка справа захлопнула книжку, не дав ему дочитать фразу: «Я зарегистрировался и поднялся наверх в номер, мрачную комнату с овальным ковриком на полу и стенами из сосновых досок...» Вот и еще чья-то история оборвалась для него, как ниточка, не успев пробудить ни малейшего любопытства. 55 725 627 801 600 представил, что кто-то сейчас (может быть, в соседнем вагоне) зачитывается романом из его собственной жизни: «Я привстал, пропустил девушку к выходу и тут же забыл о ней, хотя она еще пару секунд отражалась в стекле, к которому я отвернулся, надеясь

рассмотреть там нечто совсем другое». Но ведь это все кожура! А как добраться до мякоти?

Уже неделя, как 55 725 627 801 600 вернулся в институт, где его ждали хорошие новости: директор выделил ему ассистента, чтобы записать и заархивировать звучание камертонов с минимальной потерей качества. Теперь не было надобности ежедневно извлекать их один за другим из хранилища: они сами послушно откликались на нажатие компьютерной кнопки, наполняя его кабинет перезвоном, достойным кузницы Тувалкаина. Ничто не мешало ему, положив в карман компакт-диск, съездить наконец в лабораторию и произвести давно запланированные акустические измерения. Но почему-то это казалось сейчас не главным.

Затворив дверь кабинета, он достал ноутбук и снова открыл файл с воспоминаниями Греля, которые, насколько позволяло их состояние, были реконструированы и сохранены им дословно, однако как будто все еще требовали дополнительной расшифровки:

«За несколько лет до моего вступления в гимназию в Сером монастыре были введены уроки пения. Наш учитель Ритчл, несмотря на отсутствие в моем голосе природной силы, сразу опознал во мне внутренний музыкальный талант и настоял на том, чтобы privatim посвящать меня в премудрости генерал-баса и контрапункта. Своими главными наставниками в композиции, сформировавшими мой стиль и вкус, я, однако, до сих пор почитаю Цельтера и Рунгенхагена. <...>

Будучи еще гимназистом предвыпускного класса, был я застигнут врасплох событием, повлиявшим самым внушительным образом на всю мою биографию. 17 апреля 1816 года скончался хормейстер и органист Николайкирхе Леманн, памятный мне к тому же как друг моего отца и мой учитель фортепьяно. Смерть Леманна оставила не только брешь в наших сердцах, но и вакансию главного органиста, занять которую, я чувствовал, предназначало меня само провидение. Признаться, в те времена, равно как и в наши, нисколько не было обычаем доверять подобные посты, требующие по всеобщему согласию уже определенной душевной и музыкальной зрелости, юношам, не достигшим еще и шестнадцати лет. Однако я мог вполне положиться на протекцию в консистории, где ко мне благоволили отдельные влиятельные лица. <...>

Что делать, если к пятнадцати годам жизнь кажется завершенной? Если то, к чему ты так страстно стремился, уже постигнуто настолько, что вызывает тоску и разочарование? А что впереди? Сипение органных трубок, выдающих себя за иерихонский оркестр, да бесконечная переписка с начальством об увеличении жалованья... (зачеркнуто)

Решение о назначении меня исполняющим обязанности органиста Николайкирхе подоспело весьма скоро. Делом времени и искусных переговоров с начальством было теперь мое окончательное утверждение на этом посту, последовавшее в декабре 1817 года. Без сожаления покидал я пригревшие меня стены гимназии, неколебимый в желании целиком посвятить себя музыкальному поприщу, ибо не видел в мире другого предопределения, в такой же мере отвечающего моим природным склонностям и талантам. <...>

Не без известного влияния на мое музыкальное развитие был дружеский круг моего отца, состоявший почти без исключения из членов Певческой академии, по всей вероятности, привлеченных в наш дом голосом и жизненной энергией моего дядюшки Отто. Назову здесь лишь несколько имен, имевших на меня во всех отношениях поучительный и педагогический эффект: Цельтер, Патциг, Рунгенхаген,

Флемминг, Воллант, Хелльвиг. Все они с живейшим участием следили за тем, как у них на глазах распускается трепетный бутон моих дарований, и одобрительно хлопали отца по плечу, когда тот рассказывал, сколько накоплений было уже вложено в мое образование. «Эх, — говорил на это отец, — знания не сделали счастливым ни меня, ни моего отца, ни отца моего отца, но каждый раз мы надеемся, что в следующем поколении это все же произойдет. Надо только чуточку меньше лениться!» Все смеялись, потому что никого в нашем семействе нельзя было заподозрить в лености.

В мае 1817 года, вскоре после того, как с уходом из гимназии несколько стремительно началась моя самостоятельная жизнь, я был официально зачислен в Певческую академию, к чьим занятиям имел постоянный доступ в роли восторженного слушателя начиная с моего двенадцатого года. Повторюсь еще раз: мой голос ввиду слабой телесной конституции никогда не был способен к музыкальному выражению. Я с трудом контролировал свое дыхание и едва ли мог с надлежащей чистотой и уверенностью додержать до конца одну-единственную затянувшуюся ноту. Так, пение часто превращалось для меня в мучение, сравнимое с хождением по ножам. Однако мой восторг и преклонение перед вокальным искусством были столь велики, что я ревностно отстаивал свое место в хоре, определенное мне в самом заднем ряду, среди вторых басов.

Как уничтожить несуществующее?
Как стереть ненаписанное?
(зачеркнуто)

Незабвенны мне до сих пор еженедельные спевки с солистами, случавшиеся у нас по заведенному обычаю по вторникам и неизменно дающие хору лучшие образцы для подражания в виде самых выдающихся голосов нашего времени. Все сольные партии исполнялись не только безупречно чисто, но и благодаря скрупулезным расчетам нашего дирижера Фаша идеально соотносились по громкости с возможностями самого хора. В нижних регистрах солирующий бас, к примеру, всегда был достаточно силен, чтобы служить опорой другим голосам, а в верхних, напротив, не допускал слишком резкого звучания, грозящего заглушить хористов. Та же гармония царила и внутри самого хора, уже даже не нуждавшегося в усилиях дирижера и привыкшего самостоятельно нести мелодию, как морская волна доверившуюся ей шлюпку.

Очевидно — и на сегодняшний день у меня не было повода в этом усомниться, — что подобные достижения возможны лишь до той поры, пока певческое искусство остается главной и единственной целью хора. С того момента, однако, когда хоровой коллектив оказывается принуждаем к концертной деятельности ради денег, требующей к тому же привлечения дорогостоящих оркестров (которые, к месту сказать, редко оказываются в состоянии производить более или менее чистый звук), художественная сторона терпит непоправимый урон.

Уже в те годы вызревало во мне оформившееся значительно позже убеждение, что суть музыки заключена единственно в вокале и любое инструментальное сопровождение лишь уводит нас с тропы познания истины, заставляя блуждать в лабиринте, в то время как мы давно бы уже могли подняться на башню и, начертав подробный план местности, выйти к цели кратчайшим путем. Тем не менее в моих первых самостоятельных композициях я не решался еще отказаться от привычных публике оркестровок и использовал любую возможность представить вышедшие из-под моего пера мотеты и кантаты в доверенной мне Николайкирхе, приурочивая их исполнение к праздничным событиям, на которые так щедр наш церковный календарь. <...>

Самое страшное — не жар, не беспамятство, а дни неуклюжего прозябания на грани между болезнью и усталостью. Ты прижимаешься ухом к диванной подушке, как к гальке на дороге, и почти уже улавливаешь сотрясение почвы, производимое накатывающейся на тебя музыкальной фразой. Но стоит только придвинуться поближе к столу, все идеи рассыпаются по комнате мошкариным облаком, и нет ни малейшей надежды стянуть их в жгут нотной строки. Будто кто-то привязал к твоим ступням тяжелые грузы, а кто-то другой манит пальчиком с высоты: «Взлетай сюда! Тут весело!» Пишешь наконец что-то, перечитываешь и содрогаешься: вместо ангельского концерта перед тобой лязганье адских котлов. И тут понимаешь, что это теперь и есть твое зеркало, где ты, как ни пудрись, будешь позеленевшим, истекающим гноем, опухшим, пока болезнь вдруг чудесным образом не даст тебе передышку (зачеркнуто).

Как похоронить нерожденное? (зачеркнуто)

В январе 1817 года в Николайкирхе состоялась премьера моей кантаты «Давайте вместе в новых залах» для хора и солистов в сопровождении флейты, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса, открывавшаяся продолжительной увертюрой (граве, ре минор, такт 4/4, в заключение престо и престиссимо). За этим следовал оживленный хор (такт 4/4, ре мажор). Хор сменялся речитативом «Листья шелестят» и арией баса «Посвященье светлой радости». Завершала первую часть фуга «Правда побеждает там, где ложь смущает». Вторая часть начиналась хором «Аллилуйя», за которым шли речитатив и каватина, после чего снова вступал хор с повторением заглавной фразы «Давайте выше в новых залах» ‹...›

В 1819 году в период с 26 апреля по 21 мая мною был написан концерт для четырехголосного хора и солистов в сопровождении двух скрипок, альта, виолончели, контрабаса, флейты, двух гобоев, двух фаготов, двух валторн, двух труб и литавр, впервые прозвучавший во время богослужения на день Святой Троицы. Перед проповедью исполнялась первая часть, после проповеди — вторая. Первая часть состояла из хора «Как имя твое, Боже, так и слава» ‹ми-бемоль мажор, такт 4/4, анданте состенуто›, сменявшегося речитативом, арией и хоралом, притом последний пелся на мелодию «Как мне принять Тебя». Вторая часть складывалась из следующих фрагментов: хор «Благодарим, о Боже», речитатив «Молясь, Отец, сникаю в пыль», хор «Пусть горы разойдутся», ария «Ах, Господи, давай навечно» и речитатив «Да, чистый свет, прорежься в полном блеске», завершающийся общим пением хора и общины на слова «Как светит нам заря».

Еще в день премьеры мне принесли записку от пробста Риббека, в которой он выражал свое восхищение строками, цитируемыми здесь по оригиналу:

Высокочтимый господин Грель,

благодарю Вас от всего сердца за прекрасный и в высшей степени удавшийся праздничный концерт. Вне всяких сомнений, вы умножили сегодня уместное в день Троицы благоговение общины и существенно послужили ее назиданию. Пусть это станет сладким воздаянием за ваши усилия, неизбежные для достижения столь достойного результата.

Ваш покорнейший слуга
Риббек
Берлин, 30 мая 1819 г.

В продолжение того же года я свел интересное знакомство, которым обязан епископу Ритчлу, представившему меня в консистории концертмейстеру Михаэлю Готтхардту Фишеру из Эрфурта, чье владение органом и искусством контрапункта в ту пору вызывало мое сильнейшее преклонение. Следует отметить, что, невзирая на мой не по годам высокий пост, свое музыкальное образование я на тот момент ни в коей мере не считал завершенным настолько, чтобы не чувствовать потребности дополнить его периодом обучения у столь уважаемого мною деятеля искусств. Благодаря хлопотам и рекомендациям Ритчла мне были предоставлены полугодичный отпуск и денежное вспоможение, позволявшее совершить путешествие в Эрфурт, где я провел зиму, ежедневно получая от Фишера уроки органа и музыкальной композиции. <...>

Будучи привычен с жадностью схватывать то, что считали нужным передать мне мои учителя, я, однако, испытал противоречивые чувства от первых занятий с моим новым наставником, чьи назидания столь расходились с тем, чему обучали меня до тех пор. Достойно, впрочем, замечания, что и предыдущие мои педагоги не имели между собой единого воззрения относительно сочинительства. Так, Цельтер настаивал на строгом соблюдении предписаний теории, в то время как Рунгенхаген не придавал им чрезвычайного значения, ставя во главу угла интуитивно постигаемую музыкальную выразительность. Что же касается Фишера, то он, невзирая на то, что его собственный учитель Киттель приходился учеником самому Иоганну Себастьяну Баху, был адептом хроматики Шпора, к которой пытался приучить и меня. <...>

Как много нужно записать под диктовку, прежде чем ты решишься забить уши воском и прислушаться к тишине! Сочинительство — это доверие к тому, что музыка придет сама. Разве мы шаманы, чтобы выбивать ее из своих бубнов, как дождь? <...>

Из этой зимы в Эрфурте вынес я одно воспоминание, засевшее у меня в сознании прочнее, чем все, что успел преподать мне Фишер. На исходе февраля или, быть может, уже в один из первых дней марта во внутреннем дворике той квартиры, где я размещался на период обучения, вдруг зацвела ива. Предчувствие весны наполнило меня. Всю ночь дождь хлестал по крыше, как палач по спине преступника, а наутро приморозило. Едва придя в себя от сна, я разволновался за мою иву и заспешил к окну. Пуховые соцветия были на месте, но вокруг каждой сережки образовалась ледяная скорлупа, в которой едва раскрывшиеся побеги покоились, как в хрустальном футляре... Или же это был всего лишь сон, один из тех, что обычно предвещают во мне приступ очередного мучительного недуга?

Но как стереть ненаписанное? (зачеркнуто)

Находясь еще в той счастливой юношеской поре, когда мир кажется постигаемым и каждую диковинку в нем хочется увидеть хотя бы по одному разу, я использовал любую возможность, чтобы разнообразить мои эрфуртские каникулы впечатлениями культурного и исторического характера. Теперь уже все они стерлись и отпали от меня, как пожухлые листья. И если бы не гербарий, собранный тогда мною из выцветших открыток и концертных программок, едва ли я смог бы воспроизвести здесь хоть крупицу того, что надеялся носить с собой под сердцем всю жизнь. Поездка в Веймар, прослушивание там оперы Пойсла «Олимпийское состязание» (три акта), посещение концерта знаменитого пианиста-виртуоза Иоганна Хуммеля ‹с пьесами и импровизациями›. Несколько посещений оперы Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный развратник» в Эрфурте, там же поход на новую комическую оперу Эбеля «Свадьба в Айхтале». <...>

В художественной галерее Лейпцига меня заинтересовала картина Питера де Хоха «Уроки хождения». В просторной буржуазной гостиной в голландском стиле по выложенному квадратной плиткой полу ступает ребенок, одетый со всеми свойственными его сословию приличиями. Вокруг головы младенца, прямо поверх кружевного чепца, наложен бархатный обруч, призванный смягчать возможные падения, а под мышками проходят ленты, концы которых отданы в руки служанки, управляющей через них дитем, как наездник лошадкой. В креслах у стола сидит счастливая мать, гордая успехами своего дитяти, и, вынимая из покоящейся у нее на коленях корзины с фруктами румяное яблоко, протягивает его дирижируемому служанкой чаду — ровно настолько, чтобы побудить его сделать еще несколько шагов.

Не есть ли это прелестнейшая иллюстрация нашего Просвещения, приманивающего нас, как яблоком, мифическим прогрессом, к которому и идем мы прилежно, не замечая страхующие нити, накладывающие больше ограничений, нежели они дают свобод?»

Да и нет

Вскоре после смерти бабушки Мани мне подарили большую коробку карандашей. По выходным я теперь не ездила к бабушке, а рисовала. У меня еще никогда раньше не было набора с таким количеством цветов и оттенков, часто почти неотличимых друг от друга и как будто бесполезных. Но я знала: чем дальше, тем сложнее и запутаннее будет становиться моя жизнь и тем больше карандашей будет добавляться в мою коробку.

Будущее, правда, было еще так далеко, а прошлое совсем близко. Я вдруг вспомнила, что когда-то и меня, как бабушку, опускали в гробу в сыроватый чернозем. Сначала там было немного тоскливо, но потом мне понравился покой. А когда стало совсем уютно, я вдруг начала прорастать сквозь траву и снова появилась на свет. Это случилось ранним утром, вокруг никого не было, по могилам хлестал дождь, и я немного испугалась. Но вскоре приехал автобус производства львовского автозавода и начал собирать младенцев по кладбищу, как урожай, развозя их по родильным домам.

После могильной тишины роддом показался адом: орали младенцы, роженицы, медсестры. Может быть, все они хотели назад? Только младенцы еще не верили, что это невозможно, поэтому орали отчаяннее других.

Но потом я и тут привыкла. Когда туго пеленали, освобождая от самой себя, становилось легче. Дома трещина на потолке напоминала разошедшуюся от влаги крышку гроба, и я совсем успокоилась. На прогулке на коляску натянули капор, закрыв солнце, и куда-то повезли. Я долго протестовала, но не выдержала и уснула. Проснулась — и опять над головой трещина. Вдруг стало понятно: я снова куда-то прорастаю. Сим-сим, откройся! Нет, еще не время, не сейчас.

Не могу говорить: мое «я» расползается во все стороны. Приходится собирать себя снова из разных частей, как Франкенштейн своего монстра.

Любимую куклу назвала в свою честь — Катей. Задирала ей платье, снимала трусы, удивлялась пустому месту.

— Мама, почему там ничего нет?

— Потому что это неважно.

В каждой красивой брюнетке видела себя в будущем. Но таких красивых, какой хотелось стать, почти и не было. Их всех угнали, как невольниц, в далекий гарем и теперь только изредка показывали в кино или на флакончиках от духов. Они смотрели заплаканными глазами, ведь за кадром (а иногда и прямо в кадре) всегда при-

сутствовал мужчина, который любил, целовал, таскал за волосы, кричал, заточал в темницу, рвал платье, избивал плетью... Переживала их боль, как свою, и была готова к любым лишениям. А как иначе понять, что ты красивая, если тебя никто не хочет помучить?

В шесть лет меня отвели в хореографический кружок. Мы приходили с мороза и с трудом находили себя в раздевалке под слоями из кофт, шарфов и рейтуз. Выходили оттуда в зал одинаковые, притихшие, попирая чешками паркетную елочку, в которой чудился недобрый старушечий прищур. Всем движениям здесь придавался особый смысл и давалось свое название: *порт де бра, деми плие, реверанс*. Теряясь в обилии терминов, я старалась не отрывать взгляда от преподавательницы, задающей порядок упражнений. Один раз во время демонстрации позиции она перекинула руку за голову и почесала затылок. Я повторила тот же жест. На всякий случай. Ведь откуда же знать, где заканчивается смысл и начинается бессмыслица?

Как-то после репетиции, задержавшись в зале, впервые увидела в зеркале не прекрасную балерину, а себя. Пухлые коленки под чрезмерно короткой юбкой, выше — туловище, разъехавшееся в стороны, как в комнате смеха, а над ним — коротко остриженная маленькая голова с нелепо завязанным папой бантом-пропеллером. Сзади подбежала подружка — маленькая, изящная. Я захохотала, а к горлу, как рвота, подступало рыдание.

Ночью встала в туалет, заглянула на кухню, а там на блюдце в красной кровавой лужице лежит лиловый кусок плоти, подсвеченный из окна полнолунием. Подошла к нему, потрогала — палец погрузился в мягкое и живое. Закричала, разбудила маму:

— Что это?

— Это печень.

— Чья?

— Ничья. Просто печень.

Уже в постели запустила руку в складку между ног и почувствовала ту же мягкость, какой никогда не бывает снаружи. Вздрогнула от причастности к тайне, будто бытие вдруг вывернули наизнанку. Подумала: «Это не мое. Ничье...»

Когда кто-то в доме заболевал, лекарства доставали из деревянной аптечки с намалеваным на дверце пейзажем: вихляющая в кустах тропинка поднималась куда-то наверх, куда вряд ли кому-то могло быть нужно, потому что там было все то же самое, что и внизу, если не считать темнеющего на самом высоком холме дома с вывалившимися окнами, который, очевидно, не стоил напряженного подъема. К этой картинке можно было подойти, как к чудотворной иконе, и попросить облегчения страданий. Аспирин против жара, йод от разбитой коленки, анальгин от ноющего зуба — пейзаж исцелял от всех недугов.

В одном довоенном фильме услышала про таблетки для бессмертия. Старичок ученый в смешной шляпе рассказывал про них полнощекой девушке в деревенском платке, пока оба прятались в каких-то руинах от налетов белогвардейцев. Девушка подшучивала над старичком и не верила в таблетки. «Вот мое бессмертие!» — говорила она, бодро прочищая винтовку. «Э нет, деточка, — возражал старичок. — Бессмертие в науке и ее изобретениях».

Нет уже давно этого старичка. И девушки тоже нет. А бессмертие осталось.

Радио в столовой транслировало только одну программу. Рычаг наверх — и квартира подключалась к корневой системе, питавшей ее нездешними звуками и смыс-

лами. Рычаг вниз — и все исчезало. Пластиковый динамик радиоточки был единственным проводником вселенского разума, способного противостоять разобщающему безумию тишины. Что было бы с нами, если бы не этот голос — зовущий, причитающий, увещевающий, ласкающий, вездесущий?

Я играла в своей комнате, когда по радио начали вдруг передавать нечто чрезвычайно важное. Взяла с собой куклу, прокралась в столовую, забралась с ногами на табуретку и стала слушать:

Ты погоди, не спеши,
Ты погоди, не спеши,
Ты погоди, не спеши
Дать ответ.
Жаль, что на свете всего
Только два слова всего,
Только два слова всего —
Да и нет.

Иконоборец

Бабушка Лиля рассказывала:

«Нас в семье было пятеро — Шурочка, Васенька, Муся, Лена и я. Но были ведь еще Жоржик, Софочка и Ася. Мама хранила в шкафу их накрахмаленные платьица и рубашечки, которые никто никогда не надевал. Они исчезли, а мы остались. Вот ведь как бывает. Но для матери все дети равны — и живые, и мертвые, и нерожденные. Ты потом это поймешь.

После революции, мне кажется, люди стали крепче, закаленнее. Жили труднее, а умирать перестали. Прошла эта изнеженность, когда чуть что — сразу в обморок и нашатырь.

Я была папиной любимицей. Видишь, и на фотографиях я все время у него на коленях? Вся в него характером — могла часами сидеть и перебирать игрушки, и никто мне не нужен.

Мама с малых лет обучала нас, девочек, рукоделию и домашней работе. Она была горничная и белошвейка. Оставила службу ради детей, но сама обшивала нас полностью до самой войны. Ты тоже, девочка, учись, учись работать иголочкой. Потом пригодится!

В школе всегда занималась лучше всех. Особенно по математике. Не ложилась спать, пока не решу задачу. Хоть знаю, что если уж я не решу, то никто в классе не решит, а все равно не ложусь! Вот сочинения писать не любила, только через силу. Так это жутко — вывернуть всю себя наружу. Будто в душу пустить чужого. Нет, не могла.

Красавицей себя никогда не считала, но в седьмом классе стала замечать, что мальчики ко мне неравнодушны. Один все время писал записки — красноречивые такие, чуть ли не в стихах. А другой мне больше нравился, но молчал все время и смотрел сурово, будто осуждал за что-то. Потом вдруг на перемене случилось страшное. Я не видела, но мне рассказали: тот, молчаливый, ударил первого со всей силы кулаком в солнечное сплетение. Он упал и лежит, как мертвый. Приезжала «скорая», отвезли в реанимацию. А я в тот же день разлюбила обоих, представляешь?

С мужчинами у меня сложно все складывалось: гордая очень была. Гордым в жизни труднее, но уж себя не переделаешь! Первой никогда не подойду, а если ко мне подойдут, то семь раз откажу сначала. Кому надо, еще придет, а нет — так и Бог с ним. Очень уж себя блюла и ни перед кем не роняла... Ты шей, шей! Что же так криво-то? Вот правильно: стежок за стежком!

После школы собиралась идти в науку, а зашла в гости к подруге. Там твой дед Олег сидел, он за ней тогда ухаживал. Сразу стало ясно: этот не отступится. Так чего же время зря терять?

Образования у Олега никакого не было. Перебивался подсобным рабочим. Но скажу тебе, более интеллигентного человека я за всю жизнь не встречала! Позже ведь у меня и главный инженер в любовниках был, и профессор — могла сравнивать. Но Олег их всех превосходил — по уму и по начитанности. Память была феноменальная: что прочел, то навсегда в голове осело. Видно, что тяжело ему это все в себе носить, но никуда не денешься. Многое и наизусть знал!

Иногда, бывает, начинает говорить, но словно бы не своим голосом. То есть голосто его, а слова откуда такие берутся — непонятно. Сначала испугаюсь, а потом сижу, слушаю — интересно ведь. Говорит, как книгу читает, а книги-то и не видно. Спрашиваю потом: «Откуда это?», а он молчит... Не отвлекайся, шей! Да наперсток возьми, все пальцы исколешь!

Был у него один приятель, у которого он все время книжки брал. Не приятель даже, а старший друг — священник. Олег часто заходил к ним на Петроградскую и всегда возвращался какой-то возбужденный. Что-то они там обсуждали, спорили даже. Я в следующий раз ему говорю: «Может, не пойдешь уже? Книжки вон можно и в библиотеке взять». А Олежка мне: «Нет, пойду! Он меня один понимает! Да и нет таких книг в библиотеке!» Отпускаю его с тяжелым сердцем. Сижу в нашей комнатке вечером одна, шью, вот как сейчас, а на душе неспокойно...

Однажды пришел от своего священника и говорит: «Мне знак был!» Я спрашиваю: «Какой?» А он рассказывает: «Когда батюшка в другую комнату за самоваром вышел, в окно голубь залетел, белый-белый. Метнулся и прямо на образ сверху сел, как в гнездо. Крылья на лик святой свесил, будто птенца своего согревает. Я хотел батюшку позвать, но словно окаменел — не могу ни рукой, ни ногой пошевелить. А когда батюшка сам вошел, голубя уже и след простыл. Значит, это явление было только мне одному, понимаешь?» — «Нет, не понимаю». — «Значит, это я прав был, а не он!»

Уж не знаю, о чем у них там диспут вышел, а только ограбили того попа через неделю. Все иконы в золотых окладах и кресты инкрустированные вынесли. Откуда и было у него столько? Самого батюшку чуть живого в квартире на полу бросили, а жену изнасиловали. Я и не знала об этом, пока за Олегом не пришли. Говорят, это он бандитов навел, а Олег и не отказывается. Навалили в отделении все эти иконы в кучу, спрашивают: «Узнаёте?» А он посмотрел так вскользь и отвернулся: «Узнаю, но никого над собой не признаю!» И протокол весь подписал не глядя.

На суд я не пошла. На восьмом месяце уже было тяжело, да и не могла ничем ему помочь. Осудили его на пятнадцать лет. Он мне потом из колонии письмо прислал: «Ты у меня самая лучшая, терпеливая, святая. Спасибо тебе, что ты есть! И за Сереженьку спасибо! (он родился уже тогда)? Мне от тебя ничего не надо. Только чтобы у тебя все было хорошо. Прости меня и не забывай!» Там еще много чего было написано, и все так складно и хорошо. Но такое ощущение, что не от себя он писал, а будто опять по книге какой-то пересказывал. Махнула я рукой и не стала отвечать вовсе. Мне с моим Сереженькой интересней было. Я ему распашоночки шила и чепчики сама вышивала. Он у меня в коляске нарядный ездил, как кукла. Коляска самая простая — без регулируемой спинки и водоустойчивых шин...

Готово, да? Хорошо! Теперь давай шовчик «назад иголочка», как я тебя учила. Так, аккуратнее. Нет, не кусай, ножницы принеси! Натяни и держи, а я отрежу».

Исповедь

— У тебя тоже так бывало? — спросил 66 870 753 361 920. — Чашка выскальзывает из рук, ты видишь ее в полете еще целой и невредимой, но уже понимаешь, что через секунду ее не будет. И с этим ничего нельзя поделать! Это про нашу с тобой любовь... Почему ты все время смеешься?

— Потому что ты все время шутишь!

— Я вообще никогда не шучу.

Она находила у него по всей квартире какие-то таблетки, но не решалась спросить, чем он болен. Названия на упаковках ей ни о чем не говорили, а читать инструкции было страшно и тоскливо. Почему-то лекарства в последнее время наводили ее на мысль о дальней дороге на дверце их старой, потерянной в одном из переездов аптечки и о том, куда же она все-таки ведет.

Однажды, когда они поднимались к нему наверх, из почтового ящика выпало письмо на французском. У него не было с собой очков, и он попросил прочитать ему текст прямо в лифте. Потом вдруг сказал, что не хочет слышать от нее сегодня больше ни одного русского слова и что вот теперь они, кажется, нашли язык, на котором им проще будет понимать друг друга. Она не практиковалась во французском с самого университета и лишь с большой неохотой включилась в игру. А он будто обрадовался, что она внезапно притихла, и говорил уже без остановки фразами, которые она понимала, но не могла продолжить. Все это, правда, оказалось только разминкой, прелюдией для той, самой простой фразы, ради которой он все это и затеял:

— Je t'aime...

Она ответила ему поцелуем. Это было не «да», не «нет», а, наверное, что-то между...

— Представляешь, — вдруг пришло ей в голову, — меня раньше никогда не целовал мужчина с бородой.

И вдруг вспомнила: ее отец.

— А что, колется? — заинтересовался он (теперь его уже не смущало, что они перешли на русский).

— А ты как думал?

Она часто просила его потереться щетиной о самые нежные места: у основания шеи, вокруг сосков и совсем внизу, где небритая щека царапала плоть с неумолимостью наждачной бумаги. В этом был для нее смысл слова «отдаваться» — давать то, чего не просят.

Между свиданиями они успевали отвыкнуть друг от друга. Даже если проходил всего день или два, она замечала в нем перемену. Да и он, казалось, тщетно пытался угадать, что происходило с ней за время разлуки. Все нужно было начинать заново: взгляды, слова, прикосновения. Признания, сделанные накануне, устаревали, не успевая вступить в силу, а новые — противоречили предыдущим.

— Я все никак не могу поверить, что ты мне принадлежишь, — говорил он, сдергивая с нее одеяло и внимательно наблюдая за тем, как по коже бегут мурашки — от лопаток к ягодицам.

— А я тебе и не принадлежу!

— Ты меня боишься, что ли?

— Нет, это ты меня боишься!

— Все, я понял: в тебя вселился дух противоречия.

Они теперь так много времени проводили в сумерках, что 70 607 384 120 250 и вправду боялась, как бы в нее не вселился какой-нибудь дух. Пролившееся за ужином на ее блузку красное вино не оставило никаких следов.

— Кто-то из нас ненастоящий, — предположила она, — либо вино, либо я.

— Ну конечно же, ты! — шепнул он и тут же, будто желая убедить себя в обратном, набросился на нее, как изголодавшийся подросток.

70 607 384 120 250 рассказала ему, что с детства смертельно боится анализа крови и старается никогда не смотреть на пробирку со своим именем. Ей все кажется, что кровь там должна быть совсем не такого цвета, как у других, и если это заметят, то ее тут же положат в больницу, не дожидаясь лабораторных результатов. Но пока что никто не замечал. Обходилось.

Как-то вечером, возвращаясь из кинотеатра с фильма о вампирах, они попали в грозу. 66 870 753 361 920 сказал:

— Под таким дождем нельзя притворяться. Он смоет все, кроме самого главного. Прогулка в ливень — это как исповедь!

Дома они продолжили исповедь в душе. Густая мыльная пена стекала по ее груди, как молоко. А его ресницы стали длинными и острыми, как у заплаканного ребенка.

— Я читала в одном каббалистическом трактате, что тот, кто согрешил в воде, в ней же и понесет наказание.

— Как это?

— Ну, когда настанет пора перерождений, я превращусь в отвратительную рыбу или медузу, чтобы та стихия, которая приносила мне удовольствие, стала для меня источником страданий.

— Тогда давай поскорее согрешим на суше!

— Не поможет! Я просто стану каким-нибудь земноводным, которому одинаково тоскливо и на суше, и в воде.

В постели он сказал:

— Я хочу, чтобы ты сегодня кончила. Обязательно. Как мне это сделать?

— Не знаю.

— А кто знает? Кто же знает? — он включил настольную лампу, которую приспособил на тумбочке для чтения, и направил свет ей в лицо. — Мне кажется, ты хочешь отомстить мне за что-то. Только вот за что?

Потом она сидела перед зеркалом в прихожей, как актриса в гримерке, и тщательно красила глаза и губы. Он знал, что с этого момента ее больше нельзя целовать. До следующего раза.

— Что ты на меня так смотришь? — поинтересовалась она.

— Восхищаюсь тобой. Тем, что можно так просто встать и пойти сейчас к нему. Как будто ничего и не было.

— А разве что-то было?

Обет молчания

Я долго думала, откуда мне следует вести мою родословную. И решила, что, наверное, все-таки от тех картин, на которые мама во время беременности ходила смотреть в Эрмитаж, чтобы ребенок получился красивым. Интересно, замечала ли она

тогда, что на полотнах западноевропейских мастеров безобразного ничуть не меньше, чем прекрасного, и что отделить одно от другого практически невозможно? Вот меланхолично-кроткая Юдифь поставила босую ножку на свежеотсеченную главу Олоферна. А вот бесконечно одухотворенный святой Себастьян закатил глаза в предсмертной агонии. Как узнать, что именно отложится внутри не рожденного еще существа? Какие свойства мироздания перепадут ему по наследству?

Сначала мне не говорили, что я все-таки получилась некрасивая. Потом слух об этом постепенно распространился, и отрицать его стало бесполезно. Хотя, конечно, не верилось: почему именно я? И еще была надежда: а вдруг произошла какая-то ошибка, которая вскоре прояснится, и все снова станет хорошо? Как тогда, на празднике в парке культуры и отдыха, где я танцевала на летней эстраде, а ведущий вручил мне приз и сказал, что никогда не видел еще такой красивой девочки. И все зааплодировали в знак согласия. А я поверила, потому что еще ничего не знала. Правда вскрывалась постепенно, как нарыв, и не хотела уже больше затягиваться.

Мужское внимание, конечно же, ничего не опровергало. Мама объясняла: «Больше всего заговаривают именно с некрасивыми. К красивым мужчины вообще подходить боятся. Поэтому они часто одни».

Но мы хотели вернуться к самому началу.

Вечером на Невском столько огней! А самая яркая надпись — «Живая рыба». Вхожу с мамой за ручку. Она встает в кассу, а меня оставляет у бассейна, выложенного кафельной мозаикой. Уже совсем поздно, и в бассейне плавает одна-единственная рыба неопределенного сорта. Плавники взъерошены на хребте, в глазах — отвращение, из полуоткрытого рта, как гной, извергается мутно-зеленая струйка. Сверху спускается ажурный сачок, подхватывает ее, поднимает из воды, баюкая как в гамаке, и вдруг опрокидывает на каменный прилавок. Рыба как-то сразу расслабляется, даже взъерошенные плавники становятся мягче, женственнее. Но дальше уже не понять, потому что железный скипетр оглушает страдалицу, превращая ее снова в икринку, в минимально возможный сгусток бытия, только что прошедший через смерть и теперь опять занимающий очередь за жизнью.

Мама вернулась с чеком, но увидела меня не сразу. Я сидела на корточках, подпирая спиной кафельные стенки бассейна, из которого выкачали уже почти всю воду, оставив на дне только налипшую ветошь водорослей. В первый раз в жизни мне стало плохо — без вирусов и температуры, то есть совсем без всяких уважительных причин. И я поняла, что с этим недугом не укладывают в постель, не отпаивают чаем с вареньем, а просто берут за руку и ведут дальше.

После садика открыла только что заброшенный почтальоном журнал «Веселые картинки», а там рассказ — «Скупая старуха». Текста мало, почти весь разворот занят иллюстрацией: нависший над столом старческий подбородок повторяет в морщинах линии растрескавшейся деревянной столешницы, усталый взгляд гипнотизирует торчащую из миски разбухшую горошину.

Эту горошину я видела потом, полжизни спустя, на чахлом пляжике в селе Можайское. На кабинке для переодевания нарисована углем женщина ниже пояса (выше все отрезано, ровно по пупку, как в анатомичке). Ноги раздвинуты и покрыты густой щетиной, а между ног все очень тщательно выписано, каждая складочка, будто натюрморт с натуры. И вот там-то, из складочек, торчит та самая горошина. Почему я ее раньше никогда не замечала, даже в зеркале? Да и потом, когда уже знала наверняка, что там что-то есть, никак не получалось ни рассмотреть, ни нащупать. Только

щемящее чувство то ли сожаления, то ли предвкушения расходилось оттуда кругами, как волна от ушедшего под воду камня. Может быть, и нет на самом деле никакой горошины, а рисуют ее просто для успокоения, чтобы каждому следствию гарантировать свою причину?

За железнодорожной станцией находилась сельская достопримечательность — павильончик общественного туалета, куда обычно избегали заходить без крайней необходимости. Местная девчонка Алина знала про щелочку в досках, через которую удобно было заглядывать на мужскую половину, если кто-то из проезжающих вдруг решался воспользоваться этим сомнительным удобством. Ожидание занимало много времени, и, пользуясь затянувшимися паузами, я пыталась подумать о том, почему же нас так интересует то, что происходит там, на чужой половине.

Теперь-то, конечно, понятно, что намалеванные зеленой краской на дверях буквы «Ж» и «М» — это всего лишь сокращения от французских местоимений «Же» («Je»)› и «Муа» («Moi»): «Я» как субъект (действия) и «Я» как объект (любования). Мы живем на половине с надписью «Ж», а в перерывах пытаемся украдкой заглянуть за перегородку, чтобы увидеть то, ради чего мы это делаем. Видимое через щель всегда лучше и осмысленнее переживаемого. Но нельзя поддаться соблазну примкнуть к ней навечно, иначе жизнь замрет, превратившись в чистое наблюдение.

На занятии по гражданской обороне отличница задала вопрос:

— Как эвакуировать комнатные растения?

Учитель, чуть смутившись, откашлялся:

— Их не надо эвакуировать. Они сами приспособятся к жизни после ядерного взрыва и рано или поздно научатся прорастать под землей. И в один прекрасный день мы увидим там сады не хуже наземных.

Потом начался урок русского языка. Меня вызвали читать упражнение, а я вдруг не смогла произнести слово «троллейбус». Будто именно в этом сочетании звуков было что-то непреодолимое для моего языка. Со временем таких звуков и слов становилось все больше... Во всем виновата мерзкая, позеленевшая голова Олоферна, попираемая белоснежной стопой Юдифи! Моя мама просто посмотрела не туда!

Но мама не чувствовала за собой никакой вины. С врачебным авторитетом она объясняла:

— Заикание — это невроз. А невроз не возникает на пустом месте. Внутри тебя что-то нарушено, что-то вышло из равновесия. Нужно работать над собой!

Про поступление на филологический она советовала забыть:

— Филолог должен в совершенстве владеть словом! А ты? Представь себе, что калека на костылях пришел поступать в театральное училище! Вот так и на тебя там будут смотреть!

Даже у глухонемых есть свой язык, на котором они изъясняются без всяких затруднений. А моя судьба — в любом языке быть непрошеной и неуклюжей гостьей!

Больше всего я боялась, что кто-нибудь неожиданно обратится ко мне на улице — спросит дорогу или время. А вместо времени узнает кое-что другое, чего я не хотела ему рассказывать. Чего я и сама о себе не хотела знать.

У метро за мной увязался молодой солдат, почти мальчик. Впрочем, трудно судить: все эти монгольские или киргизские лица нам кажутся юными, будто напоминая о тех цивилизациях, которые так и не успели повзрослеть. Да и по росту он сошел бы за ребенка, если б не знать, что дети в армии не служат. Даже гимнастерка сидела на нем как-то нелепо, как «наследство» от старшего брата, который растянул ее совсем не в тех местах, что надо.

Поначалу он предусмотрительно держался на некотором расстоянии и, сверкая в мою сторону миндалевидными глазами, бубнил что-то себе под нос, как молитву. Я не собиралась прислушиваться, но обрывки фраз цеплялись ко мне с настойчивостью тополиного пуха:

— Девушка... Пойдем погуляем... Будет интересно...

Я ничего не отвечала, не зная наверняка, отталкиваю я его своим молчанием или, наоборот, привлекаю. Мы уже сворачивали на мою улицу, когда он вдруг громко и внятно произнес, почти без акцента:

— Хочешь, я буду любить тебя, как женщина, только губами и языком?

За углом очень кстати оказалась телефонная будка. Я зашла внутрь и стала со строгим взглядом набирать какой-то номер. Он потоптался еще несколько минут перед стеклянной дверью, взглянул на меня в последний раз с каким-то упреком и неожиданно быстро пошел прочь.

Потом мне показалось, что я видела его в передаче о солдатах, раненных в Чечне. Стало нестерпимо больно и стыдно. Ведь он, может быть, шел на верную смерть, а я, как скупая старуха, пожалела для него свою горошину!

В Эрмитаже учительница остановила класс возле картины Эль Греко «Апостолы Петр и Павел».

— Обратите внимание, — посоветовала она, — как реалистично художник воссоздает образ апостолов. Это уже не святые, на которых хочется молиться, а обыкновенные люди из плоти и крови, знающие что-то, возможно, чуть лучше других. От них ждешь не чудес, а мудрого совета!

— Любовь Викторовна, — опять подняла руку отличница, — но ведь во всех книжках написано, что апостол Павел был очень болезненным человеком, а здесь он такой здоровый, энергичный... Почему Эль Греко решил приукрасить действительность?

— Так нельзя сказать, — покачала головой учительница. — Есть болезни, которые незаметны снаружи. И они, как правило, как раз наиболее мучительны!

«Совсем как у меня», — подумала 70 607 384 120 250, наблюдавшая за этой сценой с противоположного конца анфилады, откуда дверной проем, ведущий к залу со школьниками, казался щелью не толще двух пальцев.

Назидание

«У каждого из нас есть свой недуг, и мне незачем стыдиться моего. Пусть иногда порядок вещей, навязанный нам Провидением, выглядит бессвязным произволом, добродетельная душа даже в болоте прозябания не устает тянуться к огоньку смысла. С терпеливой кротостью пестую я горькое знание о том, что источник уютного наслаждения, питающий также фундамент прочного семейного союза, навсегда останется мне недоступен. Но там, где закрывается одна дверь, обыкновенно отворяется другая. <...>

По возвращении из Эрфурта я, исполняя свой долг, записался добровольцем на военную службу. Однако по ходатайству медицинской комиссии моя заявка была отклонена. В письме, обращенном к моему отцу, полковой врач сообщал, что находит мой организм непригодным к армейским будням, и предлагал в случае, если наблюдаемая слабость является лишь следствием недостаточной физической зрелости, повторить обследование через три года. Но и три года спустя не имел я счастья разделить судьбу моих сверстников и изведать радости походной жизни, знакомые

мне и до сегодняшней поры только по книгам. Врачебный приговор навеки отлучил меня от священного права встать под ружье во имя отечества. Я чувствовал, как мой мир сужается, сворачиваясь в улитку скрипичного ключа. <...>

Рано постигнув премудрости музыкального искусства и переступив тот порог, за которым дальнейшее усовершенствование превращается в тщеславное трюкачество, я ощутил потребность обратиться к основам, подпирающим наше представление о прекрасном, и нащупать струны, задающие тон всему мирозданию.

Итоги многолетней работы лежат сейчас передо мной стопкой статей и теоретических трактатов, готовых уже к отправке в Министерство культуры, где их ожидает господин фон Мюллер, принявший на себя заботу о сохранении моих трудов для пользы грядущих поколений. Этим трудам придаю я огромное значение, хотя и допускаю, что употребленная в них форма изложения может многим показаться неудовлетворительною. Тем не менее открытые мною принципы и закономерности заслуживают самого пристального внимания, ибо за всю свою жизнь не смог я найти им ни малейшего опровержения. Справедливости ради замечу, что для абсолютной полноты моих теоретических изысканий не хватает еще исчерпывающего доказательства того очевидного, впрочем, факта, что музицирование, если оно действительно должно приносить пользу человечеству, следует рассматривать не как «ремесло», а как «искусство».

Почему же ремесленное отношение к музицированию смогло получить у нас такое небывалое распространение? Под «ремесленностью» подразумеваю я отнюдь не только устремленность целого сонма представителей нашего цеха к вершинам исполнительского мастерства, выхолащивающего саму душу музыки. Нет, опасность для музыкального творчества более всего исходит от инструмента как такового! Разве так мало доверяем мы нашей природе, нашему телу, нашему сердцу, что готовы со всей мыслимой изощренностью подключать их к новым и новым техническим аппаратам? Должны ли мы стать наследниками Меркурия, которому греки приписывают изобретение лиры, составленной им из выпотрошенного черепашьего панциря и натянутых на него бычьих жил? Похвальная находчивость, неуместная, однако, там, где речь идет об истинном назначении музыки, едва ли состоящем в том, чтобы обеспечить нашим ушам все более экзотические раздражители, притупляющие чувства и разум!

Если моя почти сорокалетняя педагогическая деятельность и глубокое проникновение в потаенные механизмы хорового пения дает мне право делать хоть какие-то обобщения, хочу воспользоваться им для нижеследующего назидания: расцвет музыкальной культуры недостижим до тех пор, пока из всех инстанций, приспособленных к распространению и культивированию музыки как искусства, а именно церквей и школ, не будет изгнан любой инструмент, кроме живого человеческого голоса...»

55 725 627 801 600 осторожно прикрыл ноутбук. Было уже за полночь, а 70 607 384 120 250 еще не возвращалась. В последнее время она часто задерживалась по вечерам, и 55 725 627 801 600 радовался, что ей есть чем заняться в Берлине, пока он работает. Но теперь вдруг его осенило, что все совсем наоборот и что радуется он тому, что это ему есть чем заняться, пока ее нет дома. Между тем главная фаза ожидания уже позади: теперь он ляжет в постель, и время для него исчезнет.

Ее половину кровати всегда можно было узнать по шаткой пирамиде из книг и компьютерных распечаток, поднимавшейся на тумбочке у изголовья. Поэтому сложилось так, что любимую куклу, которую 70 607 384 120 250 перед отъездом забрала у бабушки, ему пришлось приютить на своей стороне. Кукла оказалась тезкой своей

хозяйки, но, кроме цвета волос, ничем на нее не походила. Зато была всегда рядом и, лежа на его тумбочке с вытянутыми вдоль туловища руками, сохраняла неизменно кроткое выражение лица, будто нашла свое последнее пристанище. Так оно, судя по всему, и выходило: 70 607 384 120 250 почти никогда не вспоминала о своей бывшей любимице и едва ли еще в обозримом будущем собиралась приблизить ее к себе...

55 725 627 801 600 разбудил щелчок открываемого замка, что было почти облегчением, так как в самый последний момент избавляло его от удара какого-то ниндзя, который крался за ним по пятам уже через несколько сновидений подряд, пытаясь продемонстрировать весь набор своих смертоносных приемов. Дверь в коридор оставалась приоткрытой, и через небольшой просвет он увидел, как 70 607 384 120 250 рассматривает себя в зеркале. Несмотря на поздний час, макияж на ней был безупречен, и прическа ничуть не пострадала, хотя ‹он вспомнил› сегодня шел сильный дождь. Взяв с туалетного столика влажную салфетку, она промокнула ею лицо. Салфетка мгновенно впитала в себя ее черты, подобно платку святой Вероники, чудесным образом сохранившему лик восходящего на Голгофу Христа.

Не заходя в душ, она разделась и легла в постель. Но заснуть не могла, поворачиваясь то на спину, то на живот, будто кто-то, как волос, накручивал ее на палец. *55* 725 627 801 600 приподнялся, подоткнул под нее одеяло, обхватил сзади руками, словно застегнул вокруг ремни безопасности. И она действительно присмирела, только неровное, как всхлипы, дыхание струйками нерожденных фраз щекотало ему запястье.

Почувствовав, что 70 607 384 120 250 уснула, *55* 725 627 801 600 осторожно высвободил из-под нее затекшую руку и вдруг впервые заметил в ней сходство с куклой, так же покорно лежавшей по другую сторону от него, поперек тумбочки и так же хранящей под вечно опущенными ресницами какую-то тайну, которую ему не хотелось знать, как закопанные кем-то в песок детские секретики. Ведь главное, что она всегда будет рядом, потому что он никогда не сможет бросить то, что никому больше не нужно.

История лошади

Когда-то в Петербурге они пошли в Музей этнографии — просто чтобы побыть вдвоем. Выставочные помещения, как всегда в летние месяцы, пустовали: всех туристов переманил к себе близлежащий Русский музей. А им действительно нравилось именно здесь! Вернее, им хотелось что-то рассматривать вместе и было почти все равно что: каждый предмет в витрине возбуждал жадность и желание до бесконечности вникать в его родословную, путешествовать, как по карте, по трещинкам, оставленным на нем временем и чужими руками.

В центре зала, освещающего ремесла народов Севера, на низкой платформе стояла странная скульптура, изображающая не то лошадь, не то большую собаку с длинной шеей. Сделана она была из неопределенного материала, показавшегося им на первый взгляд листовым железом, и предназначалась, скорее всего, для ритуальных отправлений. Может быть, из-за выдающегося размера фигуру ничем не защитили снаружи, и они смогли подойти к ней вплотную и даже дотронулись до загривка, с которого так соблазнительно свисала бахрома из натуральных волос ‹то ли животных, то ли человечьих›. И вдруг ноги чудо-зверя подкосились, и вся конструкция бесшумно рухнула, будто склеенная из картона. Никто ничего не видел, даже смотрительница бродила где-то в соседнем зале, а сознаваться самим не имело смысла. Вдруг скульптура развалилась бы и без их вмешательства? Тем более неполадку и так ско-

ро заметят и быстренько все поправят! У питерских реставраторов золотые руки! Если уж подняли после войны из руин загородные дворцы, то что говорить о какой-то нелепой лошади, у которой и в первозданном-то состоянии попробуй угадай — где хвост, а где морда?

На следующей неделе они опять пришли в музей, чтобы узнать о судьбе лошади. Но платформа оказалась пуста: останки животного, видимо, уже убрали, а ничего нового взамен не поставили. Месяц спустя исчезла и платформа. А через год они совсем потеряли надежду и от отчаяния даже подошли к старушке смотрительнице, у которой к форменному пиджачку почему-то был наподобие брошки приколот диковинный орден, и спросили, не знает ли она, куда подевалась их любимая скульптура. Но старушка ничего не поняла: она работала здесь недавно и вообще не очень чисто говорила по-русски, вставляя какие-то немыслимые обороты, будто сама являлась этнографическим экспонатом. Потом она встала со своего стульчика и, чуть прихрамывая, заковыляла в другой зал. Со спины 70 607 384 120 250 обратила внимание, что на руке у нее висит старомодный саквояжик, и ей почему-то стало не по себе, будто она заглянула в него изнутри и увидела то, чего знать не следует...

Они еще долго вспоминали об этой лошади. Иногда ее история внушала им оптимизм.

— Вот видишь, — говорил 55 725 627 801 600, — мы можем делать что угодно! И ничего нам за это не будет! Только мы вдвоем, понимаешь?

Но чаще преобладала скорбь:

— Неужели из-за нас утеряно то, что хранилось, может быть, веками? Как искупить эту вину?

70 607 384 120 250 утешала его, но и сама не знала ответа.

— Надо просто забыть, — говорила она, — и творить что-то свое. Создать новое взамен разрушенного. Это единственный путь!

Но время шло, а они ничего не создавали, так и застряв на стадии созерцания.

В Академии художеств на Университетской набережной открылась выставка советского искусства из запасников. Хозяева залов — гигантские, под потолок, копии с античных оригиналов Геракла и Диоскуров — снисходительно посматривали на мелкий соцреалистический народец, масляно копошащийся у них под ногами в обрамлении самоварного золота рам. Зато у этого народца была своя жизнь: он сеял, паял, вычерчивал графики в конструкторском бюро, и глазницы сверкали цветным задорным прищуром, а не белой гипсовой пустотой.

— Почему нельзя и сейчас так жить? — недоумевала 70 607 384 120 250. — Чтобы окно все время нараспашку, а оттуда запах сирени! Чтобы прийти с ночной смены из шахты и сесть читать Платона — и понимать там все совсем по-другому, то есть именно так, как надо!

Они подошли к картине, запечатлевшей райский сад. К древу познания добра и зла приставлена лестница. Девочка-пионерка протягивает только что сорванный плод селекционеру Мичурину, со старческой неловкостью придерживающему на седой голове соломенную шляпу. Это новые Адам и Ева дегустируют выведенную ими на общее благо безвредную породу яблок, вкушать которые можно, не опасаясь возмездия!

— Мне с тобой хорошо, как при коммунизме! — сказала она вдруг. — Так страшно думать, что было бы, если бы мы не встретились. Это все равно что не родиться!

В следующий раз он отвел ее в Музей-квартиру Римского-Корсакова. Его удивило, что крышка рояля в гостиной заставлена какими-то статуэтками и фотографическими портретами в рамках.

— Когда играешь, — объяснил 55 725 627 801 600, — соприкасающиеся с инструментом предметы дают резонанс, и тебе уже трудно отделить собственную музыку от посторонних шумов.

Тогда он в первый раз заговорил с ней про Греля и его теорию чистого звука, но она ничего не поняла.

После затемненной тяжелыми шторами квартиры покойного классика и болотного холодка подъезда внутренний дворик, куда они вернулись после осмотра экспозиции, показался им настоящим пеклом. На разъехавшейся по швам скамейке три женщины во взмокших от пота ситцевых сарафанах лузгали семечки и напевали какую-то песню, сплевывая слова вместе с шелухой. Когда 70 607 384 120 250 и 55 725 627 801 600 проходили мимо, одна из женщин, прищелкнув языком, объяснила своим притихшим было подругам:

— Иностранцы. Из музея.

И концерт продолжался у них за спиной.

С 55 725 627 801 600 она почти забыла про заикание, про то, что нужно мучительно подбирать слова, нащупывая каждую следующую фразу, как слепец дорогу. Вечером 55 725 627 801 600 просто давал ей в руки книжку и просил ему почитать. 70 607 384 120 250 и раньше любила читать вслух или декламировать по памяти в одиночестве ‹и тогда все получалось!›, а теперь у нее появился слушатель, с которым она могла себя чувствовать как актриса перед публикой и которого старалась не разочаровать. Темп и интонация речи подбирались индивидуально для каждого персонажа, а повествовательные пассажи прочитывались с подходящим выражением, иногда даже исступлением, будто все это она только что пережила сама.

Когда в «Подростке» Достоевского они дошли до сцены смерти несчастного подкидыша Ариночки, которую 70 607 384 120 250 прочла с особенным вдохновением, она заметила в глазах у 55 725 627 801 600 настоящее потрясение. Не зная, на чей счет отнести этот эффект — свой или Достоевского, 70 607 384 120 250 на всякий случай остановилась, чтобы преждевременно не измотать публику слишком сильными эмоциями. Но тут же увидела, что возможности продолжить сегодня уже не будет: 55 725 627 801 600 был слишком подавлен, почти до какого-то испуга.

— Не расстраивайся, — сказала она наконец, — ведь этого не было на самом деле. А если и было, то как-то по-другому, совсем не так, как здесь описано. То есть, может быть, даже намного хуже, но не так жалостно — это уж точно!

— Откуда ты знаешь? — оживился он.

— Знаю. Иначе жизнь не могла бы продолжаться.

Он как-то сразу поверил, прильнул к ней, как ребенок, и не хотел отпускать, пока в комнате не стемнело и шрифт в распахнутой на Ариночкиной истории книге совсем не перестал читаться.

В то лето они в первый раз поехали вместе отдыхать на море, в Каталонию. Жили по-студенчески, в отеле без звезд с поэтическим названием «Изабелла». 55 725 627 801 600 уверял, что так зовут хозяйку, замученную женщину с распухшими веками, но 70 607 384 120 250 отказывалась верить.

В номере они почти не поднимали жалюзи и даже на пляж выбирались редко,

заменяя друг другу и солнце, и море, и средневековые укрепления, по которым так упоенно лазали другие туристы. И ведь действительно — она заметила! — все эти дни в Тосса-де-Мар его кожа пахла песком и морем, будто он с ходу впитал в себя из воздуха все самое лучшее, что было в этих краях, и потом отдавал ей по капле, как на станции переливания крови.

Если они все-таки попадали на пляж, то старались уйти подальше от всех, в потаенную бухту, которую напиравшие со всех сторон скалы готовы были раскусить, как грецкий орех. Но и туда после полудня сползались отдыхающие. Люди лежали вповалку, подстелив под себя узкие непромокаемые циновки. Особенно находчивые осваивали второй ярус, забираясь на оглаженные еще доисторическими волнами прибрежные камни, и потом прямо с них кидались в воду — казалось, от безысходности.

70 607 384 120 250 вынимала из пляжной сумки книгу, которую должна была прочитать к началу семестра. Рассматривая загрубевшую библиотечную обложку, 55 725 627 801 600 восхищался:

— Шаламов, Колыма — какое безупречное сочетание звуков! Какая гармоничная самодостаточность! Разве можно представить эти два слова отдельно друг от друга? Им постоянно будет чего-то не хватать!

Она погружалась в чтение и вдруг чувствовала, как конечности коченеют от сибирского холода и щеки начинают гореть от тифа. Потом будто вдруг ударялась лбом о реальность, приходила в себя, схватывая взглядом голые ступни, повернутые к ней с соседней циновки. И тут же начинала тосковать по новому пробуждению, которое избавило бы ее еще и от этого наваждения, как от колымского кошмара.

Один из испанских дней они решили провести в Барселоне. 70 607 384 120 250 была в белом платье, как невеста ‹фотографии из этой поездки многие потом действительно принимали за свадебные, хотя на тот момент они еще не успели расписаться›. В рейсовом автобусе они познакомились с ребятами из какой-то британской рок-группы, о которой никогда раньше не слышали. Узнав, что 55 725 627 801 600 тоже музыкант, британцы начали наперебой описывать ему свой стиль, зажимая аккорды на несуществующих гитарах и впадая в экстаз от воображаемых соло. Наигравшись, рокеры поинтересовались, какие клубы 55 725 627 801 600 и 70 607 384 120 250 собираются посетить на месте назначения.

— Мы не собираемся в клубы, — ответил 55 725 627 801 600.

— А что же вы будете делать в Барселоне? — искренне удивились британцы.

55 725 627 801 600 начал перечислять достопримечательности, вскружившие им обоим голову еще в художественных альбомах и путеводителях: Каса-Мила, парк Гуэля, музей Пикассо...

— А, культура! — разочарованно замахала руками вся компания. — Нет, культура нас не интересует!

55 725 627 801 600 и 70 607 384 120 250, едва сдерживая смех, переглянулись: что же останется от жизни, если вычесть из нее «культуру»?

Больше всего в Барселоне они боялись увидеть собор Саграда Фамилия — недоношенное детище Гауди, принесенное им в жертву строительным кранам, досадными занозами торчащим из живой, ажурной плоти. На фотографиях именно эта очевидная телесность здания вызывала у них особый трепет. Казалось, собор может по собственному желанию вытягивать до предела любую из своих восьми башен и снова втягивать ее обратно, как щупальце.

— Если я увижу его вблизи, то просто упаду в обморок! — жаловалась 70 607 384 120 250.

Они действительно целый день избегали улиц, напрямую ведущих к Саграда Фамилия, и только под вечер решились на сближение.

— Я не выдержу, не выдержу, — повторяла 70 607 384 120 250, замечая, что развернутая в их сторону башня уже начинает распухать, грозя выдавить над собой небо, как стекло.

У самого подножия конструкции на них налетели две цыганки и с восклицаниями «Белло! Белло!» тут же потянулись к кошельку, висевшему у 55 725 627 801 600 на шнурке под рубашкой. 70 607 384 120 250 отреагировала первой, оттолкнув проворных карманниц, чем привела их в бешенство, и поплатилась оторванной бретелькой. Одна ее грудь обнажилась, как у древнего изваяния Афродиты, и всю дорогу обратно она должна была придерживать платье рукой, чтобы соблюсти приличия.

Уже в сумерках, добравшись до пляжа, 70 607 384 120 250 освободилась наконец от материи, упавшей к ее ногам сношенной лягушачьей кожей, и, взяв побольше разбег, воссоединилась с морем.

Но как забыть незапоминаемое?

Вспомогательное сердце

Одним из развлечений, которые 70 607 384 120 250 открыла для себя вскоре после переезда в Берлин, было философское кафе. Вернее, самого кафе не существовало. Имелась только электронная рассылка, через которую за несколько дней до предстоящей встречи объявлялись время, место и тема очередного доклада. Никакой дополнительной рекламы не предусматривалось. Более того: информацию старались держать в секрете. Попасть в рассылку можно было только по рекомендации (70 607 384 120 250 получила свое «место» как бы в наследство от бывшего сокурсника, который давно уехал из Берлина, но еще не оборвал кое-какие связи). Тем не менее среди участников встреч не наблюдалось особого постоянства. Каждый раз новых лиц попадалось больше, чем уже знакомых. Так что никто никому не удивлялся и не интересовался причиной пропусков.

Иногда даже точное место сбора не сообщалось заранее. Все шли к какому-то условленному промежуточному пункту и там уже получали указания насчет дальнейшего маршрута. «Своих» узнавали по паролю, который регулярно менялся — нередко и в самый последний момент.

Собирались обычно на частных квартирах, но бывали и исключения. Однажды дискуссия проходила в аудитории института криминологии, запомнившейся тем, что из-за спины выступающего все время понимающе выглядывал скелет. В другой раз встречу назначили в полуразрушенном доме. Несколько недель спустя 70 607 384 120 250 проезжала мимо этого места на поезде, но дом уже исчез: его поперечный срез прочитывался только по участку земли, поросшему ослепительно свежей, только что взошедшей травой.

Откуда брались докладчики, 70 607 384 120 250 и сама не знала. Поскольку рабочим языком клуба был английский, то никаких национальных ограничений не накладывалось. И действительно, чуть не большинство приглашенных философов прибывали откуда-то из-за рубежа. Академические титулы и публикации обычно опускались, что, конечно, вносило определенный элемент демократии, но одновременно и настораживало: где была гарантия, что перед тобой стоят действительно серьезные ученые, а не проходимцы? А может быть, отсутствие гарантий и привлекало публику именно в этот кружок? Философы появлялись и исчезали, а их тео-

рии, как бактерии, проникали в окружающую среду и незаметно начинали там что-то менять. Иногда 70 607 384 120 250 казалось, что она попала в подопытную группу, где тестируют какое-то новое отношение к действительности, но пока что плохо представляла себе последствия.

Ее удивляло, что в группе так мало говорили об извечных проблемах человечества и вообще о людях, будто они были второстепенными или даже третьестепенными существами на этой планете. Словно в пику известному утверждению Энгельса о невозможности взглянуть на мир глазами муравья, клубные философы склонялись именно к «муравьиной» перспективе, пытаясь вывести какие-то общие законы, одинаково действительные как для букашек, так и для комнатных этажерок. Различия между высшими и низшими формами жизни не принимались всерьез, и даже сама «одушевленность» объекта не давала ему никаких приоритетов. Этика и физиология стояли на одной ступени, а «промысел Божий» ценился не больше чем промыслы народов мира.

70 607 384 120 250 припомнила доклад о творческом импульсе у собак, возникающем в условиях последовательной изоляции от внешнего мира, а также о подобных экспериментах над людьми, в отдельных случаях оканчивающихся расстройством писчей функции при усилении потребности в высказывании. Она потом хотела разыскать докладчика в университетских базах данных и задать какой-то уточняющий вопрос, но спохватилась, что сам ученый назвался только по имени (Хуан-Мигель), не уточнив даже страну проживания: себя он определял как «странствующий философ». Интересно, как при таком образе жизни вообще можно что-то исследовать?

Впрочем, эти ученые сами никаких исследований и не проводили, как бы даже демонстративно прибегая к материалу, собранному другими людьми, в другое время и для совершенно других целей. Не имея в своем распоряжении ни лабораторий, ни даже простейших приборов, они всецело полагались на составленные чужой рукой графики, таблицы и истории болезней, подвергая их каким-то новым, почти фантастическим толкованиям. 70 607 384 120 250 улыбнулась, попробовав восстановить по памяти цепочку аргументов, по которой докладчица на прошлой встрече пришла к выводу о наличии перформативных практик у амеб.

Сегодняшняя лекция также обещала щедрые экскурсы в биологию, на что намекало уже само название — «Внутренняя выразительность и выразительность внутренностей». Ехать на этот раз пришлось на другой конец города, в Кройцберг — район турецких эмигрантов и артистических сквотов. Однако по адресу, указанному в рассылке, оказался ухоженный особняк со всего несколькими фамилиями на табличке у входной двери. Через переговорное устройство ее пригласили на самый верх, в просторную квартиру с выходом на террасу, на которой уже накрывали стол с напитками и символическими угощениями, обещавшими приятное завершение вечера. Слушатели тем временем собирались в гостиной, где по периметру была расставлена, очевидно, вся посадочная мебель, какую смогли отыскать хозяева. И все равно некоторым не хватило места, так что под конец гостей уже укладывали по несколько человек на разобранные диваны, что придавало всей сцене сходство с философскими пиршествами времен Платона.

Докладчик слегка опоздал, или, быть может, его просто не сразу заметили. Даже когда он уже сидел в выдвинутом на середину кресле и перебирал свои бумажки, все еще как бы ждали кого-то другого. Поэтому доклад начался почти неожиданно, и голос оратора только через несколько минут смог полностью воцариться над всеми остальными шумами в помещении:

«Я хотел бы в своем выступлении отобразить один важный, однако во многом еще потаенный аспект естественнонаучной истории последних столетий и раскрыть на этом примере сложную зависимость между знанием и чувством.

Во второй половине девятнадцатого века итальянский физиолог Анджело Моссо решил повторить в собственной лаборатории нашумевший эксперимент своего немецкого коллеги Морица Шиффа с артерией, снабжающей кровью кроличье ухо. Шиффу удалось в 1854 году зафиксировать ритмические сокращения названной артерии, не совпадающие с ритмом сердечной систолы и диастолы, что привело его к неожиданному выводу о том, что в ухе кролика пульсирует своего рода «вспомогательное сердце» со всеми соответствующими функциями. Разумеется, это открытие произвело в свое время фурор в научном мире, ибо сердце, как считалось, у всех живых организмов могло быть только одно, и предположить этот орган в каком-то другом месте, кроме того, которое отводилось ему не только медицинской, но и поэтической традицией, граничило почти с кощунством. Моссо знал, сколько зависело от его повторного эксперимента, и чувствовал в себе силы либо раз и навсегда опровергнуть опыты своего предшественника, либо подтвердить их и тем самым окончательно обозначить новую веху в развитии кардиологии.

Результаты исследования, однако, оказались неожиданными для самого итальянца. В ухе у кролика действительно билось некое подобие сердца, но только в те моменты, когда животное находилось в состоянии сильного эмоционального возбуждения, что, впрочем, в лабораторных условиях было практически неизбежно. Подвергаясь манипуляциям с использованием сложных измерительных приборов, назначение которых оставалось для него непостижимым, кролик приходил в сильное волнение. Вот тогда-то и включалась вспомогательная сердечная функция, позволяющая худо-бедно справиться с переполнявшими его чувствами.

Для подтверждения своей гипотезы Моссо провел несколько опытов на «спокойных» кроликах, искусственно создав для них ситуацию, исключавшую перевозбуждение. За несколько дней до эксперимента кролик размещался в вольере, где ему обеспечивался максимальный комфорт. Вольер при этом был снабжен специальным отверстием, открывавшим доступ к его ушам. Расположение вольера позволяло ученому проводить все измерения, оставаясь незаметным для подопытного. На этот раз никакой посторонней пульсации не обнаружилось. Кролик находился в уравновешенном, то есть нейтральном, состоянии духа, и более одного сердца ему не требовалось.

Критические наблюдатели, правда, сразу поставили вопрос: что считать для кролика «нейтральным» состоянием? Не является ли его «спокойствие» своего рода депрессией, отключающей предусмотренные природой механизмы? Другими словами: что принять за физиологическую норму — наличие или отсутствие дополнительных сердечных вибраций?

Эта проблема становится центральной в последующих дискуссиях о практической функциональности лабораторных экспериментов. Если под воздействием эмоций так сильно меняется характер физиологических реакций, можно ли говорить о какой-либо стабильной идентичности живых существ, являвшейся до тех пор предметом интереса научного сообщества? Встречается ли вообще в природе кролик как таковой, или он распадается на множество подвидов в зависимости от внутренних переживаний: «испуганный кролик», «меланхоличный кролик», «удивленный кролик», «очарованный кролик», «кролик в смятении» и так до бесконечности? Ситуация дополнительно осложняется тем, что, несмотря на природную предрасположенность отдельных особей к определенному виду эмоций, нельзя отрицать, что каждый организм способен за время своей жизнедеятельности пройти через все воз-

можные фазы и оттенки переживаний, не говоря уже о том, что многие чувства изначально противоречивы и не могут быть сведены к односложным описаниям.

Эти наблюдения, среди прочего, заново привлекли внимание ученых к такой щекотливой теме, как болевые ощущения животных во время экспериментов. Надо сказать, что уже в середине девятнадцатого века физиологи не были безразличны к страданиям, часто неизбежным в стенах их лабораторий. Считалось, что слишком сильное переживание животным причиняемой ему боли может исказить результаты эксперимента. Поэтому боль старались последовательно уменьшать — не столько из соображений гуманности, сколько во имя научной целесообразности. Однако опыты Моссо навели некоторых исследователей на мысль, что путем сознательного допущения или даже стимуляции болевых эффектов можно добиться небывалого накала эмоций и, соответственно, включения у подопытных новых физиологических функций, дремлющих в более уравновешенных состояниях. Другие же, наоборот, отчаянно боролись за «чистоту эксперимента» и предпринимали попытки совершенно изгнать эмоции из лабораторных процедур. Для достижения этой утопической цели прибегали к животным, традиционно считавшимся неспособными к сложным внутренним переживаниям: лягушкам, скунсам, дикобразам. Однако успех этих опытов оставался сомнительным. Так или иначе, эмоции были признаны важным фактором, с которым следовало считаться не только в гуманитарных, но и в точных науках.

Система учета и контроля эмоций включала в себя деление экспериментального пространства на различные зоны. В одной из зон для животного создавались условия, близкие к естественным или домашним. В другой, напротив, должно было преобладать чувство тревоги, растерянности и так далее. Учитывалась также индивидуальная биография подопытных особей: к примеру, кошки, поступившие в лабораторию после смерти своих хозяев, реагировали на манипуляции иным образом, чем те, что были выловлены мальчишками прямо на улице.

Наряду с интересом к эмоциональным состояниям живых организмов развивалась также техника, обеспечивающая быструю и достоверную регистрацию глубинных переживаний. На этом графике мы видим изменение самочувствия человека, вызванное внезапно произнесенным словом «змея». Учтены различные параметры — от кровяного давления до слюноотделения. Страх становится измеряем точно так же, как симпатия, вдохновение, любовь. Ошибочно будет, однако, полагать, что подобный подход приводит к упрощению и обеднению духовной сферы. Напротив, чувствительность измерительных приборов позволяет фиксировать столь тонкие оттенки эмоций, которые невозможно было бы выразить в словах. Для одного только чувства отчаяния существуют тысячи графических схем, снятых в разное время с разных индивидуумов, причем ни одна из них не повторяет другую. А потенциально возможны еще миллионы!

Древние считали, что мир обладает двумя измерениями. В одном из них находятся вещи с постоянным значением и мерой, в другом, напротив, нет никаких вещей, а есть только чистое становление, избегающее любого закрепления в материи и существующее одновременно в настоящем, прошлом и будущем. Это становление конкурирует с осязаемой предметностью, вторгается в нее, проникает внутрь, разрушая смыслы и плодя безумие. Но не настала ли сегодня пора зафиксировать разрушительную энергетику становления? Благо современные измерительные приборы уже приближаются к тому, чтобы позволить нам регистрировать малейшие отклонения, наблюдаемые там, где раньше ошибочно предполагали стабильное тождество! Мы открываем теперь, что ни одна вещь, оказывается, не равняется самой себе, но одновременно находим и технические возможности точно установить степень этого

неравенства, обнаруживая в хаотическом на первый взгляд движении цепочку последовательных смыслов.

То, что не поддается описанию в словах, становится понятным, если воспользоваться языком цифр. Отказ от наименований всегда воспринимался со страхом — как отречение от сути. Для человека потеря имени символизирует потерю личности, отказ от знания о себе самом и даже от Бога, гарантирующего это знание. Однако именно сейчас настала пора понять, что имя — абстрактной идеи, предмета или человека — больше не гарантирует стабильной идентичности, а, напротив, топит ее в омуте обобщений. Мы вплотную приблизились к той эпохе различий, когда мельчайшее явление живой или неживой природы можно будет исчерпывающе обозначить строго индивидуальным набором знаков, в котором, как в генетическом коде, будут с математической точностью прочитываться все потенциальные метаморфозы, на которые способна именно эта конкретная единица бытия. Это будет эпоха нового братства и солидарности, где все сущее осознает себя в неисчерпаемом многообразии своих возможностей!

Закончить мне бы хотелось небольшой притчей про то, как у одного философа открылось вспомогательное сердце. Этого философа, который был на тот момент уже признанным нравственным авторитетом в своей стране, как-то спросили, что он думает по поводу одного злостного отрицателя холокоста, только что всколыхнувшего общественность очередной порцией своих рассуждений. От философа ждали гневной отповеди, но он спокойно ответил: „У меня нет оснований сомневаться в искренности этого человека. Мы все имеем право на холокост. Так давайте же не будем отнимать у других право на его отсутствие!“»

Утро

66 870 753 361 920 говорил, что, расставаясь по вечерам, они лишают себя чего-то очень важного. Ведь на рассвете любовь всегда горячее и острее. Нельзя сказать, что люди достаточно знают друг друга, пока у них еще не было этой утренней любви. Тогда 70 607 384 120 250 предложила, что придет к нему как-нибудь пораньше, вскоре после пробуждения, и это будет почти то же самое, как если бы она совсем не уходила. 66 870 753 361 920 сразу согласился и попросил заодно купить по дороге его любимый яблочный пирог.

В булочную выстроилась уже небольшая очередь. Все спешили перехватить что-нибудь до начала трудового дня. Студентка перед ней перелистывала конспекты. Сзади пристроился рабочий со стремянкой на плече. В таком окружении 70 607 384 120 250 почувствовала себя неловко: может быть, и ей сегодня стоило бы потратить драгоценные утренние часы на что-то другое? Однако она безропотно взяла пирог и пошла дальше уже привычным маршрутом.

66 870 753 361 920 открыл не сразу и почему-то с первого взгляда ей не понравился:

— Я же тебя просила не ходить при мне в халате!

— Так ведь я еще не вставал! — ответил он ошарашенно.

— Ты же знал, что я приду!

— Вот именно: я ждал твоего прихода в постели... О, как от тебя пахнет яблоками! — добавил он, целуя ее в шею.

— Это не от меня, это от него, — она отдала ему сверток с пирогом.

— Лучшего пробуждения и представить себе невозможно! — продолжал 66 870 753 361 920. — Хотя, ты знаешь, я почти не спал. Все время думал об одной вещи... Мне кажется, я начинаю влюбляться. В нее.

— В кого?

— В ту девушку, о которой сейчас пишу. Понимаешь, она — это то же самое, что я, только в женском обличье, — мечтательно добавил он. — Ну иди, иди скорее в спальню! Я так тебя ждал!

66 870 753 361 920 ненадолго отлучился на кухню, так что у 70 607 384 120 250 было несколько минут на то, чтобы спокойно разглядеть комнату, которую она никогда раньше не видела в это время суток и которая в утреннем свете утратила свою загадку. Стопки книг на полу наводили на мысль о лавке старьевщика, а смятая за ночь постель не вызывала ни малейшего желания в нее ложиться.

— Ты еще одета? — обеспокоенно спросил 66 870 753 361 920, появляясь на пороге.

70 607 384 120 250 поспешно начала раздеваться: уж с этим-то она прекрасно справляется! На этой-то стадии все должно идти как по маслу! Проблема — если уже нечего больше снять. Тогда чувствуешь себя той пещерой, перед которой Али-Баба на все лады повторяет свой «сим-сим», а она не открывается.

Сдвинув в сторону одеяло, 70 607 384 120 250 расчистила себе место — только самую малость, будто тайком ложилась в чужую кровать и не должна была оставлять никаких следов. Напрасные предосторожности: 66 870 753 361 920 с силой сдернул одеяло на пол и почти без каких-либо приготовлений неожиданно буднично проник в нее. За окном слышались завывания строительной дрели: может быть, это началась смена у того самого рабочего, который стоял за ней в очереди в булочной?

Вдруг она поняла, что 66 870 753 361 920 сейчас занимается любовью не с ней, а с героиней своего романа, с которой его наверняка связывали очень сильные и глубокие чувства. Это было видно по его глазам, обращенным куда-то в метафизическую глубину, будто перед ним вместо ее тела открывался бездонный колодец. Заговаривать о чем-то, как она делала это раньше, теперь не хотелось: казалось, он посмотрит на нее со снисходительным презрением, как святой странник, которого окликнули, чтобы спросить, который час.

Со стоном, заставившим 70 607 384 120 250 вздрогнуть, 66 870 753 361 920 оторвался от нее и особенно внимательно начал приглядываться к интерьеру комнаты, как бы желая убедиться, что за время их соития в мире все осталось по-прежнему.

— Почему это всегда так хорошо? — спросил он.

Она не стала уточнять, как именно следует понимать его слова: ему всегда хорошо с ней или ему вообще всегда хорошо в таких ситуациях?

Одной рукой он обнял ее, но вторая уже потянулась к ноутбуку:

— Хочешь посмотреть видео, которое мы с сыном сняли в отпуске?

С утра переход к повседневности явно давался ему особенно легко. На экране замелькали какие-то кусты с дрожащими на них одинокими ягодами. Чьи-то ботинки шагнули через ручей. Затем 70 607 384 120 250 долго наблюдала за рюкзаком, покачивающимся за спиной у путника, от которого камера никак не хотела отставать. Вдруг путник развернулся и оказался самим 66 870 753 361 920, растерянно взирающим на будущих зрителей. Камера дернулась и улетела куда-то в небо...

Теперь они сидели, закутавшись в одеяло, и 70 607 384 120 250 подумала, что есть в этой сценке что-то от уюта поздней супружеской жизни, когда муж и жена придвигаются друг к другу поближе, чтобы полюбоваться первыми художественными опытами своих отпрысков. Подождав окончания очередного эпизода, она выскользнула из постели и напомнила о завтраке. Но он хотел смотреть дальше:

— Поставь там пока кофе! Я сейчас приду!

Он застал ее на кухне с блокнотом на коленях, в который она аккуратно записывала впечатления этого утра.

— А где кофе? — удивился он.

— Я не знаю, как его заваривать, — отозвалась она, не отрываясь от своих записей. — У тебя какая-то странная машина.

66 870 753 361 920 вздохнул и обреченно направился к автоматической кофеварке.

— Послушай, — сказал он, когда темнеющий напиток нехотя закапал через фильтр, — ты ведь говорила, что с детства любишь ролевые игры? Представляешь себя то Клеопатрой, то еще кем-то... Так вот, почему бы и нам с тобой не поиграть в такую игру? То есть дома у тебя одна роль, я понимаю. Не будем об этом говорить, это твое личное дело. А здесь я хочу, чтобы ты была такой женщиной, какая нравится мне. Ну вот как Анна Григорьевна Сниткина, к примеру! Представляешь себе, да?

— А что интересного в этой роли?

— Ну, такие вещи не объясняют! Это надо чувствовать! Хорошо, в двух словах: милая, хозяйственная, кроткая... Да что ты там все время записываешь, а?

— То, что происходит. Ты же мне сам советовал!

— Я советовал это делать в мое отсутствие. Когда я здесь, зачем тебе какие-то бумажки?

— Я не знаю. Наверное, чтобы ты не исчез. Каждое слово — это как стежок, которым я пришиваю тебя к своему подолу. Будешь сидеть рядом как маленький и никуда не уйдешь!

Но он сел «как большой» напротив, разлил по чашкам кофе и разрезал пирог. Теперь они трапезничали, как какие-нибудь старосветские помещики, дожившие вместе до пенсионного возраста, и 70 607 384 120 250 даже удивилась, как быстро их отношения дошли до той стадии, после которой продолжение уже бессмысленно.

— Что ты делаешь на выходных? — спросила она.

— Еду в замок к одному приятелю. То есть это даже не приятель, а так — знакомый знакомых. Просто случайно оказался моим поклонником, представляешь? Читал все мои романы!

— У него в замке, наверное, много времени...

— А теперь вот пригласил в гости! Но я боюсь, что будет очень скучно, — заключил он со вздохом.

— Почему?

— Я же там никого не знаю! И вообще, здесь у меня роман. Чувствую, что нельзя его сейчас бросать.

— Ничего, он как-нибудь перетерпит, — сказала 70 607 384 120 250, отодвигая от себя тарелку с едва надкушенным куском пирога.

— Ты куда сейчас? — поинтересовался 66 870 753 361 920.

— В магазин — посмотреть косметику. Потом в оперу за билетами: подруга скоро приезжает из Стокгольма.

— Интересно живешь!

— Уж как получается!

До дверей 66 870 753 361 920 проводил ее, как и встретил, в халате.

— Я позвоню тебе из замка, — пообещал он.

— Как хочешь, — произнесла она пересохшими, чужими губами.

Снаружи было непривычно солнечно и пусто. 70 607 384 120 250 сказала абсолютную правду, когда перечисляла свои планы на утро, но, оказавшись на улице, почувствовала, что не может сейчас никуда идти. Она взяла в руки босоножки и, увязая по щиколотку в песочных дюнах на детской площадке, добралась до ближайшей скамейки. На ее счастье, пробегавшие мимо мальчишки не стали задерживаться во

дворе. Только один из них, нарочно отстав от компании, вдруг метко запустил в нее камнем, попав точно в плечо. Но она почему-то даже обрадовалась, будто это было первое прикосновение за все утро, по-настоящему имевшее к ней отношение.

Вспомнив движение камеры в сегодняшнем фильме, 70 607 384 120 250 запрокинула голову наверх, но на полпути к небу зацепилась взглядом за его окна. Потом достала свой блокнот, нашла чистую страницу и записала: «Милый, я бы хотела, чтобы сегодня на завтрак ты вынул и съел мое сердце. Тогда бы оно сейчас болело у тебя внутри!»

Но как разлюбить нелюбимое?

Гений

Несколько дней подряд в Питере не прекращались дожди. Грибы на газетах у метро становились все крупнее и причудливее. На кладбище к отцу можно было подойти только в резиновых сапогах. Бабушка Лиля указывала ей путь, стараясь держаться поближе к ограде, как неуверенный в себе пловец к бортику бассейна.

— Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... — отсчитывала она ряды. — Вот здесь сворачиваем!

Зазор между могилами был не больше одного шага, и бабушку постоянно заносило на чей-то просевший холмик. 70 607 384 120 250 обратила внимание, что типовые надгробия по форме напоминают колыбельки. Только внутри вместо младенцев прорастает трава.

Отца похоронили в урне, поэтому он занимал совсем немного места — рядом с бабушкиными сестрами и мамой. Узкие мраморные таблички, как список жильцов на дверях коммуналки, перечисляли имена и фамилии усопших, убаюканных, испепеленных.

В ничем не огороженный участок земли было воткнуто несколько пластиковых фиалок. Почти такой же букетик 70 607 384 120 250 когда-то упрашивала отца купить у приторговывавшей возле универмага цыганки.

— Я не люблю искусственных блондинок и искусственных цветов, — попробовал отшутиться отец.

— Зато они никогда не умрут! — нашлась она.

— Кто? Искусственные блондинки? Разумеется, не умрут — только притворятся! — засмеялся отец.

Позже стремление к естественности превратилось у него почти в навязчивую идею. Он запрещал Зине закрашивать седину и слушать кассету с расслабляющей музыкой, имитирующей голоса птиц на синтезаторах. Мяса не признавал в расфасовке и желал всегда видеть тушку животного, от которого для него отрезали кусок.

Бабушка выдернула из могилы пластиковый букет, как пучок редиски с грядки, и с неожиданной ловкостью кинула его в кусты.

— Зина постаралась, — заметила она саркастически и заменила бессмертные цветы живыми.

Вечером 70 607 384 120 250 договорилась встретиться в городе со своей школьной подругой Кирой. До отъезда в Берлин они виделись нечасто, но регулярно, однако в перерывах не перезванивались и не переписывались, поэтому новостей всегда накапливалось с излишком. 70 607 384 120 250 была свидетельницей у Киры на свадьбе и до сих пор подспудно чувствовала вину за то, что этот брак распался: при венчании она утаила от батюшки свою некрещеность и, возможно, невольно нарушила ритуальную чистоту обряда. Хмурый церковный служка, ассистировавший свя-

щеннику, будто догадывался о чем-то и на протяжении всего таинства с подозрительным прищуром смотрел на нее сквозь запотевающие от фимиама очки, так что она постоянно поправляла платок, скудно прикрывающий оголенные вечерним платьем плечи. Когда свидетели понесли над головами брачующихся венчальные короны, 70 607 384 120 250 вдруг оступилась на ковровом настиле и чуть не упала. Служка тут же вытянул к ней свою змеиную шею и зашипел прямо в ухо:

— Сдурела, что ли?

70 607 384 120 250 поняла, что здесь не прощают ошибок, и весь остаток церемонии несла себя осторожно, как наполненный святой водой сосуд, механически выполняя команды батюшки, будто это был урок хореографии, только вместо французских названий позиций звучали церковнославянские.

Странно, что на фотографиях с этого венчания в ней не было заметно никакого напряжения. Напротив, всеми единодушно отмечались не свойственные ей обычно мечтательность и отрешенность, что она, впрочем, списывала на особенности церковного освещения, в котором все живое превращалось в фантом, чурающийся, как черта, своей телесной оболочки.

Кира ждала ее в «Подвале бродячей собаки». Несмотря на дождь, она была в туфлях на шпильках и в юбке, открывающей половину бедра. Перед ней на столике стояла корзина черники.

— Вот привезла тебе с дачи, — объяснила она. — Ягод в этом году много. А куда девать? Не пойду же я на рынок торговать?

70 607 384 120 250 знала, что в студенческие годы Кира действительно подрабатывала, торгуя на рынке ягодами, картошкой и другими дарами загородного участка. Но с тех пор, как получила диплом и устроилась врачом в поликлинику, бросила это финансово очень выгодное дело, боясь столкнуться в базарном ряду со своими пациентами.

— У тебя отпуск сейчас? — спросила 70 607 384 120 250.

— Нет, работаю. А выходные — на грядке с утра до вечера. Не бросать же добро, раз уродилось! Но зато не скучно, правда?

И они засмеялись, как в детстве, когда любая фраза имела миллион понятных только им значений.

— Представляешь, — продолжала она, не переставая смеяться, — у нас на работе недавно такой забавный случай был. Пришел один пациент, связал главврача и стал требовать бесплатных рецептов.

— Какой ужас! Как же он его связал?

— Не его, а ее! Пригрозил бейсбольной битой и скрутил. Причем я могла бы оказаться на ее месте! Это вообще-то мой пациент был. Он уже и раньше возмущался насчет рецептов, что ему их не дают.

— А почему не давали-то?

— Не положено! То есть положен один бесплатный рецепт в месяц. Мы ему и выписывали!

— Господи, что за люди! Все им мало!

— Но ему действительно мало! При его болезни намного чаще надо, а то боли нестерпимые.

— Почему же тогда не положено?

— Не знаю, — пожала плечами Кира. — Как думаешь, у вас за границей такого не бывает?

— Все бывает. Вообще, разницы особой нет.

— Правда?

— Только там газеты в киоске больше друг от друга отличаются...

— Ничего, это мы переживем!

У Киры зазвонил мобильный. Она приложила трубку к уху, серьезно выслушала кого-то и пообещала перезвонить.

— Это насчет комнаты, — объяснила она, пряча телефон. — Я ведь комнату купила в старом фонде на Васильевском. В ужасном состоянии, конечно, зато хоть деньги не пропадут. Соседи — хуже не бывает: мать и сын, наркоманы. Но жильцов найти вообще-то не проблема. Сейчас как раз рекомендовали одного. У человека несчастье: семью убили, дом и яхту сожгли. Жить пока негде. Надо помочь!

Им подали чай. На сцене велись приготовления к театрализованному вечеру поэзии. Кто-то на корточках выползал из-под бархатного занавеса и тут же уползал обратно. Наконец занавес раздвинули совсем, сцену заполнили девушки, завернутые в белые простыни, с венками на голове. Совершая танцевальные па, они прочитали по одному четверостишию и уступили место юноше в кожаной кепке, который в отрывистых верлибрах поведал публике о том, как он «совокуплялся с ночным городом». Его сменила смерть с косой, на которую в результате свалилась декорация с изображением звездного неба. Смерть аккуратно подняла небесный свод и поставила его на место. Потом шел стихотворный диалог Лолиты, обнимающей плюшевого мишку, с циничным Гумбертом, у которого периодически отклеивались усы. Им хлопали особенно воодушевленно.

Выждав эффектную паузу, конферансье объявил специального гостя, «знаменитого поэта», имя которого 70 607 384 120 250 не разобрала. Поэт оказался лет на тридцать старше остальных участников и вышел совсем без костюма или грима. На нем были белая рубашка с короткими рукавами и летние серые брюки, подпоясанные много выше талии. Он беспокойно озирался по сторонам, заглядывая в глаза чуть не каждому зрителю в отдельности, будто хотел убедиться, что тот действительно готов его выслушать. Наклонив к себе стойку с микрофоном, он вдруг спросил:

— Вы кого будете читать после смерти?

Зал озадаченно притих.

— После моей, конечно, — пояснил поэт, довольный эффектом своего вопроса. — Пушкина? Есенина? Бродского? А может быть, все-таки меня?

Все напряженно молчали, не зная, началось представление или еще нет.

— Решайте сами, — продолжал поэт. — Только прошу вас судить объективно. Не дайте сбить себя с толку громкими именами и престижными премиями! Я ничего не могу предъявить Вечности, кроме своих стихов. А ей, скажу по секрету, ничего больше и не нужно! Там, — он поднял указательный палец перпендикулярно полу, — не проверяют ни тираж, ни количество беснующихся поклонников. Там у них совсем другие мерки. И я хочу, чтобы меня уже сейчас судили именно по ним, без всяких поблажек!

За задними столиками произошло какое-то движение.

— Я вижу, некоторые из вас уже спасаются бегством, — констатировал поэт. — Не стоит, право. Оставайтесь на своих местах! Я уйду сам!

И он действительно исчез за кулисами. Даже аплодисменты не смогли вернуть его назад.

Пришлось объявить антракт. Выйдя подышать свежим воздухом, они с Кирой обнаружили «знаменитого поэта» с сигаретой возле крыльца. От своих юных коллег и их друзей он держался особняком ‹или же это они сами избегали его общества›. Докурив, признанный сам собой гений зашагал через площадь Искусств, энергично

размахивая руками, как будто до встречи с Вечностью оставалось совсем немного и нельзя было терять ни минуты вхолостую.

Небо за день изнурило себя дождем и теперь стряхивало последние капли, готовясь к ночному затишью. Возвращаться в кафе не хотелось. В городе и так было достаточно поэтических странностей, чтобы прибегать к услугам специалистов. Они шли вдоль рек и каналов чуть степеннее, чем в юности, но ощущение беспредельности пространства оставалось прежним.

«Когда же это кончится? — думала 70 607 384 120 250. — Когда мы уже перестанем быть девочками? Когда наконец созреем для увядания?»

Около одиннадцати Кира заторопилась домой, в Купчино. 70 607 384 120 250 тоже хотела спуститься в метро, но вдруг передумала и осталась на последний сеанс в кинотеатре «Родина». Шел новый отечественный фильм о послевоенной жизни лагерного поселка в Сибири. Режиссер пытался передать колорит поселковых будней, но без трагического надрыва, скорее в лирическом, немного сентиментальном ключе. Люди в ватниках курили папиросы, сидя на деревянных ящиках и не стесняясь в выражениях. Одухотворенные лица молодых городских интеллектуалов внимательно следили из зала за происходящим.

«А ведь встреться им такие типажи в жизни, — рассуждала про себя 70 607 384 120 250, — не выдержат рядом ни секунды! Но в кино, конечно, другое дело. Здесь специально выключают свет, чтобы незаметно выйти из себя, а потом так же незаметно вернуться обратно».

В метро на обратном пути напротив нее сидела молодая женщина с девочкой лет пяти, уже склоняющейся в дреме на округлое, как батон, плечо. Когда объявили остановку «Площадь Мужества», девочка вдруг встрепенулась, закрутила головой и дернула женщину за рукав:

— Мама, мама, что там, на «Площади Мужества»?

— Ничего там нет, — твердо ответила женщина.

— А зачем же сюда люди приезжают? — изумилась девочка и еще некоторое время вопросительно глядела на безучастную мать округленными от любопытства глазами, пока монотонное покачивание вагона снова не усыпило ее.

Фонтан

Мастера рококо не знают тени. Любой сюжет — будь то мученическая смерть или пастушеские забавы — обнажают они с беспощадностью атомной вспышки. Для тайнописи не остается места. Все закоулки пространства высвечиваются до самого горизонта, будто мир начинает просматриваться насквозь.

«Купающуюся Вирсавию» Себастьяна Риччи 70 607 384 120 250 нашла в одном из боковых залов Картинной галереи, где все экспонаты можно было рассмотреть не сходя с места, а лишь поворачиваясь по мере надобности вокруг своей оси. Обнаженной Вирсавии такой близкий контакт с другими картинами, казалось, был неприятен, и она, сидя на парапете возле своей купальни, нетерпеливо ждала, пока служанка оботрет ее полотенцем и можно будет убежать в другое крыло сада, подальше от нескромных глаз какого-то святого, обращенных к ней с противоположной стены. Впрочем, не стыд подталкивал ее скрыться за рамками картины, а жажда жизни, желание окунуться в нее, как в ванну, и понимание, что от главного взгляда все равно не утаишься — и не надо!

70 607 384 120 250 вспомнила, что когда-то давно видела похожую девушку на парадной лестнице кинотеатра «Прогресс». Та тоже жила в мире, залитом светом,

без права на тайну или хотя бы маленький секрет. На гигантской фреске, сохранившейся еще с пятидесятых, ей отводилось центральное место, и, чтобы заглянуть ей в глаза, нужно было подняться на верхнюю площадку, в то время как сапожки, обтягивающие стройные голени, и вышитое полотенце, на котором она держала хлеб-соль, лучше всего просматривались снизу. Ее окружали веселые подружки и энергичные парни, символизирующие союзные республики, но больше всего это было похоже на свиту, прислуживающую прекрасной повелительнице с короной из колосьев ржи на голове. И никто не обижается. Ведь все равны! Какая разница, кому подчиняться? Один упадет, другой поднимется. Один испепелится в труху, другого запустят в космос. Одного положат на нары, другой возьмет их под мышку и будет ходить.

В детстве казалось, что национальность — это что-то вроде болезни. У негров — черная оспа, у вьетнамцев — монголоидность, у украинцев — нарушение артикуляции. В садике на празднике дружбы народов никто не мог понять разницу между армянами и азербайджанцами: симптомы были слишком похожи. Меня назначили узбечкой. Научили семенящему, как бы прихрамывающему танцу и чтобы один глаз непременно косился на небо, к солнечным лучам. После танца вручили поднос с ватой, изображающей хлопок. В свалявшихся комочках кровавой струйкой зазмеилась красная лента ударницы...

По телевизору идет передача о Нагорном Карабахе. Передают, что больше в деревне никто не живет. Бывшие односельчане лежат аккуратными рядами возле каркасов обгоревших домов. У каждого на шее красная ниточка, наподобие ожерелья. Юрий Сенкевич из «Клуба кинопутешественников» что-то объясняет в камеру, присаживается на корточки, приподнимает один из трупов. Голова тут же слетает с шеи, как поддетая снизу бутылочная крышка и катится в какой-то таз. Я, рыдая, выбегаю в другую комнату, прячусь за диван и представляю, как догоню эту голову, принесу ее в подоле, приставлю назад и буду так держать, пока она не приживется.

Клопов у бабушки Мани морили всегда в самый солнечный день в году, чтобы можно было гулять до вечера, пока в квартире не выветрится запах дихлофоса. Первая остановка — книжный магазин, где я в свое удовольствие листаю новое издание «Памятки агитатора». Если уже в памятке столько страниц, то как же тогда должна выглядеть сама память? Переплет, наверное, едва приподнимается, с каждой строчки сноска и примечания мелким шрифтом. Некоторые страницы еще не разрезаны, хочешь их вскрыть, а вместо этого рассекаешь до крови палец, как об осоку.

Потом направляемся в булочную, берем бублик, но кушать еще нельзя, только рассматривать через дырочку небо и портреты передовиков на районной доске почета. В сквере устраиваемся на скамейке, лишенной одной перекладины, прямо под копчиком. Обкусываю бублик, вращая его по кругу. На крошки сразу слетаются голуби. Оказывается, что кормить интереснее, чем есть самой. Бабушка не возражает, только следит, чтобы всем доставалось поровну, и просит нарочно кидать тем, кто случайно оказался в задних рядах. Но вот в птичью компанию вклинивается несколько воробьев. Их реакции от природы быстрее, маленькие круглые тела проворнее. Теперь все куски, куда бы они ни приземлялись, достаются только им. Торжество справедливости кажется невозможным. Я с досадой сама доедаю бублик на глазах у отчаявшихся птиц и покидаю пост милосердия.

Мы возвращаемся в наш двор. Бабушка учит меня писать прутиком по земле мои инициалы. Завитушки от букв в моем исполнении становятся все причудливее, разрастаются до самостоятельного орнамента, запутываются сами в себе и наконец

разбегаются бесконечными извилистыми дорожками, забывая смысл породивших их знаков.

К бабушке начинают подсаживаться местные старушки. Обычно бабушка избегает их общества, но сегодня день особый, поэтому любое занятие вне дома приветствуется. Подходит, опираясь на клюшку, и самая старая во дворе баба Лиза ‹меня удивляет, как это у нее может быть такое по-детски несерьезное имя›. Она даже в жару носит войлочные сапожки и пальто.

— Как поживаешь? — спрашивают ее подруги.

— Мне девяносто лет, — сообщает она, хотя все это и так знают. — Какая уж тут жизнь?

Мне тоже кажется, что на этом свете бабу Лизу оставили по ошибке. Как будто поезд уехал, забыв ее на платформе, и она теперь просто коротает время в ожидании следующего.

Я пристраиваюсь на корточках у войлочных ног бабы Лизы, но тут за мной прибегают дети и зовут в другой конец двора, где происходит что-то интересное. Оказывается, Милку из нашей компании наказали, и теперь она, заплаканная, сидит в окне первого этажа, расплющивая нос о стекло.

— Ее сегодня уже не пустят на улицу, — возбужденно сообщают друг другу дети. — Так и будет там сидеть!

Меня одолевает зависть, что Милке вдруг столько внимания. И жизнь у нее теперь как в кино про партизан, которых мучают в застенках. Или как в сказках про принцессу, которую похитил дракон. Хотя какая уж из нее принцесса!

Дети стараются как-то подбодрить наказуемую. Кидают мелкими камешками в окно, облизывают языком раму, высаживают на подоконник муравьев. Но она безутешна. Вскоре интерес к Милке пропадает, и все разбегаются, придумывая на ходу другие забавы.

Самым захватывающим развлечением оказываются звонки в чужие квартиры. Потом нужно быстренько затаиться на соседнем этаже и наблюдать оттуда, как жильцы высматривают виновных. Вскоре мы уже даже не прячемся, а спокойно дожидаемся, когда дверь откроется, и лишь потом с хохотом вылетаем из парадной.

В одной квартире никто не реагирует на звонок, и мы после нескольких попыток готовимся уйти ни с чем, как вдруг на пороге появляется молодая женщина в шелковом халате с длинной шеей и обвязанной махровым полотенцем на манер чалмы головой. Кажется, что мы вызвали ее из другого мира, как пиковую даму, потому что вместо того, чтобы прикрикнуть или пригрозить, она облокачивается спиной о дверной косяк и смотрит сквозь нас утомленными и вместе с тем подернутыми необъяснимым торжеством глазами. Мы медленно расходимся, чувствуя, что попали на этот раз куда-то, куда пока не стоит заглядывать, как в тот поезд, которого с минуты на минуту ожидает баба Лиза.

Вечером в квартире еще пованивает дихлофосом, но сражение уже окончено. Бездыханных клопов выгребают из щелей дивана. На моих глазах прямо в бабушкином совке они превращаются в прах. Под ковриком за дверью тоже горстка трупов. То ли бежали и не успели спастись, то ли вообще из другой квартиры — проползали мимо и внезапно почувствовали себя плохо от вредных испарений. Но пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Смерть сочится, как яд через замочную скважину, пока ее не станет больше, чем жизни.

Бабушка Маня часто жаловалась, что у нее кружится голова. Она придерживала ее рукой, точно пыталась закрепить на месте. Я хотела понять, что она испытывает, и

терпеливо раскручивалась на середине комнаты, пока стены и мебель сами не пускались в хоровод. Оказалось, это совсем не так плохо, когда мир вращается вокруг тебя, а ты только сидишь и смотришь в него, как в калейдоскоп.

Иногда по вечерам я шла играть к соседскому мальчику Грише. Гриша жил с бабушкой и дедушкой. Его мама отбывала срок в тюрьме. Когда-то она работала воспитательницей в детском саду и, сорвавшись, избила одного из детей. Я тщетно пыталась распознать в лице Гриши отпечаток трагедии, но он был на удивление уравновешенным, жизнерадостным ребенком. Неужели и я смогу улыбаться, если у меня заберут мою маму?

У Гриши в комнате стоял старинный патефон, а к нему прилагались какие-то диковинные пластинки в одинаковых белых конвертах с круглыми прорезями посредине, как в пододеяльниках. От прикосновения к игле они шипели и выдавливали из себя бурлящие звуки. Будто записанные на них когда-то голоса томились и просились на волю. Один раз мы нашли пластинку со сколом. Очень хотелось ее послушать. Но как бы ловко мы ни перехватывали иглу, чтобы потом снова опустить по ту сторону пробела, — пластинка безмолвствовала.

В дальнем конце двора, который просматривался только из окон верхних этажей, стоял фонтан с круглым кафельным бассейном. Бабушка не разрешала полоскать в нем грязные руки, чтобы не замутить прозрачную воду, но я все равно тайком опускала туда посеревшие от дворовых игр пальцы и смотрела, как вода, совсем без моего участия, смывает с них налипшие песчинки, словно стягивая вниз отслужившие перчатки.

Однажды во дворе появились какие-то чужие мальчишки. Закатав штаны до колен, они залезли в фонтан и долго шлепали по дну босыми ногами, будто пересекая вброд какую-то реку. Когда они убежали, на поверхности воды еще долго плавали брошенные ими надломленные палочки и обертки от жвачек. Вскоре фонтан сломался: вода поступала внутрь все с меньшим напором, пока стоящий в центре источник не стал похож на подтекающий кран. Теперь бассейн уже открыто использовали как урну, кидая туда окурки, мандариновые корки и трамвайные билеты. Каждое лето мы надеялись, что фонтан починят, но городские власти про него, казалось, забыли. Или, напротив, помнили, что его никогда больше не следует подключать.

Как же быть мне? Что делать? Как очиститься теперь от моей нечистоты?

Апостол

Когда 55 725 627 801 600, зачарованный красотой учения о чистом звуке, только начал интересоваться теоретическими построениями Греля, он даже не представлял себе, что все это обернется сухими математическими вычислениями. Уже несколько недель подряд он почти совсем не имел дела с живыми звуками, анализируя исключительно цифры, которые придавались к камертонам в качестве родословной. И самое удивительное, он не чувствовал, что ему чего-то не хватает. Почти с ужасом 55 725 627 801 600 осознавал взаимозаменяемость любых видов человеческой деятельности и все чаще вспоминал фразу, которой, как он слышал, театральные актеры имитируют гул толпы в массовых сценах: «О чем говорить, если не о чем говорить?» Математика увлекала его теперь не меньше, чем музыка, но когда он отрывался от работы, то понимал вдруг, что и то, и то — всего лишь попытка заполнить какую-то неловкую паузу, создать видимость смысла из ничего. Чтобы избавиться от этого

неприятного ощущения, 55 725 627 801 600 снова склонялся над бумагами, исписанными торопливым, будто с трудом поспевающим за мыслью почерком Греля, и иногда возвращался в реальность только через несколько часов.

Однажды в его кабинет заглянул вахтер.

«Неужели я опять забыл время, — успел подумать 55 725 627 801 600, — и пора уже сдавать ключи?»

Но вахтер хотел что-то другое.

— Вас там спрашивают, — извиняющимся тоном сообщил он.

— Кто ?

— Не знаю. Какой-то человек. Говорит, что он тоже изучает Греля.

55 725 627 801 600 вздрогнул и окончательно очнулся. До сих пор он считал себя единственным специалистом по Грелю в мире. Тема была среди музыковедов слишком экзотической, чтобы от него могли ускользнуть хотя бы минимальные исследования в этой области. 55 725 627 801 600 заподозрил какую-то дурную шутку, но решил сохранять спокойствие.

— Позовите его сюда, — попросил он вахтера, отодвинув от себя бумаги.

— Вы не могли бы выйти к нему сами? — замялся вахтер и, понизив голос, добавил: — От него плохо пахнет.

55 725 627 801 600 растерянно кивнул и, заперев кабинет, в сопровождении вахтера, как под конвоем, вышел на крыльцо. Там его действительно ждал худощавый старик в чересчур коротких брюках ‹проблема, которую он пытался компенсировать высоко натянутыми носками, торчащими из некрепко застегнутых сандалий›. На плечи его была наброшена кофта, то ли проеденная в некоторых местах молью, то ли истершаяся о наждак времени. Под нависшим подбородком, впрочем, сидела наглаженная бабочка с такими острыми краями, что, казалось, о них можно уколоться. В руке он держал сетчатую сумку, в которой поверх горки угольных брикетов лежало несколько растрепанных книг.

— Отойдемте в сторонку, — предложил старик, недоверчиво поглядывая на вахтера.

Они спустились с крыльца, оказавшись на институтской парковке, где едва ли было уютнее. Но старика это не смущало. Казалось, он вообще не склонен был уделять внимание церемониям и заботился только о том, чтобы их никто не услышал.

— Я был тут поблизости в библиотеке, — пояснил гость, забыв представиться, — и решил зайти на вас посмотреть.

— Откуда вы узнали о моей работе? — поинтересовался 55 725 627 801 600.

— О, — усмехнулся незнакомец, — я знаю все, что касается Эдуарда Греля. Ведь я занимаюсь им уже пятьдесят лет.

— Серьезно? — не смог скрыть изумления 55 725 627 801 600. — Из какого вы института?

— Вы мне льстите, молодой человек. Я давно на пенсии.

— А раньше?

— Я всю жизнь проработал в книжном магазине. Знаете, на Райнхардштрассе, рядом с Немецким театром? То есть там сейчас уже совсем другой магазин, но раньше к нам приезжали со всего Берлина... Впрочем, это все неважно и не имеет отношения к Грелю.

— Но вы сказали, что изучали его...

— Да, в свободное от работы время. Вы знаете, не в обиду будь сказано, но Грель всегда недолюбливал профессионалов, тех, для кого искусство — способ заработать на жизнь. Сам он не имел другой профессии и очень сожалел об этом, — старик, ловко вывернув указательный палец, поковырял им в носу. — Музыка никогда не да-

вала ему солидной основы к существованию, но главным его страхом было, что она когда-нибудь станет для него ремеслом. Вот и мне не хотелось делать своим ремеслом музыку Греля, — он многозначительно захихикал.

— Какова тема ваших исследований? — попытался 55 725 627 801 600 сократить разговор. — Над какими аспектами вы работаете?

— Согласитесь, за пятьдесят лет можно охватить все аспекты!

— И к каким результатам вы пришли? Это где-нибудь опубликовано?

— Что вы? Разве я могу доверить свои знания кому попало? К тому же не уверен, что меня поймут.

— Но мне-то вы хотите что-то рассказать?

— Нет, — снова захихикал старик.

— Зачем же тогда?..

— Просто я вижу, что вы бьетесь над проблемой, которую вам никогда не решить. И мне вас жаль! Тем более что все уже давно решено. Мною!

— Что именно?

— Все. Все, что касается Греля. И я шел сюда, чтобы с вами этим поделиться. Но передумал. И знаете почему? Потому что вас это совершенно не интересует! Вы исследуете исключительно самого себя, а о Греле и знать не хотите.

— Откуда такая информация?

— Из того, как вы со мной разговариваете. Спрашиваете о второстепенных вещах, а о главном — ни-ни.

— Так вы же сами не хотите мне рассказывать!

— Я бы рассказал, если бы вы попросили как следует. А так вижу, что вы еще не готовы. Когда убедитесь, что ваши исследования, как ни бейся, не дают результата, тогда приходите ко мне — поговорим.

Он начал копаться в карманах кофты в поисках чего-то и вдруг уронил свою сумку. Несколько угольных брикетов высыпалось наружу. 55 725 627 801 600 наклонился, чтобы помочь их подобрать.

— Спасибо, — сказал старик каким-то другим, более теплым и в то же время совсем слабым голосом. — Сейчас я еще не начал топить, но когда наступят холода, будет поздно. Понадобится столько угля, что не буду успевать таскать его наверх. Поэтому ношу понемножку, когда выхожу куда-нибудь из дому. Так надежнее! Боюсь, печное отопление мне скоро будет совсем не по силам. Надо менять квартиру. Но вы знаете, какие сейчас цены? С моей пенсией уже почти нет надежды на человеческие условия. Разве что пойти выпрашивать себе пособие? Но и на это в моем возрасте нет сил.

Он протянул 55 725 627 801 600 кусочек неровно оторванной, будто откусанной бумажки, на которой размашисто от края до края растянулась цепочка цифр без какой-либо подписи.

— Звоните в любое время, — попросил он. — И желаю успеха! Хотя и не могу помочь вам, пока вы сами кое-что не поймете.

Он пошел прочь какой-то вихляющей, расшатанной походкой, в которой вместе с тем было что-то воздушное, будто сила тяжести не может надежно пришпилить его к земле и он вот-вот взлетит.

55 725 627 801 600 вернулся в институт. Еще по дороге ему показалось, что он несет с собой затхлый стариковский запах, неистребимый даже на ветру. Не глядя он сунул бумажку куда-то между страниц своей записной книжки и опять нагнулся над рукописью, зачем-то раскинув вокруг нее руки, будто защищая с обеих сторон от несуществующих взглядов.

«Чем больше росла моя уверенность в собственных силах на поприще искусств ‹и под этим подразумеваю я не только музыку, ибо прекрасное не знает границ и невозможно преуспеть в компонировании, не развив в себе вкус к живописи или литературе›, тем мучительнее переживалась мною моя материальная несостоятельность. В царстве нот и звуков я был всемогущ, но, поднявшись из-за письменного стола, превращался в жалкое создание, неспособное прокормить себя самостоятельно. Пока одна рука в упоении водила пером по бумаге, другая уже протягивалась в ожидании очередной подачки от начальства или добросердечного вспоможения от родителей. Пост органиста в Николайкирхе приносил не более 160 талеров ежегодно. К этому добавлялись 100 талеров от Королевского института церковной музыки, где я имел одновременно счастье и несчастье получить место преподавателя фортепьяно. «Несчастье», потому что деятельность эта, не давая мне все-таки материальной независимости, изматывала все мои силы и совместно с частными уроками, которые я вынужден был давать в городе, воздействовала на меня губительно.

Отрадой и отдушиной для моего сердца стали занятия с хором гимназии «У Серого монастыря», которую я сам посещал ребенком. Живые голоса залечивали раны, нанесенные ненавистными мне уже с некоторых пор инструментами. В то время гимназическим пением заведовали сменившие Ритчла на посту концертмейстера Эмиль Фишер и Фридрих Беллерманн. По случаю их образовательного путешествия в Италию, отдававшего дань тогдашней моде, я и получил возможность возглавить хор на время отлучки из Берлина этих достойных господ.

Оба моих друга чрезвычайно волновались о состоянии доверенного мне хора и регулярно справлялись о ходе репетиций в письмах, которые приходили ко мне то из Рима, то из Болоньи. В этих письмах содержались и весьма прозорливые замечания об итальянской музыкальной жизни, интересовавшей нас всех тогда чрезвычайно. Мои коллеги были, впрочем, более чем сдержанны в своих отчетах о стране, почитаемой многими за музыкальную Мекку. Фишер и Беллерманн при всем своем откровенном желании не могли сообщить на родину ничего, что подтверждало бы эту славу. Хотя под итальянским солнцем несомненно и зреют замечательные певческие голоса, большинство из них требует серьезной шлифовки, с чем мы в Германии справляемся значительно лучше. К тому же мои дорогие друзья с прискорбием отмечали тот факт, что по мере удаления от немецкой границы оркестры играют все хуже. Однако легкомысленные оперы Россини, конечно, более всего на месте именно в итальянских театрах. ‹...›

24 февраля 1824 года я завершил работу над ораторией «Апостол Павел», текстом которой я обязан нашему гимназическому учителю родной словесности, который оказался очень неплох в стихосложении. В основе оратории лежит всего один эпизод из биографии Павла, всегда казавшийся мне, впрочем, наиболее знаменательным. Начинается все с хора первых христиан, оплакивающих смерть святого Стефана, замученного по приказу Павла, тогда еще носившего имя Савла. Особый эффект достигается отсутствием увертюры: хор вступает сразу, мгновенно перенося слушателей в древнюю Палестину. Далее члены общины утешают друг друга в отдельных ариях и обещают продолжить дело Стефана после его смерти. Их прерывает речитатив еще не прозревшего Павла, который стыдит христиан за преклонение перед погибшим на кресте «крамольником» (имея в виду не кого иного, как Господа нашего Иисуса Христа). Его поддерживает хор иерусалимских первосвященников, обвиняющих Христа в предательстве законов праотцов. В первой части примечателен также напоминающий по форме продолжительную фугу пятиголосый хор христиан «Цари земли встают плечом к плечу», за которым следует гневная ария Савла, уступающая в финале место христианам с их хором «Боже, дай нам силы».

Во второй части оратории мы видим Савла и его подчиненных уже на пути в Дамаск. Савл заходится гневным речитативом, в котором он клянет христиан и грозит им местью. И тут перед ним возникает видение Христа. Оркестр вступает со всей своей мощью, в то время как ослепленный Савл оседает на землю со словами: «Боже, что за блеск! Колени гнутся, я сражен!» В этот момент из уст Савла вдруг начинает литься голос самого Христа, наполняющий его изнутри: «О Савл, зачем со мной воюешь?» Далее идет удивленный хор соратников Савла, не понимающих, какая сила вселилась в их строгого начальника. Его сменяет благословляющий Иисуса хор христиан, частью которого теперь становится воскресший для новой жизни Павел. Эти песнопения прерываются лишь единожды хором евреев, проклинающих Павла, и кульминируют в финале в оде Вечному Свету. <...>

В 1829 году в связи с реформой евангелической церкви нашему монарху Фридриху Вильгельму III для дворцовых богослужений понадобился хор, состоящий из отборных мужских и юношеских голосов и соответствующий самым высоким певческим стандартам. Генерал фон Витцлебен вошел по этому поводу в сношения с директором Певческой академии Цельтером, которому и было поручено провести подготовительную работу по учреждению хора, имея в виду, что последний, помимо королевских литургий, планировалось задействовать и для общедоступных богослужений в Прусской государственной церкви.

Цельтер подошел к делу со всей надлежащей ответственностью, опубликовав в трех наиболее читаемых городских газетах объявление следующего содержания: «Отроки хорошей телесной конституции, обладающие выразительным сопрано или альтом, приглашаются для безвозмездного обучения с последующим зачислением на работу к королевскому профессору Цельтеру в Певческую академию». Это объявление размещалось с интервалом в одну неделю еще в двух последующих номерах, в результате чего к прослушиванию явилось 144 мальчика от 8 до 16 лет, из которых были избраны наиболее одаренные. Мужские голоса рекрутировались из солдат расположенных в Берлине гарнизонов — разумеется, и тут шанс попасть в хор был только у лучших из лучших.

Цельтер, перешагнувший уже на тот момент семидесятилетний рубеж и по-прежнему загруженный до предела профессиональными обязательствами в академии, должен был исполнять при хоре скорее роль патриарха, цементирующего еще только нарождающийся коллектив своим неколебимым авторитетом. Руководство же хором Цельтер собирался как можно скорее передать одному из своих учеников. Не могу сказать, что я был особенно удивлен, когда выбор пал на меня, однако торжественность момента и осознание возложенной на мои плечи ответственности пронзили нас обоих так, что мы впервые в жизни упали друг другу в объятия. До сих пор помню мокрый след от его щеки, отпечатавшийся у меня на сюртуке.

Формальные соображения, однако, требовали, чтобы прямым начальником хора, в состав которого входили голоса из солдатского сословия, был назначен военный офицер, что и произошло в лице капитана, а позже майора Айнбека. Айнбек, не лишенный музыкального дарования и служивший в свое время фаготистом сначала во французской, а затем и прусской армии, обещал, однако, как можно меньше вмешиваться в ход репетиций и осуществлять лишь общий надзор за состоянием хора. Впоследствии нас даже связывала нежная дружба, хотя этот старый вояка иногда и подтрунивал над моим абсолютным невежеством в военных делах. <...>

Вопреки напутствию Цельтера, настаивавшего на фортепьянном сопровождении хоровых занятий, я вскоре полностью отказался от инструментов во время репетиций. Неожиданно меня подержал в этом мой милый коллега Айнбек, которому еще памятны были военные годы, когда он наставлял солдат в хоровом пении в тяжелых

походных условиях, не имея возможности прибегнуть к помощи аккомпанемента, представлявшемся ему с тех пор неоправданным излишеством. Отдавая дань педагогическому энтузиазму Айнбека, вынужден, однако, заметить, что в более-менее стихийно сложившемся хоровом коллективе, где выдающиеся голоса соседствуют с просто талантливыми и, наконец, посредственными, обучение без инструмента представляет собой вынужденную меру и тяжелое испытание для концертмейстера, стремящегося любой ценой внести хоть какой-то порядок в вавилонскую сумятицу. Что же касается занятий с отборными, идеально послушными голосами, доверенными мне Цельтером, то здесь использование инструмента может принести больше вреда, чем пользы, ибо человеческое ухо воспринимает интервалы в их безупречной чистоте, в то время как фортепьяно с его равномерной темперацией способно передавать их лишь с приблизительной точностью, что неизменно ведет к огрублению слуха. <...>

Работа с новым хором требовала от меня большой выдержки и дисциплины, к которым не был я до сих пор привычен в такой мере. Тем не менее, оглядываясь назад, я считаю этот период одним из значительнейших и удовлетворительнейших во всей моей жизни, ибо едва ли кто-то мог вынести из этих уроков столько полезного, сколько я сам. Все яснее вставали передо мной строгие музыкальные принципы Палестрины и других великих композиторов XVI века, представляющиеся многим моим современникам смирительной рубашкой, сковывающей подлинную творческую экспрессию. Мой опыт, однако, подтверждает прямо противоположное: эти правила не только не устарели в наше время, но и должны быть приняты за фундамент любого композиторского мастерства до тех пор, пока на свете существует многоголосие. <...>

Но как же уничтожить несуществующее? (зачеркнуто)

Как-то в одну из сред, когда мы с майором Айнбеком покидали зал после очередной репетиции, майор сделал мне доверительное сообщение о том, что высокопоставленные лица чрезвычайно довольны моей работой и, судя по всему, скоро следует ждать приказа о расширении хора до 60 голосов. Соответствующие изменения должны произойти и в моем жалованье, которое планируется поднять до 400 талеров в год. Приближались рождественские праздники, однако долгожданный приказ все не поступал. Наконец 16 января 1843 года я подписал у Айнбека заявление о готовности вступить в новую должность, после чего немедля занялся подбором свежих голосов.

17 марта мы с майором отбыли в Лейпциг с целью ознакомления с устройством и достижениями знаменитого хора мальчиков при Томасшуле и перенять у коллег драгоценный опыт. К моему глубокому сожалению, однако, вынужден я был вскоре констатировать, что исполнительское мастерство хористов лишь отчасти соответствовало репутации этого певческого института и едва ли оправдывало вкладываемые в него средства. И хотя усилие производить чистый звук, бесспорно, было заметно, однако же многое (практически всё) оставляло желать большего. При исполнении Баха чистота звучания устанавливалась лишь на определенном расстоянии от хора — эффект, который мы вполне могли оценить во время концерта в просторном зале собора. Значительно полезнее было бы все же, если бы хористы были приучены, упражняясь в маленьких помещениях, уже там достигать максимальной гармонии и полноты звука. Тогда вместо того, чтобы сглаживать огрехи, церковные своды могли бы только дополнительно украсить и без того совершенное пение, доведя его практически до ангельской непогрешимости.

Таким образом наша командировка едва ли могла обогатить нас примерами, достойными подражания, тем не менее в остальном пребывание в Лейпциге, о котором сохранил я еще юношеские воспоминания, оказалось для меня весьма приятным. Поездка по железной дороге из Берлина длилась всего каких-нибудь семь с полови-

ной часов, что даже на меня, небольшого поклонника технического прогресса, произвело более чем выгодное впечатление. Поразительно было только то, что это чудо техники доставило нас не куда-нибудь, а в прошлое, существующее здесь, впрочем, на совсем другом положении, чем в Берлине, где новое постоянно пребывает в борьбе со старым. В Лейпциге же никому не придет в голову вытеснять старое новым. Наоборот, они уживаются бок о бок, подпирая и поддерживая друг друга, как в той усадьбе, где к деревянному забору на моих глазах пристраивали каменные ворота. Было поэтому нечто закономерное в том, что именно здесь встретил я человека, которого не надеялся уже увидеть живым — знаменитого Хауптманна, учителя моего покойного друга Курчманна. Хауптманн принял меня в бывшей квартире Себастьяна Баха, которую он теперь занимал, и с интересом выслушал рассказ о берлинской музыкальной жизни, в особенности о Певческой академии, где, как ему казалось, он всех знал — но, увы, только лишь в составе тридцатилетней давности.

Вернувшись в Берлин, мы с Айнбеком тут же посвятили себя работе. Новый хор репетировал ежедневно по два часа в Кафедральном соборе. Разумеется, в соответствии с моими принципами, известными уже начальству, к инструментальному сопровождению мы не прибегали — ни во время репетиций, ни во время концертов. Исключением стали лишь празднества в честь тысячелетия Верденского договора, в ходе которых по приказу его величества Фридриха Вильгельма IV наш хор для усиления эффекта получил «подкрепление» в виде 23 скрипок, 5 контрабасов, органа и 4 труб. Однако на это вполне можно было закрыть глаза, учитывая, что грохот пушек, салютовавших в тот же момент на площади перед собором, все равно сводил на нет все музыкальные усилия.

К счастью, этот исключительный эпизод так и остался единственным в истории нашего хора и не успел возыметь разрушительного воздействия на умы и голоса хористов. Намного досаднее и опаснее было появление в городе Феликса Мендельсона Бартольди, призванного в Берлин в качестве генерального музыкального директора и получившего разрешение задействовать кафедральный хор по своему усмотрению. Я не вмешивался, избегая бессмысленных конфликтов, однако при виде того, что вытворяет господин Мендельсон с обученными мною певцами, сердце мое обливалось кровью.

На первой же репетиции стало понятно, что существуют серьезные расхождения между оркестром и органом, который в последний раз настраивали во время ремонта церкви тридцать лет назад, когда оркестры еще не играли на таких истерических высотах. Примечательно, что никто из концерт- или капельмейстеров уже не помнил, где хранится камертон, в соответствии с которым производилась настройка. Это, впрочем, не смутило Мендельсона, давшего приказ органисту попросту играть на полтона выше, подавляя при этом мои лучшие голоса и доводя их чуть ли не до хрипа. О какой гармонии и красоте звука может идти речь там, где тончайшая ювелирная работа заменяется несколькими взмахами резца!

Надо ли говорить, что все мы вздохнули с облегчением, когда господин Мендельсон снова покинул Берлин, оставив мне вместо хора расстроенную руину, которую предстояло по камушкам заново сложить в прекрасный замок».

Наслаждение

Бабушка Лиля рассказывала, что незадолго до смерти папа начал зарабатывать. Деньги небольшие, но важно, что занялся делом, вдруг почувствовал себя нужным. А то ведь сиднем сидел, как Илья Муромец, с той самой аварии, которую показали тогда по телевизору в программе «600 секунд»: водитель лежит с закрытыми глаза-

ми, придавленный остатками служебного грузовика. Сюжет на какую-нибудь минуту или меньше. А водителем был он.

За руль сел, потому что любил читать. А потом думать над прочитанным. Пока машину разгружают, пока листают накладные, пока снова загружают — сиди себе с книгой на коленях, как на даче в беседке, никто не беспокоит. А когда наконец тронулся, то все уже на автомате: руки на руле, голова в тридевятом царстве. Мысль движется плавно, как колеса по шоссе. Так до вечера и не выходишь из текста.

После аварии не сразу понял, где он: оказалось, что отсутствовал шесть дней: лежал в коме. Воскресение из мертвых проходило мучительно: пришлось заново учиться ходить, говорить, хотя идти было некуда, а говорить не с кем. Поэтому остаток жизни потратил на то, чтобы опять все забыть и уйти навечно — уже с гарантией.

Но под конец каким-то чудом нашлась-таки работа по душе. Может быть, благодаря ей он и держался этот последний год. Чувствовал, что не все предназначенное еще исполнил. Причем ведь не просил, не обивал ничьи пороги. Знал, что если надо, оно само придет — не прогонишь. Включил как-то утром телевизор и для интереса так прошелся настройкой по неосвоенным частотам — не поймается ли что новенькое. Эту процедуру, впрочем, повторял он, как молитву, каждый день. Иногда даже чего-то и вылавливалось: канал рекламы кухонных приборов из Эстонии, виды Альп с прогнозом погоды на лыжных курортах, ток-шоу с участием народных целителей нон-стоп. И каждый раз это было как жалкая подачка, как насмешка над его обострившимся до страсти желанием успеть еще познать что-то новое, распахнуть напоследок какую-то важную дверцу.

А в то утро он впервые за долгое время увидел на экране живых людей. Они держались совершенно естественно и говорили нормальными фразами. Иногда, конечно, было не совсем понятно, потому что на английском, но речь текла бойко, как бы сама по себе, так что не возникало чувства, что им всем, как леденец, вложили в рот чужие слова. Потом они стали раздеваться, и это тоже произошло как-то очень просто, по-домашнему, будто у таких хороших людей не могло быть друг от друга никаких секретов. Они спешили нести добро, делать приятное — не только в своем узком кругу, но и для тех, кто наблюдал за ними в этот момент. Недаром героиня не забывала то и дело поглядывать на находящегося по другую сторону экрана отца расширенным тушью глазом и даже подвигала к нему поближе набрякший от поцелуев сосок.

Может быть, это была случайность или техническая ошибка, но канал работал бесперебойно и круглосуточно, будто компенсируя человечеству отобранный когда-то рай. Впрочем, кроме отца, появления нового канала вроде бы никто не заметил. Он осторожно навел справки: никаких открытий в доме не делали. Все ходили понурые, как всегда.

Рассказать им все сразу было бы слишком просто. Да они бы и не оценили. Еще и высмеяли бы. Типа, нас это не интересует, есть дела и поважнее! Для начала следовало разобраться во всем в одиночестве, а потом, если понадобится, нести это знание дальше, по крупицам. Вскоре отец сам, без помощи отсутствующего телетекста, составил приблизительную сетку вещания. Он знал уже, в какое время ждать стриптиз, кастинг новых моделей или ретросеанс. Райское блаженство получило свою структуру и не казалось уже таким безграничным, зато стало более предсказуемым, и исчез страх, что все может вдруг закончиться.

На день рождения он пожелал себе новую видеоаппаратуру. Теперь осваивать канал стало еще проще. Любимые передачи записывались и архивировались. Один раз ему, правда, стало не по себе. Он прокручивал запись какого-то фильма из семидеся-

тых. В главной роли негритянка, загримированная под подростка, но только выше подбородка, а то, что ниже — уже от взрослой женщины, будто чужое лицо подсунули в безголовый портрет с прорезью. Нажал на кнопку «стоп», чтобы достать сигареты, и похолодел: весь экран занимала бездна — черная, засасывающая, приоткрывшаяся специально для него и выставившая напоказ, как язву, свою зияющую пустоту. Можно ли заглянуть еще глубже и удержаться на краю? Он поскорее «разморозил» изображение, и бездна затерялась между другими кадрами. Но осталось ощущение, что она где-то рядом, лежит в кустах и подкарауливает, как лев Самсона.

Коллекция меж тем росла, и однажды, подъехав на коляске к ларьку у метро, он ради интереса спросил: а есть ли у вас такой-то фильм? Оказалось, что нет. И другого не было, и третьего. А хотите? Ему заказали несколько записей на пробу, остались очень довольны качеством, просили еще. Платили, конечно, копейки, зато дело свое он знал и делал безупречно. С выручки, бабушка рассказывала, всегда покупал конфеты — ей или Зине. Говорил, что и себе понемногу откладывает: есть у него тайничок внутри палки, на которую опирался, передвигаясь по квартире. После его смерти пытались эту палку вскрыть — не смогли. Взяли инструмент, распилили, а палка внутри оказалась пустая. Значит, все, что мог, отдал другим.

Оставшиеся диски с фильмами вынесли на помойку — ни Зина, ни бабушка не знали подхода к ребятам из ларька. Слух о порнографическом канале распространился по дому, но поймать его уже не могли. Вероятно, он исчез в ту ночь вскоре после похорон, когда внезапно налетевший ураган покорежил антенну так, что и другие программы потом долго еще не могли восстановить.

Теперь, проводя дождливые вечера в бывшей комнате отца, 70 607 384 120 250 пристрастилась к православному телевидению. По успокоительному воздействию мало что могло конкурировать со складными увещеваниями священников, напоминающими обращенные к самой себе монологи еврейской бабушки, когда она думала, что ее никто не слышит. И новости там были только хорошие: «Святые чудотворные мощи привезли на улицу Розы Люксембург...» 70 607 384 120 250 засыпала с мыслью о мощах, которые путешествовали от улицы к улице, оставляя повсюду след из сотворенных чудес, и просыпалась каждый раз в чуть улучшенном мире, будто за ночь в нем провели косметический ремонт.

Когда дожди окончательно прекратились, а лужи подсохли настолько, чтобы она смогла надеть выходные туфли, 70 607 384 120 250 пошла на балет. В Мариинке уже закончился сезон, зато в Александринском гастролировала труппа из Москвы. Каждый вечер шло «Лебединое озеро», и 70 607 384 120 250 даже обрадовалась, что перед ней не стоит проблема выбора. Она любила, когда решения спускались к ней сами собой, как акробаты по шесту. Только это одно и давало ощущение легкости жизни.

До начала представления оставалось немного времени. 70 607 384 120 250 обошла фасад театра и, ощущая себя прихожанкой в храме, ступила на улицу Зодчего Росси, где не была с самого отъезда. Ничего тут, конечно, не изменилось. И не могло! В Вагановском училище еще шли занятия. Двойные окна не пропускали ни звука, поэтому казалось, что танцоры двигаются в трансе, отрешенные от окружающей действительности. Как бы одалживая свои тела для загадочного культа, они вставали на носки и тянулись к невидимому богу солнца. Но потом вдруг что-то в них обрывалось, и они шлепались на всю ступню, подпирая себя сбоку руками, чтобы совсем не осесть на землю. Одна из балерин с опущенными плечами остановилась прямо у окна. 70 607 384 120 250 заметила у нее на рейтузах дырку и тут же, устыдившись своего открытия, отвела глаза.

Она вспомнила, как мечтала в детстве об этом училище. Как стояла на коленях перед телевизором, когда там шла программа «Встреча с Терпсихорой» и на экране, как сказочный серпантин, раскручивалось очередное па-де-де.

— Я умру, если не стану балериной, — объясняла она удивленным гостям.

— Ну и капризы! — качали они головами. — Да ты представляешь себе, как это тяжело? Как это безумно тяжело?

— Но это же так красиво! — ее пальцы, вопреки строжайшему запрету, скользили по экрану вслед за порхающими ногами Сильфиды.

— Так и смотри себе на здоровье, если красиво! Наслаждайся!

Неужели они не понимали, что красотой невозможно наслаждаться на расстоянии? К ней нужно быть причастным каждую секунду — слизывать языком, втягивать губами, колоть себе прямо в вену. Иначе жизнь теряет смысл.

К театру 70 607 384 120 250 вернулась чуть ли не в последнюю минуту. Звонки было слышно уже с крыльца. Билетерши действовали сосредоточенно и быстро, распределяя зрителей по своим местам, как раненых по палатам. К ней обратились на английском. В публике действительно почти не было русских — к этому, наверное, привыкли.

70 607 384 120 250 поднялась на второй ярус, и как только она нашла свое кресло, в зале погас свет. Из-за кулис, как бы второпях, выбежали нарядно одетые крестьяне, чтобы серией танцев отметить совершеннолетие принца Зигфрида. 70 607 384 120 250 смотрела на сцену и ничего не чувствовала. Она знала, что это скоро пройдет: «Лебединое озеро» начиналось для нее со второго акта, когда Зигфрид отправлялся на охоту и все вокруг него вдруг становилось белым от балетных пачек. Как мог он с первого взгляда выделить среди других лебедей Одетту? Как могла она мгновенно довериться ему и позволить носить себя на руках, как трофей, через всю сцену? Наверное, это и есть любовь, когда даешь переставлять себя с место на место, не отличая его движений от своих.

70 607 384 120 250 не сразу заметила, что за ней наблюдают. Но когда заметила, почему-то сразу приняла этот взгляд как должное. Будто все остальные в зале ошибались, уставившись на сцену, а он вдруг взял и нашел правильное направление. Иногда он, конечно, отвлекался на танцующих, но потом снова возвращался к ней, и если это происходило недостаточно быстро, то ей становилось досадно.

Наблюдающий был юношей лет двадцати. Скорее всего, итальянец. Почему она тогда сразу подумала об Италии? Наверное, потому что он напомнил ей портрет молодого Пьетро Бембо, который она видела когда-то в Будапеште в зале Рафаэля. И потом 70 607 384 120 250 уже не могла воспринимать их раздельно — портрет и реинкарнацию.

Рядом с юношей сидела пожилая ухоженная пара — родители или, скорее, бабушка с дедушкой. Или все-таки родители? Поздний, залюбленный, избалованный ребенок. К тому же красивый. Такой, что ни у кого никогда не могло возникнуть на этот счет вопросов или сомнений. Интересно, как живется с такой красотой? Как в раю? Или, напротив, все вокруг кажется по контрасту таким уродливым, что жизнь превращается в ад? Потому, видимо, и не придает особого значения происходящему на сцене, что вечная охота за прекрасным ему незнакома.

Начался антракт. Юноша повернулся к старикам и заговорил с ними по-английски. Значит, все-таки не итальянец? 70 607 384 120 250 вышла в фойе, спустилась на этаж ниже, чтобы посмотреть выставку театральных костюмов, вернулась назад и опять увидела его. Он стоял с бокалом в руках и объяснял что-то своим пенсионерам, глядя в программку. Потом вдруг поднял на нее глаза и улыбнулся. Такая улыбка почти равняется поцелую или укусу — неожиданному, из-за угла. В ложе, когда все

снова рассаживались по местам, он только пару раз бегло взглянул на нее: его отвлекала старушка, которая непременно хотела изложить ему все, что думала об интерьере зала. Юноша терпеливо кивал, вставляя по ходу дела какие-то замечания, и 70 607 384 120 250 подумала, что, вероятно, не такой уж он избалованный сын или внук и что можно было бы вести себя по отношению к старикам чуть понезависимее.

Люстра начала гаснуть, в этот раз почему-то особенно медленно. 70 607 384 120 250 наблюдала за тем, как на его профиль постепенно ложится тень, и почувствовала даже необъяснимое удивление от того, что это лицо подчиняется тем же физическим законам, что и все остальные.

Во время второго акта она дала себе слово не отвечать на его взгляды и даже не проверяла, продолжает ли он на нее смотреть. К тому же ее увлекла сцена с Одиллией, когда принц из всех предложенных ему девушек, специально прибывших во дворец с делегациями из разных стран мира, выбирает одну-единственную, которая является точной копией его возлюбленной. Конечно, с точки зрения сказки это измена, но на самом-то деле разве можно придумать лучшее доказательство верности, чем во второй раз полюбить те же самые черты, пусть и совсем в другом существе?

Когда снова начался антракт, 70 607 384 120 250 осталась на своем месте, углубившись в программку, которую и так уже знала почти наизусть. Она хотела дать прекрасному юноше время исчезнуть из зала незаметно, как наваждение, но он, напротив, возник прямо перед ее креслом.

— Вы меня не узнаете? — спросил он на чистом русском.

— Нет, — она так удивилась, что даже не попыталась приподняться.

— Я был три года назад на вашем семинаре о советском кино.

— Три года назад — это же целая вечность! Впрочем, мне кажется, я бы все равно вас запомнила...

— Я сидел на последнем ряду. И у меня тогда была другая прическа... Вы продолжаете преподавать?

— Нет, я уже почти год как совсем не живу в России.

— Я тоже два года учился в Манчестере. Вернулся только несколько месяцев назад. Теперь работаю.

— Где?

— В одной фирме. Они организуют индивидуальные экскурсии по городу для иностранных туристов — знакомство с достопримечательностями, культурной программой... Но это временно!

— Значит, вы здесь с клиентами?

— Да, — он засмеялся открыто и в то же время с каким-то вызовом. — Мне сейчас надо вернуться к ним. Но после спектакля я только посажу их в такси и буду свободен. У вас есть какие-нибудь планы?

— Идти домой, наверное, — она выразительно взглянула на часы.

— Вам на метро?

— Да.

— Мне тоже, — юноша опять улыбнулся, будто договоренность была достигнута, и вернулся к дожидавшимся его иностранным гражданам.

Третий акт был ее любимым. Ей нравилось, как лебеди, заламывая руки-крылья, в отчаянии разлетаются по сцене, как Одетта в танце судорожно цепляется за потерянного уже навеки Зигфрида, одновременно отталкивая его от себя, как наконец злой коршун-волшебник погружает все во тьму и безысходность. Но на этот раз в тумане, накрывшем с головой влюбленную пару, ей померещилась вдруг какая-то надежда. Будто кто-то стер с доски неправильно решенную задачу и дал ученику мел, чтобы тот написал все заново, красиво и без ошибок.

Юноша стал пробираться со своими старичками к выходу, когда зал еще заходился от аплодисментов. На ходу он успел бросить ей: «Не уходи! Жди меня снаружи!» 70 607 384 120 250 стало весело: вот так теперь, оказывается, принято разговаривать с бывшими преподавателями!

Она думала, что он перешел на «ты» от волнения, но когда они снова встретились на улице, он и не подумал исправиться:

— Тебе на какое метро? Восстания или Гостинку?

— Любое. Проведешь со мной индивидуальную экскурсию? Ведь я здесь теперь тоже почти что туристка.

— Обязательно. Правда, сейчас все равно ничего не видно. Хотя...

Они обошли Александровский скверик и оказались возле небольшой группы уличных художников, которые при свете импровизированных прожекторов предлагали прохожим увековечиться на портрете.

— Я люблю иногда смотреть, как они работают, — пояснил юноша.

— Мне, честно говоря, было бы страшно отдаться в их руки, — сказала 70 607 384 120 250, глядя на пришпиленные бельевыми прищепками к ограде лица, похожие между собой чем-то неуловимым, как дальние родственники, у которых имеется один и тот же генетический дефект.

— А это тебе нравится? — спросил юноша, показывая на девушку, изображенную, в отличие от всех остальных, в профиль с откинутой назад головой, полузакрытыми глазами и ртутью разлившейся по лицу улыбкой. — Мне кажется, что это из личной коллекции художника. Так позировать невозможно. Он должен был дождаться момента.

— Какого момента?

— Момента наслаждения, конечно. Который длится всего несколько секунд или, может быть, минуту. И надо успеть поймать его, запомнить, зарисовать... Ты понимаешь?

— Да, кажется.

— По большому счету в других ситуациях человека не стоит и изображать. Потому что только такие моменты и оправдывают его существование. А остальное — просто ожидание, заполнение пауз.

— Некоторые женщины этого вообще никогда не испытывают, — сказала она, внимательно разглядывая рисунок. — А некоторым и этого недостаточно. Катастрофически недостаточно. Их удовольствие, как смерть Кощея, на конце иголки. А где та иголка, в каком стоге сена ее искать — никто не знает.

Роды

Пулеметчика звали Пауль. Сегодня в его руках непривычно легко лежала винтовка. Он достал походную фляжку и влил в себя уже далеко не первую за день порцию коньяка. Хотя вокруг было много начальства, никто не обратил на это внимания. Все заметно волновались. Даже комиссар Рейндл шагал взад и вперед в опасной близости от края ямы и, нервозно жестикулируя, объяснял что-то лейтенанту Райху.

Коньяк наконец подействовал. Теперь Пауль не испытывал почти ничего, кроме покоя и покорности судьбе. Приближающаяся с разрывающими перепонки воплями колонна вдруг показалась ему похожей на табор приплясывающих и поющих на ходу цыган. Стало даже весело.

Рядом с ним крутился Дитрих из районной канцелярии, наводя тоску своей распухшей от бумаг папкой, которой, кажется, очень гордился. До конца войны он явно рассчитывал отвоевать себе постоянное место в штабе, а потом уже до пенсии мирно

просиживать штаны в каком-нибудь кабинете. Пауль служил в элитных подразделениях не ради карьеры и искренне презирал тех, кто видел свою доблесть в реверансах перед начальством. Он знал, что после войны для него уже, скорее всего, ничего не будет и что именно здесь он должен дать свой решающий бенефис, получив пропуск в вечность.

Колонна подошла уже так близко, что можно было разглядеть искаженные криками лица. Каких нечеловеческих усилий стоило конвою удерживать всех в строю! В сравнении с этим его работа могла считаться просто курортом!

Дитрих развернул свои бумажки и достал штабной карандаш.

— По пять — помнишь, да? — шепнул он Паулю с какой-то неприятной покровительственной ноткой. — Только по пять! И подождать, пока разденутся!

Дитрих был слишком озабочен выполнением приказов, чтобы ощущать великую трагику момента, которую очень хорошо чувствовал Пауль, даже сквозь коньячное головокружение. Это как роды для женщины, когда льется кровь, но в муках рождается что-то новое. Только, конечно, в другом масштабе. То есть даже смешно и сравнивать!

Яма была примерно двенадцать шагов в длину и шесть в ширину, глубиной всего-то около полутора метров. Пауль стоял над ней со стороны Каменца-Подольского, там, где вниз вел специально проложенный спуск. Люди, остановленные часовыми в пятнадцати или двадцати шагах от края, обезумели от ужаса, что, впрочем, не мешало им продолжать кричать. Солдаты были бы рады прекратить или хотя бы приглушить эти вопли, но тут уже ни ружья, ни удары кулаков не помогали. Некоторые из обреченных изо всех сил запрокидывали назад головы, будто надеялись еще в последний раз докричаться до кого-то наверху. Другие пытались бежать. Их расстреливали, как только они выбирались за кордон.

Вой стоял такой, что отдавать приказы голосом было бессмысленно. Солдаты, конвоировавшие колонну с переднего края, стали срывать одежду с тех, кто стоял ближе к спуску. Остальные в панике сами начали раздеваться, почти с остервенением отбрасывая от себя узелки с захваченным из Старой Ушицы имуществом. Некоторые пытались еще что-то отыскать в личных вещах, рвали напоследок письма и фотографии, будто сами помогали рейху стереть с лица земли даже и воспоминание о своем существовании.

Подоспело подкрепление в виде дополнительного кордона, сжавшего подготовленных к ликвидации в тесную группу так, что к яме образовалось что-то вроде живой очереди. Пауль чувствовал, что все внимание — и начальства, и обреченных — теперь направлено на него. Он возвышался над ямой, стоя на небольшой насыпи с будто вросшим в его ладони стволом и понимая, что эти минуты, вероятно, самые прекрасные и величественные в его жизни. Суетящийся рядом Дитрих, до последнего напряженно водивший пальцем по какому-то документу, выглядел теперь рядом с ним просто пигмеем! Да и офицеры совсем притихли, отошли в сторонку и, спрятав руки в карманах плащей, наблюдали за происходящим, как бы добровольно уступив Паулю главную роль.

Первую партию из предписанных в инструкции пяти человек подтащили к яме почти силком. Пауль, ощущая в себе невиданное присутствие духа, дождался, пока их доведут до самого дна и пинками сапог уложат, как полагается, лицом вниз. Только тогда он накрыл уже практически погребенные тела прицельными выстрелами, приятно отозвавшимися в суставах.

Казалось, только сейчас люди осознали весь ужас своего положения и возопили так, что среди конвоиров на мгновение возникло замешательство. Понадобилось несколько минут, прежде чем ликвидация смогла продолжаться. Зато теперь уже

практически без помех и серьезных инцидентов. Как только порядок процедуры был уяснен, управлять людьми стало легче. Многие почти добровольно заходили в яму, подгоняемые только легкими пинками. Некоторые, проходя мимо Пауля, пытались выкрикнуть в его адрес что-то обидное. Счастье, что он не имел интереса к языкам и все местные наречия сливались у него в нечленораздельное бормотание, которое невозможно было принимать близко к сердцу. Но одна девушка, захлебывающаяся от рыданий так, что и сказать-то ничего не могла, вдруг плюнула ему прямо на начищенную пуговицу. Эта выходка вдохновила нескольких ее товарищей, которые, спускаясь в яму, успевали плюнуть в него, иногда и по два раза. Пауль ждал, пока очередная пятерка будет ликвидирована, и лишь потом стирал с себя плевки, как пот.

Когда все дно ямы было заполнено, людям стали приказывать ложиться на остывающие тела предшественников. Это не вызвало особого протеста. Некоторые семьи, однако, ни за что не хотели разлучаться, и у конвоиров никакой силой не получалось разбить их на предписанные пятерки. Тогда Пауль ликвидировал сразу по семь или даже десять человек. Дитрих качал головой и во избежание проблем с отчетностью трусливо ставил в своих бумажках пять галочек.

Некоторые пожилые люди, по-видимому, тронувшиеся умом, входили в яму безропотно, как в бассейн. Оказавшись внутри, они никак не могли понять, чего от них хотят, и, только ослабев от сыпавшихся на них ударов до такой степени, что не могли уже стоять на ногах, в конце концов падали, автоматически принимая нужное положение.

Мальчик лет пяти побежал в яму впереди своих родителей, будто его там ждало что-то интересное.

Я почувствовала, как охваченное мурашками тельце плюхнулось на меня сверху, и открыла глаза. «Никто не ожил, и ничто не ожито», — кружилось у меня в голове спросонья. Но откуда тогда взялась я? И откуда исходит это дыхание, задевающее какую-то потаенную струну в матрасе, которая каждый раз жалобно постанывает на выдохе?

За окном что-то вроде рассвета: через немытые дачные рамы все равно невозможно толком разобрать. Бабушка Маня умерла в прошлом году, и теперь я встаю раньше всех в доме. За мной присматривают наши друзья с дочкой примерно моего возраста, которые за это могут хоть все лето пользоваться дачей. Ранний подъем для них наказание. Поэтому по утрам я часто лежу без сна в постели и придумываю мир заново.

В остальном они, как мне представляется, идеальная семья. Отец — подпольный писатель, работает где-то условно, лишь бы не привлекли за тунеядство. Мать — портниха-надомница, даже в отпуске постоянно что-то кроит, вяжет и бегает за дочерью и мужем с примеркой. Дочь — капризная девочка с замашками принцессы.

По вечерам отец семейства долго не спит, прикладывая ухо к приемнику, по которому прямо из Америки должны передать его рассказ. Но вместо этого под змеиное шипение глушилок передают обращение какого-то митрополита, который, что меня удивляет, говорит правильным русским языком без оканья и архаических междометий. Трудно представить его в рясе и с тяжелым крестом на шее! Впрочем, на «Голосе Америке» у всех одинаковая, какая-то особенно доверительная интонация. В Советском Союзе так разговаривают разве что в передаче «Вокруг смеха».

Днем папа-писатель играл сам с собой в шахматы и отстраненно, как оракул, отвечал на наши философские вопросы.

— Правда ли, что в нашей стране живется лучше всех? — интересовалась его дочка Леночка.

— Детям, может быть, — говорил он, задумчиво поглаживая ладью.

— А взрослым? — допытывались мы.

— Взрослым везде плохо, — произносил он наконец, делая ход.

Леночка плакала от страха, а мама, оторвавшись от вязания, прибегала с веранды вытирать ей нос.

Потом была моя очередь придумывать вопрос:

— Есть на свете Бог?

— Смотря какой.

— Скажите, какой точно есть.

— Я могу сказать, какого точно нет. Нет доброго дедушки с бородой в белой тунике, который сидит на облаке.

— А какой все-таки есть?

— Неизвестно.

Больше ничего не удавалось от него добиться, и мы шли играть.

На Цыганской поляне девчонки с нашей улицы, собравшись в кучку, о чем-то шептались. Оказалось, о беременности. У Лариски недавно родила старшая сестра, и теперь она уверяла, что знает все признаки. Девчонки одна за другой задирали перед ней сарафанчики и давали осматривать живот. Ничего подозрительного не обнаруживалось. И только на мне Лариска задержалась:

— Мне кажется... Я не могу быть уверена полностью, но эта точка возле пупка...

— Родинка?

— Ну, в общем, это очень часто бывает при беременности.

— Ты думаешь? — ужаснулась я. — Но как же так? Ведь у меня еще даже не выросла грудь! Чем я буду кормить ребенка?

Все сочувственно переглянулись.

— Ничего, — сказала наконец Лариска. — Партизанкам в войну фашисты вообще груди отрезали. Что же они, не рожали потом?

На поляну прибежали мальчишки и предложили играть в Али-Бабу. Все сразу забыли про мою беременность и начали образовывать команды. А я тихонько отошла в сторонку, чтобы не навредить будущему ребеночку, когда начнут бегать и со всей силы пробивать животами заграждение из сомкнутых рук, и стала искать причину. Может быть, я слишком много читала? На картинах Дева Мария всегда изображается с книжкой в руке. Но кто же мог знать?

Потом вспомнила другое. Неделю назад приезжали гости из города, и мы ходили с ними на речку. По дороге прямо в поле нас застала гроза. Все засуетились, побежали трусцой, прикрываясь сверху подстилками или полотенцами. И только я одна ничем не прикрылась, а бежала упрямо с непокрытой головой и плечами. Тогда, наверное, и попало на меня несколько капель семени того Боженьки, у которого нет ни бороды, ни туники.

Но как понять, когда начнутся роды? К кому обратиться за помощью? Кто будет разрезать мой живот и зашивать обратно? Или достаточно просто сказать, как Али-Баба у входа в пещеру: «Сим-сим, откройся», и все совершится само собой?

Несколько дней я берегла себя от подвижных игр и душевных потрясений. А в четверг меня послали за яйцами. Магазин стоял в конце улицы на автобусной остановке. Каменная лестница, разделенная на два марша, вела прямо к дверям. Двое грузчиков курили у входа.

— Что тебе, девочка? — спросили они удивленно, увидев меня на ступенях. — Ничего нет!

— Даже яиц? — уточнила я, завороженно разглядывая их разноцветные от пятен спецовки.

— Яйца уже неделю не завозили!

Я спустилась вниз, готовая уже бежать налегке домой, как вдруг заметила примостившуюся под лестницей старуху. С первого взгляда она походила на нищенку, в болотного цвета платье, с головой, обернутой в белый платок, в обрамлении которого торчащий наружу смуглый морщинистый профиль казался еще чернее. Слева от нее стояла корзина, доверху наполненная яйцами. Будто зная цену своему товару, она не спешила выпячивать его вперед и подчеркнуто равнодушно восседала на подстеленной газетке, разложив негнущиеся, как совки, ладони на заострившихся под платьем коленях.

Почти не веря своей удаче, я подошла и попросила десяток яиц. Старуха молча уложила яйца в полиэтиленовый мешок и, принимая плату, чуть приподняла край платка, обнажив неправдоподобно широкий левый глаз.

Я пошла назад, осмотрительно перешагивая выбоины на асфальте и прижимая яйца к груди, будто тарелку с горячим супом, который может расплескаться. Руки быстро устали, я осторожно опустила мешок вниз и взяла его в правую руку, чуть подстраховывая сбоку левой. Но и так идти было не слишком удобно: яйца оттягивали застывшее в одном положении плечо, и я несколько раз перекладывала мешок из одной руки в другую.

— Что ж так медленно? — покачала головой дожидавшаяся меня на крыльце мама Леночки. — Ужин давно пора ставить!

Я чуть ускорила шаг и протянула ей мешок. Она заглянула в него и ахнула: внутри не было ни одного целого яйца.

Все, все разбито, что было дано когда-то. То, над чем тряслись и за что боялись, раскололось прежде всего. Любая ноша непосильна, если знать, что другой не будет. И что остается в конце пути? Только слипшаяся скорлупа на память.

Вечером все сидели за покрытым клеенкой столом и рассматривали политическую карту мира. Папа-писатель хотел доказать нам, что Италия похожа на сапог. Решили заодно проверить и другие страны. Не сводится ли и вправду весь мир к набору банальных предметов, раздутых большим взрывом до противоестественных размеров и затем возвращенных в свой первозданный образ стараниями картографа?

В пристроившейся с самого края Европы Португалии довольно быстро удалось распознать бледное лицо с нахлобученным сверху клоунским париком Испании. Отделившаяся от материка Исландия напоминала миниатюрную рыбку, развернувшуюся хвостиком на запад. А в Индии все единогласно определили гигантскую сосульку с сорвавшейся с самого кончика каплей Шри-Ланки. И только по поводу нашей страны нам ничего не приходило в голову.

— Папа, ну скажи уже наконец, на что похож Советский Союз? — капризно задергала головой Леночка.

— На окровавленный кусок мяса.

Спасение

Из замка 66 870 753 361 920 не позвонил. И несколько дней спустя тоже. Но на выходных она снова услышала в трубке его голос, звучавший так бодро, будто все время их разлуки он непрерывно занимался гимнастикой и обливался холодной водой.

— Я соскучился по тебе, — объявил он таким тоном, каким рассказывают о мелких достижениях, вроде сваренного супа или постиранного белья.

— Правда? — 70 607 384 120 250 попыталась вложить в свой голос одобрение.

— Я думаю, нам надо встретиться, — добавил он без запинки, словно декламируя стишок по бумажке.

— Где? — спросила она, хотя и так знала ответ.

— У меня, разумеется! То есть ты придешь ко мне!

Ей показалось, что он наконец отбросил свою бумажку и теперь не страшно, если она отклонится от сценария.

— Мы уже были у тебя в прошлый раз. Может быть, пора заняться чем-то другим?

— Что ты имеешь в виду? — спросил он после паузы уже без спортивного задора и даже как бы через силу.

— Ну мало ли на свете развлечений! Придумай что-нибудь!

— Я не могу ничего придумать, — его слова звучали теперь как камни, которые кто-то пытается взгромоздить на гору. — Так ты придешь или нет?

— Нет.

— Ну пока, — он повесил трубку.

55 725 627 801 600 сидел в другой комнате за письменным столом. Она подошла к нему сзади и обняла за шею. Он не шелохнулся.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— О докладе для научного совета.

— Про твоего композитора?

— Да, про него. То есть доклад уже готов. Теперь нужно придумать название.

— Нашел проблему! Назови просто: «Камертоны Греля»!

— Хотел что-нибудь оригинальное, — усмехнулся он. — Но, пожалуй, ты права: точнее вряд ли скажешь.

55 725 627 801 600 набрал название на клавиатуре и развернулся к ней.

— Пойдем гулять! — вдруг предложил он.

— Куда?

— На кладбище. Что, не нравится идея?

— Да нет, просто я часто гуляла на кладбище в детстве. Иногда мне кажется, что там все и началось.

— Что?

— Жизнь.

— Насчет жизни не уверен. Но вот бессмертие точно иногда начинается именно там. Сегодня мы пойдем смотреть могилу Греля! Или у тебя другие планы? — засомневался он, увидев, что 70 607 384 120 250 приподнимает подол платья.

— Нет, я просто хочу переодеть колготки.

Кладбище находилось в той части Кройцберга, за которой у них уже прочно закрепилась репутация их личного Парижа. По дороге к ним в вагон подсел контролер-турок и, сразу же поймав «зайца», сел записывать его данные.

— Вы можете мне наконец объяснить, как вас зовут? — спросил он, озадаченно повертев в руках паспорт правонарушителя.

— Там все написано, — вздохнул безбилетник.

— Вальтер фон унд цум Штадион, — прочитал вслух турок. — Я не понимаю: что здесь имя, а что фамилия?

— Вальтер — имя, фон унд цум Штадион — фамилия, — терпеливо объяснил пассажир.

— Но не может же фамилия быть из четырех слов! — недоумевал контролер.

— Это древняя дворянская династия. Извините, я ничего не могу с этим поделать.

Турок осуждающе покачал головой и начал выписывать штраф.

Могила Греля оказалась почти у самой кладбищенской ограды и стояла как-то одиноко, чуть в стороне от пышных семейных склепов, напоминавших павильоны или галереи. Простой обелиск, имя, годы жизни — 1800 —1886.

— Расскажи, как он умер? — попросила 70 607 384 120 250.

— Обыкновенно, — пожал плечами 55 725 627 801 600, — в своей постели. То есть, если быть точным, не совсем в своей: летом он обычно гостил у племянницы в Штеглице. Там это и произошло. К тому времени он уже ушел с поста директора Певческой академии, но еще продолжал преподавать композицию в Академии искусств и, даже будучи на летнем отдыхе, принимал у себя учеников. Представь, в то утро, когда он не смог проснуться, из Берлина приехал его очередной подопечный с папкой, полной домашних заданий, которые уже некому было проверить...

— Какой ужас! А впрочем, как я понимаю, до самой смерти он оставался весьма бодр. А как же болезненность, которая, как ты рассказывал, преследовала его всю жизнь?

— Я не знаю точно. Судя по его записям, он постоянно страдал от какого-то недуга или сразу нескольких, но на его работоспособности это никак не отражалось. Скорее, наоборот: он считал, что болезни сделали его усидчивее и сосредоточеннее. Ну а умер он и вовсе не из-за них, а просто от старости.

— Много народу было на его похоронах?

— О, это были не похороны, а целая концертная программа в нескольких отделениях, — засмеялся 55 725 627 801 600. — На следующий день после смерти его тело доставили в Певческую академию. Гроб выставили в большом зале, заставив его, по воспоминаниям Хайнриха Беллерманна, кадками с пальмами и лавровыми деревьями. В день похорон в зале пел хор — кажется, исполняли что-то из «Страстей по Матфею». Речей, как ни странно, было немного: коллеги предпочли прощание на языке музыки. На кладбище, кстати, гроб ожидали еще два хора — хор Кафедрального собора и хор гимназии «У Серого монастыря», которыми он когда-то руководил. Беллерманн сообщает, что в тот момент, когда гроб опускали в могилу, оба хора грянули фразу из загробной литургии «Восстань, о восстань!». У Беллерманна от волнения перехватило дыхание. Дело в том, что он заметил, что часть голосов поет, по меркам Греля, недостаточно чисто, и почувствовал, что все было напрасно.

— А как же камертоны? Грель ведь специально сделал их, чтобы добиваться чистого звука! Камертоны-то остались!

— Да, но, как видишь, с тех пор они никого не заинтересовали. Люди даже забыли, зачем они нужны. Так что Беллерманн был прав.

— А ты?

— А что я? Я только научно обосновываю его неудачу. Мы пришли в этот мир для того, чтобы засвидетельствовать его распад, разве ты еще не поняла?

Она прижалась к нему и вдруг выдохнула прямо в ухо:

— Я знаю, как все исправить. Мы родим сына и назовем его Сальвадор. Сальвадорчик. Я знаю, что это поможет!

— Кому?

— Всем!

Вещественные доказательства

«Каждый день ждали почтальона. Обычно он добирался до нашего дома не раньше десяти утра. Случалось, правда, что задерживался и до двенадцати. А один раз пришел уже под вечер, когда мы думали, что все как-то обошлось и почты сегодня не будет. Появился за окном, громыхая тележкой. Лица не разглядеть под надвинутой кепкой, как будто движется вслепую, как будто не он эту тележку тянет, а она его сама сзади подталкивает. Понадеялись, что пройдет мимо. Но нет, завернул в парадную, и оттуда уже уханье конвертов о дно ящиков размножается пятиэтажным эхом. Надо снова выходить проверять почту, а уж как не хочется! Мама отворачивается с шитьем к стене, чтобы не видели, как она побледнела. Отец до заноз начинает перекладывать дрова у печки. Меня посылают с ключиком наружу как самую смелую. Открываю ящик и млею от облегчения — пустота. Значит, еще один спокойный вечер, ночь, утро. А потом все по новой. Да, это и было самое страшное в войну — ждать похоронку на нашего Васеньку.

Мы ведь знали, что она обязательно придет, что это только дело времени и что время с каждым днем идет на убыль.

Когда Васин полк еще стоял под Ленинградом, мы с мамой и сестрами ездили к нему от станции на крестьянской телеге — привозили еду и теплые вещи. Вася говорил, что все у него в порядке, только жутковато ночью из казармы одному выходить в уборную. Он и дома всегда темноты боялся, никак не хотел лампочку в коридоре тушить.

А тут мне еще сниться стало, что я вместо него умираю, что смерть мне как будто хочет показать, как она это с Васенькой делать будет. Сначала убаюкает меня, склонит в дремоту, а потом объясняет: «Спишь и спи себе спокойно. Ничего в этом страшного нет. Только снаружи уж очень некрасиво выглядит». Я тут же вскакиваю, конечно, ощупываю себе лицо, не ввалились ли глазницы, осматриваю руки, не проступили ли трупные пятна, и снова падаю на подушки. А она словно бы надавливает на меня сверху и шепчет: «Лежи смирно, привыкай, в гробу места мало».

А с похоронкой вот как вышло. Я подошла утром к ящику, дернула дверцу, а меня соседский мальчишка сзади окликнул, хотел что-то показать. На секунду повернулась к нему, засмеялась, тут это письмецо и скользнуло мне в руки — совсем буднично, как счет за газ: «Извещение. Что сын ваш, уроженец г. Ленинграда, Васильевского острова, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, умер от общего заболевания. Похоронен в г. Сокол Вологодской области, на городском кладбище».

Мама после этого совсем перестала есть, даже блокадную порцию хлеба проглатывала с трудом. Однажды вдруг достала довоенную шляпку, начала примерять перед зеркалом и отшатнулась: «Где? Где мое лицо? Скажите, куда подевалось мое лицо?» Но я-то уже знала: в гробу всегда мало места, поэтому, чтобы было удобнее, смерть сначала отсекает от тебя все лишнее.

В эвакуацию ехали уже без мамы. «Больше у нас никто не умрет», — пообещал папа. Мы ожидали на Ладоге погрузки в машины, а на наших глазах грузовики, едва отъехав от берега, один за другим уходили под лед. Отец отлучился куда-то, вернулся уже с шофером, но не на грузовике, а на легком «газике» с кузовом, накрытом брезентом. Народ ринулся, но шофер всех останавливает: «Мест немного, поэтому беру только вот эту семью». Показывает на нас и еще почему-то на беременную женщину, которая тут же случайно рядом стояла. Папа кивает: «Да-да, это моя супруга». Женщина молча залезла в кабину. А отец нас в кузове всех задернул брезентом и говорит: «Чтобы пока не приедем, не высовывались и даже в щелочку чтоб не выглядыва-

ли!» Так мы и сидели в темноте всю дорогу, не зная, на этом мы свете или уже на том. Потом оказалось, наша машина единственная в тот день дошла до другого берега.

И знаешь ведь, чем папа с шофером расплатился? Натурой, тканью, которая у него еще с довойны на костюм была припасена. Хорошая ткань, сейчас таких и не производят. Папа как видел такую на рынке, сразу брал отрез. У нас дома несколько рулонов лежало, разных оттенков коричневого. Ну на беглый взгляд отличия особенного нет, но папа разбирался и никогда их между собой не путал. Один с искринкой, другой с проседью, третий с поволокой — так и говорил. Когда бежали в эвакуацию, все бросили, только ткани с собой и взяли. Мы сердились на папу: зачем? Ведь и книжки остаются, и платья уже пошитые, и еще Бог знает что. А он сказал: «Брать надо не то, что тебе дорого, а то, что никогда не обесценится!» И вправду, всю войну, как бы тяжело ни было, находились на них покупатели. Казалось бы, голод, болезни, нищета кругом, а до качественных тканей всегда охотники есть. Мы их в эвакуации на хлеб выменивали и комнату хорошую через них получили, даже с сенями. А еще они отцу жизнь спасли — второй раз после Ладоги.

Папе тогда машинку печатную принесли ремонтировать. У нас в семье у всех руки были золотые. И у мамы, и у папы, и у меня, и у Сережи. Только ты одна не в нас, работа у тебя не спорится. А ведь это нужно, девочка, нужно после себя что-то оставить, чтобы люди помнили и благодарили. Это иногда важнее, чем деньги. Потому папа и брал какую-то починку на дом. Кто сколько заплатит — уже хорошо, а не может — так ладно.

Вот в тот раз к нему эту машинку и принесли, а забрать забыли. Через несколько дней приходят к нам с обыском: где машинка? На ней, говорят, антисоветские листовки отпечатаны. Отца увели. Всю ночь он провел в участке. А наутро вернулся. «Все, — говорит, — последнего холста у нас нет». Следователю он, видать, в тот момент нужнее был, чем пойманный шпион.

Так что помни, девочка, относись к вещам бережно. Это ж они только так называются — предметами неодушевленными. А на самом-то деле во всем душа есть, потому как все на человека переходит. Вот хоть эта складочка на юбке. Если она не выглажена, не открахмалена, то и от тебя впечатление совсем другое: смятое, неопределенное. Вещь, пока она в порядке, держит тебя в себе, как воду в кувшине. А если кувшин даст трещину, растеряешь всю себя по капле».

Наука

Всю ночь 70 607 384 120 250 не давал покоя пьяный мужской голос во дворе, который, надрываясь, на разные лады выкрикивал ее имя. Под утро к нему присоединился женский с такими же нетрезвыми интонациями, но с совсем уже неразборчивым текстом. Выразительности женщина достигала перепадами настроения и громкости, то выплевывая из себя агрессивную скороговорку, то вдруг переходя на жалобное скуление. 70 607 384 120 250 поняла, что это и есть ее тезка, к которой так долго взывал одурманенный алкоголем трубадур. Наконец его голос перекрыл все предрассветные звуки, прогремев театральной по мощи репликой: «Это все не имеет значения! Просто я люблю тебя!» Дама сердца, будто опешив, замолчала на мгновение, но потом снова разразилась пьяными причитаниями.

70 607 384 120 250 встала с постели какая-то подавленная и сразу подумала, что надо уезжать назад в Берлин. Она уже села за ноутбук, чтобы заказать билет, но ее прервал телефонный звонок. Это был юноша, с которым они столкнулись вчера в театре и который показался ей еще более неправдоподобным, чем все, что происходило в тот вечер на сцене. Его голос звучал особенно чужеродно на фоне давяще низ-

ких потолков, взбугрившихся на стенах обойных ромашек и бьющейся на ветру в конвульсиях майки с соседского балкона.

Они договорились встретиться в городе, даже не условившись зачем. Все стало вдруг так понятно и легко, что в первый раз в этой квартире, стоя под душем в загрубевшей сидячей ванне, 70 607 384 120 250 представляла себе не распластавшегося на дне отца, а маленькую девочку, которую на даче купают в железном корыте, взгроможденном сверху на табурет. Эта девочка в детском ужасе смотрит на свои перепачканные эмульсионной краской руки, будто принадлежащие теперь какому-то другому существу, и не дает оттирать их ацетоном. «Вот и лицо все перемазала!» — сокрушается бабушка, терпеливо устраняя последствия запрещенных дачных забав. И вот она сидит уже чистая и успокоенная, завернутая в вафельное полотенце, и кушает на крыльце клубнику.

К месту встречи 70 607 384 120 250 пришла, как обычно, немного заранее. Но юноша уже ждал ее. До этого момента она еще прикидывала в голове, с чего можно было бы начать разговор, но все ее заготовки оказались излишни. Темы сами брались откуда-то, опережая ритм их шагов, причем каждая из них казалась значительной, почти жизненно важной, и она боялась, что что-нибудь помешает им договорить до конца.

В одном из переулков они увидели скопление людей, которые наблюдали за мужчиной, лежавшим ничком на проезжей части. Вокруг стояли осветительные приборы, хотя солнце и так светило изо всех сил, и трудно было его переспорить. Они тоже остановились, чтобы посмотреть за работой съемочной группы. Но ничего не происходило. Мужчина так и продолжал лежать, не подавая признаков жизни. Только несколько раз к нему подходила гримерша и опрыскивала чем-то ежик на затылке.

— Интересно, о чем этот фильм? — задумалась 70 607 384 120 250.

— Я думаю, о любви, — предположил юноша. — Вот увидишь, сейчас откуда-нибудь непременно появится влюбленная пара.

Никто не появился. Зато к одному из фонарей прикрепили шланг и пустили сверху разлапистую струю, имитирующую дождь. Но струя падала как-то неправильно, режиссер был недоволен. Тогда к шлангу приставили немного напуганного ассистента, который должен был вручную направлять струю под правильным углом. Это давалось ему с трудом, и он напряженно вытирал со лба пот в ожидании очередного окрика режиссера.

Им вдруг стало как-то особенно весело, и, взявшись за руки, они перебежали на другую сторону улицы, прямо под фальшивым дождем, который был такой же мокрый, как и настоящий. Режиссер погрозил им кулаком, но они уже были за кадром и не подчинялись больше его власти.

— Я знаю, куда мы пойдем, — сказал юноша, когда расстояние между ними и разгневанным режиссером стало окончательно безопасным. — Здесь недалеко сейчас проходит очень интересная выставка.

— Ты был там с клиентами?

— Нет, что ты! Я бы никогда не додумался их туда отвести! Разве этого они ждут от Петербурга?

— А что там?

— Увидишь!

70 607 384 120 250 не стала настаивать на немедленном ответе. Ей было абсолютно все равно, куда они пойдут. И она с трудом представляла себе, что иностранные туристы во время оплаченных ими экскурсий могли иметь какие-то другие желания, кроме желания идти с ним рядом.

Они углубились в Таврический сад, и 70 607 384 120 250 подумала, что он забыл про выставку или решил заменить ее прогулкой. Но вскоре поняла, что юноша целенаправленно движется к одному из парковых павильонов, который, как шалаш, был со всех сторон увит зеленью. Они оказались единственными посетителями. Никто даже не спросил у них билетов.

В небольшом зале висели на стенах рисунки — в основном фломастерами или гуашью. С первого взгляда показалось, что они пришли на выставку детской художественной школы, но темы работ, несмотря на бесхитростную яркость красок, были какие-то не совсем детские. На одном из рисунков принцесса приподнимала пышное платье, под которым у нее рос гигантский фаллос. На другом — безногий инвалид заезжал на своей каталке в лавку, где на полках стояли ампутированные конечности с прикрепленными к ним крохотными ценниками ‹циферки на ценниках были выписаны особенно тщательно›. На третьем была изображен улитка с гигантским домиком, разделенным на ячейки, в которых угадывались камеры пыток, где палачи подвергали своих жертв самым изощренным истязаниям.

Возле каждого рисунка к стене была приклеена бумажка с именем автора и диагнозом: «маниакально-депрессивный психоз», «шизофрения», «эпилептический делирий». 70 607 384 120 250 попыталась проследить приметы стиля, характерные для одного и того же заболевания, но не смогла найти никаких закономерностей. Между тем все работы, независимо от диагноза, имели нечто общее, будто само наличие психического отклонения обязывало авторов избегать будничных сюжетов и в каждом произведении раскрывать перед зрителем, как язву, вывих своего сознания.

— Такое впечатление, — сказала она вслух, — что рисовали не пациенты, а врачи, которым нужно было упрятать своих подопечных подальше от общества. Не верю, что сумасшедшие думают о сексе, смерти или насилии чаще, чем все остальные.

— Может быть, они просто меньше боятся этих тем, — предположил юноша. — Здоровому непременно нужно сначала изобразить яблоко, потом кувшин, потом букет цветов, чтобы только в самом конце усадить рядом муху и тонко намекнуть на разложение. А у больных все проще. К тому же они не подвластны моде. Для них нет периода Возрождения, не говоря уже о супрематизме или поп-арте. Одно вечное средневековье.

— Это хорошо или плохо?

— Это искренне.

После глухо зашторенных комнаток павильона солнце снаружи показалось им еще ослепительнее. Они, ничего не подстилая, сели на траву и стали наблюдать за мальчишками, пытающимися вдвоем обхватить массивный дуб. Но пальцы никак не сходились: с обеих сторон не хватало всего по несколько сантиметров.

— Ты можешь себе представить, хотя бы на время отказаться от мира? — спросил он вдруг.

— Как это? Уйти в монастырь?

— Почти. Только во внутренний. Есть такая радикальная практика самопознания: человек изолирует себя от внешних воздействий, завязывает глаза, затыкает уши и принимает обет молчания. Живет только на ощупь, все больше и больше погружаясь в себя. Это может продолжаться сутки, недели или месяцы.

— Я понимаю. Но какой в этом смысл?

— Смысл — найти самое главное, ни на что не отвлекаясь.

— Этот способ работает, только если точно знать заранее, что главное не снаружи, а внутри.

— Главное — везде. Любые способы познания хороши, если они открывают нам глаза на невидимое. Наши взгляды скользят по поверхности предметов, как рука слепого по выпуклостям точечного шрифта. Но, представь, сколько мы всего упускаем! Я, кстати, пробовал один раз такой эксперимент с полным уходом в себя, когда еще жил в студенческом общежитии в Манчестере. Выдержал, правда, всего неделю.

— Ну и как? Что-нибудь узнал?

— Узнал, конечно.

— Что именно?

— Об этом не говорят. Через это каждый должен пройти сам.

— Я бы хотела, — призналась 70 607 384 120 250. — Но немного все-таки боюсь. Боюсь, что темнота и пустота окажутся не более осмысленными, чем все остальное. Лучше не заглядывать за занавес, если не уверен, что там что-то происходит. И потом, не думаю, что меня все согласятся оставить в покое хотя бы на пару дней, — она засмеялась.

— Этот эксперимент, кстати, можно проводить и вдвоем, — сказал он серьезно. — Представь себе, что ты сутками находишься с кем-нибудь рядом, кого ты не можешь ни видеть, ни слышать, но с кем ты должна общаться только через прикосновения!

— Ты знаешь, иногда мне кажется, что мы все время так и живем.

Они встали с травы и пошли дальше через парк.

— Ты давно был в Эрмитаже? — спросила она.

— Вчера. А что?

— Просто я не прощу себе, если не попаду туда до отъезда.

— Ну так пошли скорее!

Ей с трудом верилось, что он действительно когда-то провел целую неделю в темноте. Как же ему удалось упрятать за черную повязку этот внимательный до жадности взгляд? Или он нарочно зачерпывал действительность двойными порциями, чтобы на сетчатке глаза всегда на всякий случай оставалось что-то про запас?

Эта мысль оформилась в ней ближе к Дворцовой площади, на которую, как на ширму в театре теней, вдруг наложились застрявшие у нее под веками осколки отыгранных здесь почти двадцать лет назад событий — последствия ее собственной, изжитой уже неумеренности в обращении с реальностью. Ни разу — ни до, ни после — она не интересовалась политикой. Только в тот день, когда пришла сюда вместе с ликующей толпой, чтобы отметить поражение августовского путча. Все вокруг были единомышленниками — и это тоже практически единственный раз в ее жизни. Она сидела на асфальте в первом ряду перед установленной наспех трибуной, с которой их собиралось приветствовать городское начальство, выигравшее вместе с народом битву против тиранов. Когда на трибуне наконец появился заместитель мэра, ей показалось, что он не обращает внимания на лозунги, а смотрит только на ее ноги, едва прикрытые соскользнувшей наверх мини-юбкой. Наверное, просто для нее это тогда было самое главное — представлять свои ноги в центре вселенной и думать, что во имя них совершаются политические перевороты.

А потом, когда вкусившие свободы граждане уже расходилась и под аркой Главного штаба образовалась небольшая давка, кто-то грубо ущипнул ее за ягодицу. Она быстро обернулась: за ней шел какой-то невзрачный тип в кооперативной куртке из вареной джинсы и в очках с сильно выдающимися вперед стеклами. 70 607 384 120 250 хотела возмутиться, но тип уже нарочито смотрел в другую сторону и, вероятно, сам возмутился бы, додумайся она предъявлять претензии. Ее тогда поразило, что он тоже, должно быть, за демократию. И еще осталось какое-то смутное чувство

вины и стыда, которое она до сих пор не могла перебороть при виде политических сборищ.

В Эрмитаже они сразу прошли в раздел античной скульптуры на первом этаже, где всегда почему-то веяло холодом — возможно, от близости к земле или от обилия мрамора. На богов и императоров здесь можно было смотреть только снизу, почтительно обходя вокруг каменных постаментов. С этой перспективы все персонажи ‹и хрестоматийные, и мало кому известные› держали себя одинаково гордо, выставляя вперед растрескавшиеся сандалии, словно повелевая закрепить на них шнурки.

В следующем зале античные боги и герои позировали уже голышом, от чего посетителю становилось еще прохладнее. Но мраморную кожу не брали мурашки, а вечно бледные щеки не знали стыда.

— Здесь где-то должен быть Геракл, — сказала 70 607 384 120 250. — Помню, меня всегда удивляло, что при такой силище у него такой маленький член, почти как у ребенка.

— Ну, это ведь совершенно нормально. Греки и римляне не представляли своих героев с крупными гениталиями. Только Пан или сатир имели право на выдающийся фаллос. Красивым и добродетельным мужчинам это было не к лицу. От них ждали совсем другого! Кстати, ты знаешь, что в некоторых австралийских племенах вождем выбирается обладатель наименьшего пениса?

— Нет. С чего бы это?

— Считается, что у него более прочная связь с миром духов и это гарантирует всему племени процветание.

Они поднялись наверх. 70 607 384 120 250 так радовалась свиданию с жизнелюбивыми фламандцами, но юноша прошел мимо них равнодушно. Зато в испанском разделе ему захотелось задержаться. Если фламандцы говорили со зрителем на языке оплывших бедер, рыхлых ляжек и мускулистых икр, то испанцы, как правило, оставляли своим моделям только глаза и руки. Остальное тонуло в сумерках фона и тяжелых складках одежды.

— В этом есть какой-то обман, — сказала 70 607 384 120 250, когда они остановились возле «Петра и Павла» Эль Греко. — Долго ли можно продержаться, как они? Без натюрмортов, без пейзажей, без мистических обрядов? Слепо следовать своему предназначению и ничего не желать взамен! Ни одной минуты наслаждения — ты понимаешь?

— Минута наслаждения — для нас. Видеть все это.

— Да, конечно. В этом и состоит главная ложь искусства: изображение страданий служит для увеселения, картины аскезы приносят удовольствие. И ни один святой не может жить, не позируя для будущих полотен! Но это и хорошо. Будь здесь все без обмана — разве могли бы мы, разглядывая их, вынести собственное несовершенство?

Насытившись испанскими сумерками, они, пренебрегая хронологией, перешли к мастерам раннего Ренессанса. Сразу стало светлее от ясных красок, складывающихся на полотнах в стройные аккорды ангельских концертов. Юношу привели в восторг причудливые туалеты придворных красавиц и, в особенности, свободно струящиеся водопады волос, направляемые в нужное русло ажурными мостиками заколок.

— Сейчас уже так не носят, — вздохнул он с сожалением.

70 607 384 120 250 тронула рукой свои коротко остриженные волосы и заторопилась в другой зал. Там она сразу облюбовала женский портрет, не отличавшийся выдающейся прической: волосы были закручены в скромный узел, обвитый лентой.

Внимание привлекало другое: распахнутое на груди платье и направленный между обнаженных грудей кинжал.

— «Лукреция», — прочитала она название. — Ты знаешь эту историю?

— Нет, кажется, забыл.

— Лукреция — жена одного уважаемого римлянина, известная своей красотой и благочестием. Была изнасилована царским сыном Тарквинием и, сознавшись мужу в случившемся, покончила с собой. Измена, даже вынужденная, смывалась в ее глазах только кровью.

— Правильно, — неожиданно серьезно одобрил юноша, заставив 70 607 384 120 250 вздрогнуть.

Ей не хотелось больше ничего смотреть, и они направились к выходу.

— Я уезжаю завтра, — сказала она и тут же сама в это поверила, хотя билет еще не был заказан.

— Где ты живешь? — спросил юноша.

— Далеко. Не хочу сейчас туда идти.

— Я знаю тут одно хорошее место.

70 607 384 120 250 кивнула. Они снова пересекли Дворцовую площадь и, пройдя мимо великанских атлантов, завернули в одну из боковых улиц. Оживленный разговор сменился сосредоточенным молчанием. Но пауза не тяготила. Напротив, тишина казалась самой естественной реакцией на происходящее.

Машина с надписью «Хлеб», проворно проскочив мимо них, остановилась на другой стороне улицы. Из нее вышли какие-то люди и стали деловито отпирать створки кузова, что вызвало у 70 607 384 120 250 слишком пристальный, почти непреодолимый интерес. Один из людей, закатав зачем-то рукава, нагнулся и исчез до пояса в глубине кузова. И она вдруг поняла, как устала уже жить на лицевой стороне и как хотелось бы ей тоже, хоть на несколько мгновений, заглянуть в пахнущую хлебными крошками изнанку бытия.

Они пошли дворами, которые без конца вылуплялись один из другого, как матрешки. Оформленная под старину вывеска «Гостиница “Наука”» давно уже осталась позади, а 70 607 384 120 250 все никак не могла понять, где тут может быть гостиница. Кругом стояли обычные петербургские дома, в которых трудно было заподозрить что-либо, кроме жилых квартир. Поэтому когда за одной из парадных дверей обнаружилось что-то вроде гостиничной стойки, ей показалось, что она окончательно теряет ориентиры. За стойкой, впрочем, никого не было. Только запорошенный помехами экран телевизора сообщал какие-то вялые новости, где главными героями были неразличимые между собой мужчины в пиджаках.

Они присели на диван-обманку, оказавшийся значительно тверже, чем можно было предположить судя по вздувшейся обивке. Мимо них прошла женщина, погруженная в карманный путеводитель, и не глядя опустила ключ в металлическую вазочку. На противоположном конце коридора послышались звуки шурующей о линолеум тряпки, нарастающие как раскаты грома. Прокладывая себе путь шваброй, уборщица добралась наконец до стойки и взглянула на них не то с участием, не то с изумлением:

— Кого ждем?

— Да вот хотели бы снять номер...

— На сколько? — поинтересовалась уборщица. — Меньше чем на сутки не сдаем, — строго добавила она, поправляя косынку.

— Да, на сутки. Есть у вас свободная комната?

— Комнаты есть. Сейчас администратор придет, скажет. А какой вам надо? Двухместный? Могу пока показать.

Она вытерла руки о передник и порылась в карманах:

— Пойдемте, на третьем этаже, я там как раз только что убралась.

Втроем они погрузились в тесноватый лифт и поехали наверх. Зарешеченная кабина мелко вздрагивала, и когда они вышли, тело по инерции еще хранило в себе отдающие мурашками вибрации.

— Вот сюда, сюда, — направляла их проводница. — Я открою, а вы уж сами посмотрите — как вам нравится. Комнаты у нас уютные и недорогие. Как раз для молодежи!

Открыв дверь, она пропустила, почти протолкнула их вовнутрь:

— Когда насмотритесь, спускайтесь вниз. Оформитесь у администратора. Я тут, недалеко.

Дверь осторожно затворилась. 70 607 384 120 250, послушно выполняя данное ей задание, стала разглядывать комнату, которая чем-то напоминала детскую из ее первой квартиры на Васильевском острове: на полу прохудившийся в нескольких местах ковер, кровать застелена ядовито-желтым шерстяным одеялом, а над кроватью еще один тоненький коврик с воющими на туманные горы лосями. Из-за двери, ведущей в санузел, доносился не выветрившийся, вероятно, даже после уборки запах кала.

Они молча вышли из номера и, не найдя лифта, спустились вниз по лестнице. К их облегчению, стойка была по-прежнему пуста. Входная дверь поддалась необыкновенно легко, будто пропуская их в новую, еще ничем не запятнавшую себя жизнь.

Прозрение

«Вчера потянулся через стол за чернильницей и ненароком смахнул вниз кипу бумаг, уже впитавших в себя историю моей жизни. Листки перепутались, и мне никак не удавалось сложить их в правильном порядке. Я перебирал различные варианты, но все казалось, что последовательность неверная и что можно бы еще раз все перетасовать.

Неужели память меня подводит? Или это просто несбывшееся пытается в последний момент настоять на своем и вклиниться между строчек? Но старое сердце беспечно, как и юное, поэтому и утешение пришло быстро. Разве наше дело цеплять одно событие за другое, определяя очередность? Разве недостаточно, что все это было пережито? И разве не переживается оно до сих пор, наслаиваясь одно на другое? Может, потому и становится так тяжело жить с годами, что душа не справляется со своей ношей, какой бы радостной и светлой та в итоге ни была?

Но я взираю в лицо Вечности с легким сердцем, потому что у меня теперь есть то, о чем пока никто не знает, о чем даже я сам еще боюсь помыслить как о самом совершенном, самом главном своем творении. Завтра должны быть готовы последние четыре камертона, составленные по моим чертежам в строгом соответствии с выведенными мною математическим расчетами. Завтра я смогу присоединить их к остальным шестидесяти, и у меня в руках будет сокровище, способное обогатить весь мир. О нет, мое перо подводит меня! Не обогатить, а собрать этот мир, склеить его по кусочкам, заставив впервые звучать так, как это задумано Создателем. Ни одно приспособление, выдуманное человеком, не позволяло еще добиться такой безупречной настройки живого голоса. Только теперь благодаря моим камертонам наслаждение натуральным звуком, полностью очищенным от сора биения, должно стать доступным каждому!

Есть гении, случайно нащупавшие какую-то тайную лазейку в мироздании и затем ревниво охраняющие ее от посторонних, чтобы желающих самостоятельно выйти за

пределы обыденного не стало слишком много. Мой дар другого рода! Божественные откровения не упали на меня небесной манной. Каждый камертон — плод мучительных раздумий и скрупулезных подсчетов. Тем горячее мое желание разделить это открытие с другими, сделать каждого творцом мировой гармонии, которую из века в век можно будет настраивать по моим камертонам...»

55 725 627 801 600 вздрогнул от телефонного звонка: Бреннер приглашал его к себе в кабинет. Он не сказал зачем, но догадаться было нетрудно: неделю назад 55 725 627 801 600 отправил ему первую часть своей диссертации, так что момент объяснения приближался. По дороге он успел подумать о том, что будет, если его по итогам научной работы выгонят из института, и за этими мыслями перепутал какие-то двери, оказавшись в отдаленном коридоре, откуда не сразу нашел выход. Это еще раз напомнило ему, что он так и остался здесь чужим — в городе, в институте, в отделе, так что расставание не будет слишком болезненным.

По лицу Бреннера никогда нельзя было понять его настроение. Слепые глаза, как перегоревшие лампочки, обрекали всю доверенную им территорию на существование в потемках. Бреннер сидел за письменным столом перед включенным монитором, который был повернут чуть вбок, так что 55 725 627 801 600 мог разглядеть кусок своего текста. Все тексты директору зачитывала вслух компьютерная программа, а пометки он делал на специальной клавиатуре, превращавшей его мысли в слова, которые затем, оборачиваясь звуками, заново были готовы войти в породившее их сознание.

— Садитесь, — сказал Бреннер, протирая зачем-то очки.

55 725 627 801 600 присел и начал, как всегда в этом кабинете, разглядывать картину, висевшую над директорским столом. Картина изображала полногрудую девушку в легком белом платье, напоминавшем ночную рубашку, которая упоенно играла на мандолине, закатив в правый верхний угол влажный масленый взгляд. Из-за ее спины выглядывала незаметная, видимо, для юной музыкантши, закутанная во все черное старуха. Старуха держала над пышным плечом девушки металлический треугольник, о который вот-вот собиралась ударить палочкой. Ее глаза при этом были устремлены прямо на зрителя, а рот расплывался в беззубой улыбке.

— Иногда, — начал Бреннер, — мне интересно: сильно ли изменился мир с тех пор, как я его не видел?

Впервые директор заговорил с ним о своей слепоте, и 55 725 627 801 600 даже вздрогнул от неожиданности.

— Когда после операции с меня сняли повязки, — продолжал Бреннер, снова водружая очки на некрупный нос, — первое, что сказал мне врач, было: «Поздравляю! Теперь вы совершенно здоровы!» Я старался раскрыть глаза как можно шире и не мог понять, почему это совершенно не помогает. Самое странное, что мне казалось, что я вижу. Но вижу только какую-то заслонку, которую нужно просто отодвинуть или же засмотреть до дыр, пока она сама не начнет трескаться и рваться. Врач потом мне все объяснил. Он сказал, что здоровый — это тот, кому нельзя помочь, для кого не существует уже более благоприятного прогноза и надо жить как есть. Пока мы еще надеемся, пытаемся что-то в себе выровнять, болезнь приковывает нас к койке. Выздороветь — значит прекратить лечение... Понимаете ли вы, что камертоны Греля — это диагноз? Это болезнь, которая выдает себя за лекарство и только еще больше все усугубляет. Когда я допускал вас в архив, то рассчитывал, что вы напишете историю этой болезни — ведь нам, ученым, не приходится быть слишком разборчивыми. Если неосвоенный материал сам просится к нам в руки, любопытство всегда пе-

ревешивает соображения практической пользы или исторической значимости. При всем моем уважении к организаторским способностям Греля и его хоровой деятельности вся эта затея с камертонами всегда казалась мне какой-то лихорадочной, нездоровой. Судя по всему, на нее он особенно рассчитывал, прикидывая шансы на свое бессмертие, но по иронии судьбы именно о ней-то и предпочитают стыдливо умалчивать музыкальные историки, которым хоть мало-мальски небезразлична его репутация. Лучше остаться в памяти потомков талантливым концертмейстером, чем бездарным изобретателем, не так ли? Но у вас, как я понял, тут другое мнение. Ваша диссертация идет дальше описания курьеза. Вообще, если отбросить цифры и математические вычисления, по степени пиетета к главному герою все это больше напоминает роман. Русский роман, заметьте! А мы ведь здесь, во-первых, в Германии, а во-вторых, в научном институте, а не в литературном кружке.

— Я просто хотел понять, что им двигало и нет ли во всем этом рационального зерна, — возразил 55 725 627 801 600, сообразив, что терять теперь нечего.

— Рациональное зерно? У Греля? — Бреннер затрясся, изображая смех. — Да он же был мечтатель, фантазер! И ваша задача — посмотреть на его фантазии с критической дистанции, а не уплывать вместе с ним в путешествие по волнам мировой гармонии. Здесь, конечно, присутствует определенный элемент ностальгии, тоски по «золотому веку». Каждому кажется, что он его не застал, и хочется оглянуться в прошлое. Но и там мы находим только повернутые назад головы, высматривающие что-то у своих предшественников. Важно вовремя остановиться и поставить точку. Вы меня понимаете?

— Да, — невидимо для Бреннера кивнул 55 725 627 801 600. — Я еще не успел вписать это в работу, но теперь я точно могу сказать, что Грель ошибался. То есть не просто сказать, а доказать с фактами в руках.

— Действительно, интересно. В тех главах, которые вы мне дали, на это пока ничто не указывает...

— Дело в том, что той точности, которую он требовал от своих камертонов, просто невозможно было добиться при тогдашнем уровне техники. Компьютерный анализ показал, что почти у всех камертонов, изготовленных по его чертежам в мастерской, имеются погрешности в звучании, если сверять их с его же собственными теоретическими вычислениями. Камертоны Греля не равны сами себе, понимаете?

— Понимаю, но что это меняет? — нетерпеливо воскликнул директор.

— Всё! Ведь это значит, что эксперимент по извлечению чистого звука еще не закончен, то есть даже еще и не начат как следует, потому что у Греля элементарно не хватило на это технических возможностей и он даже не увидел, в чем именно вышла заминка. Но это только одна сторона проблемы — практическая. Есть еще и другая — более глубинная, и тут, я думаю, Грель впал бы в отчаяние, обрати он на нее внимание. Трагедия в том, что воплощение его концепции чистого, природного звука возможно только ценой отказа от естественности, то есть на пути прогресса, который он всячески отвергал. Выходит, чтобы вернуться назад, надо пытаться заглянуть в будущее — желательно чуть дальше, чем другие.

Бреннер некоторое время молчал, будто разглаживая в голове какие-то соображения. Потом вдруг заговорил, опершись рукой о подбородок:

— Если б только можно было хоть на один день заполучить назад зрение, я бы уж, конечно, не полетел к нашим знаменитым достопримечательностям. На них есть кому поглазеть и без меня. А я бы просто взял эту пылинку, которая лежит вот тут на столе (ведь лежит же, да?), и рассматривал ее с утра до вечера — изучал бы во всех подробностях, как она устроена. Так за девушкой подглядывают в первый раз, не упуская ни одной подробности. В каждую секунду она выглядит по-разному: в утрен-

нем свете, который, как кашица по тарелке, растекается по комнате; в полуденных лучах, иголочками подкалывающих веки; в вечерних сумерках, которые как склизкий след гусеницы... Вы знаете, что такое слепота? Это страсть к деталям, которые, кроме вас, никогда никто не припомнит! Вы еще здесь? — спросил он вдруг, будто извиняясь за свой монолог. — Ну идите, идите! Вам ведь много предстоит сделать, не так ли?

— Безусловно!

55 725 627 801 600 поднялся, ожидая еще каких-то указаний, но Бреннер, как всегда, когда желал закончить разговор, погрузился в пугающую неподвижность, словно хамелеон, подражающий ветке, на которой сидит.

Выходя из кабинета, 55 725 627 801 600 погромче прикрыл за собой дверь, чтобы дать понять директору, что действительно оставляет его в одиночестве.

— Ну что, хвалили? — спросил попавшийся ему в коридоре коллега, заметив на его лице блуждающую улыбку.

Но 55 725 627 801 600 прошел мимо, будто не расслышав. Возле своего кабинета он остановился, достал из кармана записную книжку и вытряхнул оттуда уже почти забытый листок с номером телефона, который когда-то всучил ему безумный старик, добившийся от него аудиенции перед институтом. Номер показался ему вдруг неправдоподобно длинным и как будто хорошо знакомым. На секунду 55 725 627 801 600 задумался:

«Неужели и он тоже? Знает, чувствует, может... Нет, одна комбинация цифр не дается дважды, — тут же успокоил он себя. — Я, только я!»

55 725 627 801 600 скомкал бумажку и, уже не глядя, кинул ее в урну.

Разлука

Вернувшись из Петербурга, 70 607 384 120 250 вдруг снова почувствовала желание увидеться с 66 870 753 361 920. До отъезда он звонил ей почти каждый день, но она всякий раз находила какую-нибудь отговорку. Или предлагала ему самому угадать ответ:

— Как ты думаешь, я еще когда-нибудь пойду с тобой в постель?

— Думаю, что нет, — отвечал 66 870 753 361 920 после паузы, доказывающей, что он действительно серьезно подумал.

Но потом звонки повторялись, и переговоры возобновлялись.

— Я ведь интересую тебя и помимо секса? — размышлял он.

— Да, вот именно: исключительно помимо секса.

И снова разговор обрывался.

Ее, однако, пугала невозможность достичь равнодушия. Она теперь точно знала, что желание, которое он внушал ей, не удовлетворить физической близостью. Но желание оставалось. И она, как в детстве, теребила свою ранку, срывая с нее целебный подорожник.

Зачем ей нужна была эта встреча? Узнать, что у их отношений есть загробная жизнь? Что тени тоже могут улыбаться, прогуливаться под ручку, вести разговоры? И опять, как всегда, когда они издали увидели друг друга, не он, а она прибавила шаг, за что тут же на себя разозлилась.

Он поцеловал ее сдержанно и, оглядев с ног до головы, грустно сказал:

— Если ты хотела поразить меня этим платьем, то тебе это удалось.

70 607 384 120 250 почувствовала отчаянный стыд за свои голые плечи, неуместные сейчас, как на похоронах, и сделала над собой усилие, чтобы не разрыдаться. И снова, вместо недоступной женщины, она предстала перед ним маленькой девочкой, которой выговаривают за неумелое кокетство.

Они пошли вдоль набережной. И от сознания, что каждый шаг рядом с ним укорачивает их время вдвоем, у нее кружилась голова, и становилось больно ступать, как вышедшей на берег русалке.

На узком тротуаре трудно было разминуться со встречными гуляющими. Чья-то растянувшая поводок собака вдруг бросилась ей прямо в ноги. 70 607 384 120 250 в испуге подалась назад.

— Ну что ты? — 66 870 753 361 920 удержал ее рукой. — Я же с тобой!

Но он ошибался: его давно уже не было с ней. И никогда больше не будет! Останется только пустое место, к которому она по привычке будет иногда протягивать руку, ужасаясь, что в пальцах задерживается только воздух.

Они свернули в переулок. Здесь, недалеко от Немецкого театра, Берлин, как в потаенном семейном альбоме, хранил еще воспоминания о своей юности. На многие фасады, правда, был наведен такой лоск, что они могли себе позволить вовсе не думать о времени, с которым за них ловко расквитались маляры и штукатуры.

На Райнхардштрассе гуляющие заметили небольшой книжный магазинчик, предлагавший уцененные экземпляры прямо с крыльца. Книги магически притягивали их обоих, но в том, как неожиданно эти плохо рассортированные в пластиковых ящиках стопки возникли у них на пути, чувствовался какой-то подвох. Как бы нехотя, в любую минуту готовые противостоять соблазну, они начали листать первое, что попалось под руку. Затем, осмелев и не скрывая уже нетерпения, потянулись к особенно выразительным обложкам, заглядывая под которые невозможно не выдать себя.

В руках у 70 607 384 120 250 оказался альбом старинных порнографических открыток. Оценив ее находку, 66 870 753 361 920 отложил заинтересовавший его было справочник русских икон и, наклонившись, заглянул ей через плечо.

Порнография, как известно, жанр, мало меняющийся со временем. Изобрести не виданные еще сексуальные практики труднее, чем придумать новые эстетические приемы. Зато закон об особой, исчезнувшей уже одухотворенности и значительности лиц на старинных фотографиях действителен и для порнографических картинок. Даже удивительно, как это раньше люди могли предаваться разврату с такими глубокими, всезнающими и одновременно невинными глазами? Или у них просто лучше работало разделение между верхом и низом — как в цирке, когда иллюзионист, распилив свою ассистентку, увозит в один конец арены ящик с улыбающейся головой, а безвольно повисшие ноги тем временем катятся в другой?

На одной из открыток мужчина, похожий на Маяковского, старательно предавался кунилингусу. Его партнерша с белыми лилиями, вплетенными в темные кудри, будто ничего не замечая, читала, держа на весу миниатюрный томик. На следующей странице три светящиеся счастьем девушки полулежали рядком на диване, раскрывая зрителю свои гениталии, подписанные от руки прямо на негативе: «Hope — Faith — Charity».

— Какую выбрать? — вздохнул 66 870 753 361 920.

— Пойдем лучше где-нибудь посидим, — предложила 70 607 384 120 250, поспешно захлопывая книгу.

Они заглянули в несколько кафе, но 70 607 384 120 250 забраковала все до одного, только чтобы в последний момент выбрать самый непритязательный, даже вульгарный вариант — таиландский ресторан на пересечении двух больших улиц, зато с собственной террасой, в центре которой уютно журчал бутафорский фонтан. Им принесли вина. 70 607 384 120 250 сомкнула пальцы вокруг ножки бокала, не отрывая его от стола. 66 870 753 361 920 хотел было накрыть их сверху ладонью, но спохватился и тоже взялся за свой бокал.

— Как ты жила все это время? — спросил он, делая глоток.

— Очень интересно! — ответила она уклончиво. — А ты?

— И я тоже!

— Писал роман?

— Не только. Ко мне приезжала одна хорошая знакомая из Москвы... Я с ней не спал, — добавил он поспешно.

— Мне это все равно, — 70 607 384 120 250 тоже поднесла свой бокал к губам, будто вспомнила, что он тут не только для декорации.

— Ах да, я ведь еще болел на прошлой неделе, — сообщил он подчеркнуто небрежно.

— Простудился? В такую погоду?

— Нет, это была не простуда.

— Что же тогда?

— Да какая разница? Тебе все равно неинтересно!

— Но сейчас-то уже прошло?

— Не прошло. Но скоро пройдет. Все проходит... Да, кстати, ты ведь тоже собиралась что-то писать — о нас с тобой? Или уже передумала?

— Не передумала. Ведь ты все равно об этом напишешь? Значит, у меня обязательно должна быть своя версия! Ладно, я пошутила, — засмеялась она. — Это, конечно, будет не про нас. Совсем другая история. Просто герой случайным образом тоже окажется писателем ‹лень сейчас придумывать другую профессию›.

— Каким писателем? Хорошим или плохим?

— Не знаю, не решила еще. Это так важно?

— Конечно! Как иначе ты создашь образ? Можно, к примеру, сделать его гением... Но это я не рекомендую!

— Почему?

— Слишком сложно. Чтобы описать гения, тебе самой нужно гениальное перо. Иначе получится карикатура. Лучше сделай его неудачником, у которого ничего не выходит и который мстит за это всему миру. Мне кажется, у тебя это хорошо получится!

— Ладно, я подумаю.

— А сейчас?

— Что?

— О чем ты сейчас думаешь?

Она пожала голыми плечами, уже начинающими зябнуть под раздувающимися щеками вечернего Зефира.

— А я знаю о чем, — сказал он со вздохом, поправляя зачем-то стоявшую между ними сахарницу. — Жалеешь, что у нас с тобой что-то было, да?

Нет, она не жалела ни о чем. Как не жалел о содеянном тот призывник откуда-то из провинции, о котором недавно сообщали в прессе. Он ввел себе в мягкие ткани несколько иголок, чтобы рука как следует нагноилась и его забраковали на медкомиссии. Все прошло как по маслу: врач, испуганный необъяснимыми симптомами, дал ему отсрочку. Но случилось непредвиденное: призывник не смог самостоятельно извлечь эти иголки и так и жил с ними полгода, пока воспаление не дошло до критической точки и не началась гангрена.

Так и ей еще некоторое время придется пожить с иголками под кожей — ничего не поделаешь. Но гангрена не начнется, потому что все ее иголки нанизаны на ниточку. Нужно просто достаточно долго за нее тянуть, и они обязательно выйдут наружу. Еще чуть-чуть, только несколько страниц и осталось.

Дом

На семейном совете обстоятельно обсуждался вопрос, стоит ли брать меня в Одессу. «Ну что там делать двухлетнему ребенку? — недоумевал дядя. — Она и не вспомнит потом ничего!» И действительно, все утонуло в Черном море: и поездки на пляж Аркадия, и прогулки по бульвару, и влюбленность в троюродного брата, еще долго умилявшая всех родственников. Осталась только закопанная ножками в песок деревянная скамейка, куда меня посадили спиной к прибою, пообещав театр. Театр был совсем близко, в облепленном фольгой домике, за синими шторками, которые с первого ряда так хотелось раздвинуть пальцем. И вдруг они сами разъехались, и я сразу испугалась, что это ненадолго и совсем скоро конец. Предчувствие конца, мешавшее наслаждаться спектаклем, и стало первым в моей жизни самостоятельным воспоминанием.

Может быть, для того и привезли меня в Одессу, чтобы растормошить мое сознание, которое еще долго дремало бы, как в берлоге, в нашем северном климате?

С тех пор летние месяцы проходили однообразно, на даче, где запоминаться было вроде бы нечему. Но я уже не могла остановиться. Смятый тапочек, в который закатилась конфета, обтянутый от дождя полиэтиленом стог сена возле спуска к водоему, петушок или курочка, возникающие на спор на конце травинки, — все это зачем-то хранится в памяти, как варенье на полках. Но для кого?

Соседка тетя Дуся грозилась прийти и все побить в нашем доме. На нее иногда находило без всякой причины. Ребята разбегались, когда она шагала по улице с косой в руках. Лица ее не помню, только белый с просинью зад, который она пару раз выставляла напоказ вместо справки из какого-то диспансера, где якобы состояла на учете. Мне не верилось, что именно у тети Дуси, самой здоровой и энергичной бабы в поселке, имелся серьезный диагноз с медицинским подтверждением. Зато самый больной в округе человек, Ларискин дедушка, уверял, что на самом деле ничем не болен.

— Зачем тебе тогда палочка? — недоверчиво интересовались дети.

— А это чтоб кувшинки из пруда удобнее было вытаскивать, — отвечал дедушка Миша.

И действительно, он ковылял с нами к пруду, ложился на живот у самого края и тянулся палкой к недоступно белеющей посередине кувшинке ‹те, что росли поближе, давно уже были оборваны›. Извлеченная из воды кувшинка, правда, тут же переставала быть привлекательной, и никому не хотелось нести ее до дома. Так что дедушка обвязывал гибкий стебель вокруг своей палки и шутил, что палка зацвела.

Однажды после обеда дедушка Миша вышел один за калитку и упал. Его нашли только через некоторое время с палкой, зажатой в вытянутой руке, будто он специально лег, чтобы дотянуться до чего-то невидимого.

Приехала «скорая помощь», и он исчез. Ларискина бабушка вздыхала, что он теперь далеко, в соседнем поселке, куда плохо ходили автобусы, поэтому визит все время откладывался. Наконец они сговорились с бабушкой Маней, собрали кое-каких фруктов, одели нас с Лариской понаряднее и отправились туда пешком.

— Уж спасибо, Маняша, что ты меня в беде не бросаешь, — причитала баба Шура. — А то мне одной идти страшновато. Сколько же я за Мишу моего страха-то натерпелась! Уже год как в постель с ним боязно ложиться: вдруг проснусь рядом с покойником? А теперь вот тоже — гадай, что с ним там делают?

— Да не волнуйся ты, Шурёна! — утешала бабушка. — Это место хорошее. Там людей не мучают, а заботятся о них. Заодно и посмотрим, как там и что. Ведь и нам с тобой когда-нибудь...

Баба Шура кивала. Дорога тянулась крайне медленно. И мы с Лариской начали было ныть, но как только пошли через еще не виданные нами места, забыли про нытье, жадно осваивая как-то по-нездешнему раскроенный пейзаж, где за каждым пригорком следовал неожиданно легкий спуск, а потом новый подъем.

— Сейчас, вон там, только бы взобраться, — обещала, вытирая пот со лба, баба Шура, но дорога разматывалась все дальше и дальше, не зная конца, как покатившийся по полу клубок.

Наконец за одним из холмов показался дом, который невозможно было спутать с дачей или деревенской избой. Постройка была деревянной, но при этом как будто предназначенной для великанов, — даже окна, казалось, рубили с расчетом на то, чтобы из них могло глядеть сразу пять человек обычного масштаба. Крыша, заостряясь, тянулась куда-то вверх, от чего дом становился похож на сказочный замок, осажденный кольцом непроницаемого дощатого забора.

Нас пропустили в калитку и, переспросив несколько раз фамилию Ларискиного дедушки, велели обойти дом с другой стороны. Там, на пологом склоне, усыпанном желтками одуванчиков, стояли скамейки. На одной из них мы сразу увидели дедушку Мишу. Он сидел без палочки, в пижамных штанах и летней бежевой шляпе, которую обычно носил только к костюмам. Между штанами и шляпой никакой одежды больше не было, и нас поразило, что груди у него оказались совсем женские, чуть провисающие под своей тяжестью, как у мадонн на художественных открытках.

— Деда, у тебя там есть молоко? — запрыгала вокруг него Лариска.

— Конечно, есть! Одной грудью я даю его хорошим детям, а другой — выкачиваю обратно у плохих, — он засмеялся и, обхватив обе груди ладонями, приподнял их наверх, будто сам собирался к ним присосаться.

Мы с Лариской пошли собирать одуванчики, а наши бабушки остались на скамейке, почему-то отодвинувшись на другой край, подальше от дедушки Миши.

— Не хочу опять привыкать, — вздохнула баба Шура, когда свидание было закончено и мы уже возвращались назад к калитке. — Чувствую ведь, что не вернется!

А дедушка Миша, улыбаясь наполовину железными зубами, все махал нам со своей скамейки голой молочно-белой рукой, на которой нелепо чернел ремешок часов.

— Мне кажется, ему здесь хорошо, — примирительно сказала бабушка Маня.

А когда мы отошли подальше, я еще раз обернулась и поняла, что видела уже где-то этот дом вместе с торчащей из-под него пуповиной тропинки. Или когда-нибудь еще обязательно увижу.

Дома бабушка, утомленная дорогой, сразу прилегла на кровать, а меня посадила на крыльце перебирать гречку к обеду.

— Она же вся одинаковая! — возмутилась я.

— Смотри внимательнее: в пакете всегда попадаются черные зерна. Их надо отделить от белых, а то будет горчить.

Чем дальше продвигалась работа, тем больше забракованных зерен оказывалось в миске для отходов. В конце концов даже между тщательно отобранными белыми крупинками мне начали мерещиться черные вкрапления, и сортировка пошла по новой, пока горстка спасенной гречки не стала совсем ничтожной.

Зато вот они, последних два зернышка. А больше уже и не наберу.

Родители приехали из города с подарком — чудной комбинацией из маечки и трусиков, осыпанных клубничным узором. В этой комбинации так хотелось быть загадочной! Обычные дачные игры сразу были отвергнуты, и я сначала задумчиво бродила между деревьев, а затем стояла в живописной позе, подняв глаза к небу и облокотившись о сосну. Подружки несколько раз звали меня, но я не хотела идти, а

когда захотела, то поняла, что маечка намертво приклеилась к стволу смолой. Подружки торопили:

— Ну что же ты?

— Идите без меня, — сказала я, раскрывая пошире глаза, чтобы не пролить слезы.

— Идите, я просто очень люблю одиночество!

И еще: все лето непременно хотелось поймать бабочку без сачка, прямо за крылья. Для этого я могла часами сидеть в засаде, маскируясь некошеной травой. Некоторые бабочки, правда, с самого начала не оставляли мне никакой надежды, с такой скоростью перепархивая с цветка на цветок, что даже их величина и окрас оставались загадкой. Другие, напротив, дразнили своей медлительностью, будто в полусне волоча за собой усталые крылья, чтобы в решающий момент вдруг оттолкнуться от насиженного венчика, как от трамплина, и взвиться на недосягаемую глазом высоту.

Но нет, милые бабочки, вы не выведите меня из терпения! Я не оставлю свой пост. Уже никогда.

Эпилог

«Только что вернулся из Потсдама и не смогу уснуть, если не напишу хотя бы пару строк о своем сегодняшнем переживании. В Королевском театре давали «Антигону» Софокла, положенную на музыку господином Мендельсоном. Никто, очевидно, не ожидал, что я там появлюсь, и приглашение мне отправили разве что из деликатности и уважения к авторитету, который я за последние годы успел приобрести в музыкальных кругах. Все знают, что о господине Мендельсоне у меня ввиду обстоятельств сложилось исключительно нелестное мнение, и желание ознакомиться с новыми творениями, которыми он с завидной регулярностью радует мир, не одолевало меня в последнее время в такой мере, чтобы я согласился приложить к этому хоть какие-либо усилия. Сам Мендельсон, нужно сделать оговорку, также не облегчал мне этот шаг, периодически в кратких записках ставя меня наряду с другими коллегами в известность об окончании работы над очередным опусом, однако ничуть не проявляя при этом интереса к моим собственным композициям. На одну из таких записок я, помнится, ответил в довольно корректном, но сухом тоне, что желаю его симфонии «всяческого успеха у благосклонной публики», после чего не получал уже от него более никаких уведомлений.

Но зрелость делает нас снисходительными к обидам и дает мудрость первыми разорвать цепочку отчуждения. С такими мыслями отправился я сегодня в Потсдам с намерением предстать перед моим давним несостоявшимся другом не отравленным собственными амбициями коллегой, а внимательным и объективным слушателем, готовым отдать справедливую дань его мастерству, если оно окажется на высоте, и проявить снисхождение в случае очевидного музыкального фиаско. И что же меня ожидало? О Боже, эмоции переполняют меня! Нет, не достойное вежливой похвалы зрелое произведение признанного мастера, а высочайшая, высочайшая, высочайшая ступень искусства, которая была под силу разве что древним грекам и которую для моих современников я полагал уже недостижимой! Все, нет силы больше держать перо. Долг перед потомками, до которых я обязан донести потрясение этого дня во всей полноте, заставляет меня отложить его до завтра, когда рука снова обретет твердость... (все зачеркнуто)

Вчера, в четверг 28 октября 1841 года, откликнувшись на любезное приглашение графа Редерна, я имел честь присутствовать в театре Нового дворца на представлении «Антигоны» по трагедии Софокла. Настоящим свидетельствую о том, что испытал при этом высшее театральное, драматическое и художественное наслаждение. Возможно, еще никогда искусство не производило на меня большего впечатления.

Хотя это и было ‹не стану скрывать› лишь тенью моего идеала, однако даже и эта тень вселяет в душу небывалое блаженство. Впервые в жизни я увидел и услышал то, что является истинной музыкой в моем понимании, которое я годами пытаюсь воспитать в моих учениках, а именно — гармоничным слиянием поэзии, голоса и жеста. Уже один вид присутствовавших в зале слушателей произвел на меня ошеломляющее впечатление. Его Величество в своей отеческой дальновидности по случаю премьеры собрал вокруг себя всех, кто в силу вкуса и образования мог оценить представленное нам действо, имеющее в равной степени выдающееся значение как для искусства, так и для науки.

Ученые на протяжении веков ломали себе голову над тем, как могла бы выглядеть постановка трагедии такого ранга во времена Софокла, как бы она звучала и какое имела бы воздействие. Путем кропотливой работы удалось собрать множество отдельных сведений, увековеченных в письменном виде и ставших таким образом достоянием наших лучших рассудков. Как же поучительно для всех этих с избытком наделенных знанием и в то же время так ничтожно мало знающих ученых мужей было постичь на чувственном уровне то, что раньше только смутно маячило им в хитросплетениях разума! Так уж заведено в природе, что предмет и его отражение разнятся между собой. Самое лучшее описание картины никогда не сравнится с ее практическим созерцанием, которое единственно способно дать нам верное впечатление.

Не все, впрочем, воплощено так, как это можно было бы сделать в согласии с сохранившимися источниками. Некоторыми элементами увиденного вчера спектакля мы обязаны скорее современной художественной моде, чем требованиям исторической реальности. Для первого опыта, однако, это не только простительно, но и, вероятно, неизбежно, дабы сделать произведение удобоваримым для публики. Что касается меня, то я бы только приветствовал еще большее погружение в детали, какими бы далекими ни были они от сегодняшней реальности. Опасность отчуждения здесь не столь велика, как выигрыш от обретения нового, осязаемого, а не просто воображаемого знания.

Я бы желал, чтобы не только те драмы, которые дошли до нас с античных времен, были поставлены именно таким, приближающимся к достоверности образом, но также и сегодняшние сочинители попробовали себя в той же античной форме, разрабатывая, разумеется, наши современные сюжеты. Однако тут у нас перед древними обнаруживается один большой недостаток. Нам катастрофически не хватает тем, которые могли бы по-настоящему увлечь как самого художника, так и его публику. Мы не гордимся больше достижениями и страданиями наших отцов. Мы перестали чувствовать историю нашего народа, а сам народ и вовсе потерял к ней интерес: где уважение, где понимание развития, которое привело страну к нынешним условиям? У греков было по-другому. Греки знали подход к природе. Во время спортивных игрищ они созерцали прекраснейшие, деятельные тела, облагороженные осмысленным движением — голые, сцепившиеся в единоборстве, укрощающие лошадей, поодиночке и в группах. Народ, не прибегая к услугам угодливых драматургов, демонстрировал себя во всей своей естественной грации и сам же упивался этим зрелищем. Битвы, поединки, распаленные схваткой мужчины — что может быть прекраснее? Мы же, напротив, укутаны для приличия, хотя справедливее будет сказать — до неприличия! Облаченные в наши безвкусные одеяния, мы безмолвствуем в церкви, смиренно преклонив колени. Наши регулярные военные парады монотонны, наши солдаты выступают каменными истуканами, с трудом волоча за собой пушки ‹посмотрите хоть на казаков, они во сто крат живописнее!›, пороховой дым застилает глаза, мешая рассмотреть детали решающих сражений...

Нам катастрофически не хватает материала. Но надо пытаться».

Лев МОЧАЛОВ

* * *

В этом мире — чтобы оглядеться;
юности — чтобы в него вглядеться;
зрелости — чтобы его принять.
Новизне не доверяет старость,
застит откровения — усталость;
то немногое, что нам осталось, —
вглядываться в прошлое опять.

Пусть в сиреневых своих надеждах,
в разочарованиях кромешных
вырвется из обольщений прежних,
ибо всё — отмаялось давно;
и в былых нескладицах и бедах,
в капельках, не соскользнувших с веток,
может быть, — прощаясь! — напоследок
глянет драгоценностью оно!

* * *

Не вздыхай: «Живу зачем я?»
Не спеши убраться с глаз.
Старость — это порученье,
милость Божия — приказ!

Твой распавшийся на звенья
век доматывает срок,
погружается в забвенье,
и урок — ему не впрок!

Плюнь на рану ножевую,
боль ее испив сполна,
хоть на нитку,
на живую,
но — связуя времена!

Лев Всеволодович Мочалов родился в 1928 году в Ленинграде. Окончил факультет теории и истории искусств (1951) и аспирантуру Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1954). Печатается с 1952 года. Автор многих поэтических книг и искусствоведческих работ по русской и советской живописи. Член Союза художников и Союза писателей. Живет в Санкт-Петербурге.

ЗОВ СМИРЕНЬЯ

На исходе осени где-то,
в петербургской ознобной мгле
он пробился — росточек света,
он затеплился
во мне.

Молвил:
«Надобно так немного,
лишь приникни слухом к звезде
и услышишь — весточка Бога —
я — в тебе.
Ибо — везде!

Я — лишь крохотный огонечек,
но живу у тебя внутри.
Ибо — в каждом из одиночеств
теплюсь! —
Только увидь, узри!

Зароненный в тебя изначально,
я — пульсирующий, живой —
огнь,
питающий мощь молчанья,
гром смиряющего
тишиной!

Потому — продолженье стебля —
экзаменуем судьбой,
добровольно меня приемля,
ты ответствуешь
перед собой.

ВЕЧЕРОМ

Под питерскими небесами блеклыми,
на сумрачном исходе дня
мой двор — светящимися окнами —
опять взирает на меня.
Своею тайной привораживая,
как бы не ведая забот,
в них чье-то счастьюшко оранжевое
бок о бок с горюшком живет.
А горюшко — зеленоватое, —
за шторкой вяжет свой уют,
немым смирением охватывая
теченье и моих минут.
И ощущения не вытравлю,
что вечностью дышать готов
с предновогоднею палитрою
веселых — елочных! — цветов.
Я — сквозь себя, сквозь отражение
смотрю...
Но, выключая свет,
легко ловлю соображение,
что словно бы меня
и нет...
А как зимуют Маня с Васею, —
чуть приглушенный колорит,
контрасты приводя к согласию,
безмолвьем Бога
говорит...

* * *

На старой литфондовской даче,
где нет неустройствам конца,
твои неудачи — удачи:
ты вечностью дышишь с крыльца.
Здесь космос к фрамуге притерся,
безбытностью быт оттеня, —
легко (обходясь без притворства!)
твой возраст
сгибает тебя.
И что выручает нас? — Бездна,
узревшая скудость ума!
Даруется
безвозмездно
кусты растворившая тьма.

Тьма,
пестующая безмолвье
Неведомого...
А в нем
мгновенные росчерки молний
трепещут надмирным огнем.
Что в этом безмолвье огромном,
таящемся там, за окном,
за молниями, за громом,
где мы — в измеренье ином?
Сулят ли — и что? — кредиторы
из темной своей тишины?
Быть может, мы лишь на повторы
содеянного обречены?

И как бы умышленно вклинен
в нестройных догадок черед,
из хлябей разверзшихся
ливень
ознобной волной проберет.
И — длится
небес изверженье,
и в том, как восторженно дождь
свое принимает свершенье,
успокоенье найдешь.

* * *

Смерть — это то, что бывает
с другими.
И. Бродский

...И чем-то кормим надежду,
как в юности самой ранней,
всегда пребывая между
надежд
и воспоминаний.
Есть только весна и осень,
а лета — нету в помине,
но мир, однако же, сносен,
когда прогорают в камине
(бишь в печке обычной круглой!)
дрова, а с ними — и письма
и поднабирается углей...

И жить бы — ныне и присно —
пускай среди ненадежных
вестей и лжеобъяснений, —
есть
всеобъясняющий дождик,
осенний
(он же — весенний...)
Его — и удостоверьте,
дабы не кануло в Лету —
как приложение к лету —
то ожидание смерти,
которой, в сущности, нету...

СТАРОЕ ЗЕРКАЛО

Памяти Н. С.

Что-то в нем навек загрустило.
Отуманилось. И — осталось.
Облака седые взрастило,
обозначившие усталость...
Отпылавшего времени сгусток —
зазеркалье... Немое пространство,
что надежней свидетельств изустных
говорит о нас беспристрастно.
Нет, настоянный не на обидах,
но, вернее сказать, — на досадах
отболевшего быта напиток
и — совсем ослепший! — осадок.
И таит — овальное око —
нашей жизни терпкую радость, —
несмываемая поволока
в глубину его едко вкралась.
Но, как будто бы извлекая
из минувшего свежие вести,
я вхожу в полумрак зазеркалья,
где, конечно же, мы — еще вместе!
Где застыло время, без грима.
Где — не представленье, не сцена, —
всё доподлинно и неповторимо.
И единственно.
И — бесценно!
Вот же — рядышком это счастье
(не существенно — с тортом ли, с коркой)! —
лишь бы сызнова насыщаться
слепотой его дальнозоркой!

Михаил КУРАЕВ

ТАЛАНТ ОБЩЕНИЯ, ИЛИ ПОРТРЕТ ДРУГА НА ФОНЕ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Сейчас уже трудно вспомнить, когда я познакомился с Владимиром Николаевичем Зайцевым, и причина тому не забывчивость, а совершенно особый дар, коим обладал этот удивительный человек.

Есть особого рода люди, встречаясь с которыми через краткое время знакомства начинает казаться, что ты всегда его знал, просто давно не виделись...

Чаще всего это происходит при знакомстве с людьми, не умеющими и не стремящимися хоть как-то приукрасить себя и преподнести. Как правило, это люди, великолепно владеющие своей профессией, талантливые и потому не озабоченные тем, чтобы, как говорится, произвести впечатление. В нем была непосредственность, которая так идет всему талантливому и так искусно имитируется людьми, притворяющимися даровитыми.

Мне посчастливилось знать немало людей, именно таких, преданных своему делу, уверенных в себе, в своей способности отвечать самым высоким требованиям избранной профессии. Это золотой фонд моей памяти, там начальник строительства крупнейших в стране гидростанций и механик вертолетов, токарь-фрезеровщик и летчик-испытатель, командующий флотом и академик-литературовед, старший помощник командира крейсера и дирижер, преподавательница в школе слепых и гитарист-виртуоз, машинист паровоза и командир танковой дивизии, специалист по редкоземельным металлам и самый крупный в городе специалист по самым маленьким островам Ленинграда...

Удивительно, но в кабинете командующего флотом, при огромной разнице в званиях, я не чувствовал себя «не в своей тарелке». Ироничный и мудрый хозяин кабинета и доброй половины атомного флота страны, понимая мою скованность, су-

---

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет ЛГТИ им. А. Островского. С 1961-го по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор двадцати книг прозы. Произведения переведены на двенадцать языков. Лауреат Государственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в Санкт-Петербурге.

мел в считанные минуты сообщить мне почти уверенность в том, что наше общение желательно и необходимо нам обоим и даже ему немножко больше, чем мне. И так с каждым из названных мной знакомых. Вот и в святая святых отечественной книжной сокровищницы — Публичной библиотеке, в кабинете директора, осененной именами графа Строганова, Оленина, Корфа, Крылова, именно Владимир Николаевич Зайцев сообщил мне уверенность в том, что мое присутствие в этом кабинете желательно и даже необходимо... Можно было бы горделиво поискать в своей персоне нечто, объясняющее эту устойчивую закономерность, но дело вовсе не во мне. Этих замечательных людей самых различных занятий и судеб роднит, как я в конце концов, понял, интерес к людям, не вообще, а к каждому человеку, этот интерес и служит питательной средой и стимулом к развитию редкого и прекрасного таланта — таланта человеческого общения.

Человека можно выучить хорошим манерам, приучить держаться стиля поведения и общения, принятого в определенной среде, но человека нельзя научить быть талантливым. Редко, когда судьба фартит талантам, чаще испытывает, искушает, и, к чести Владимира Николаевича и к нашему общему благу, он прошел испытания и искушения, многим оказавшиеся не по силам.

Каждому из нас приходилось иметь дело с людьми, прошедшими отбор, а затем и многолетнюю школу, а это именно школа, комсомольской и партийной работы. Здесь были свои правила, свой стиль, которые, казалось бы, были приложением к должности. Зав. сектором — это одно. Зам. зав. отделом — уже другое. Зав. отделом — третье. Секретари третьего, второго и первого ранга — уже и походка другая, интонации, остроумие, строгость и снисходительность, все уже не такое, как у зам.зав.сектором или у «помощника по общим вопросам». Я помню, как на моих глазах преобразился Григорий Васильевич Романов, внешне, кстати сказать, чем-то чуть-чуть напоминающий Владимира Николаевича, особенно в шляпе, но только напоминающий, чтобы лучше увидеть разницу. Во все годы моей долгой работы на «Ленфильме» существовало строгое правило, по которому законченную картину, прежде, чем вести в Москву, в Госкино, нужно было предъявить обкому. Кто из «первых лиц» будет возглавлять команду первых зрителей, от мнения которых зависела дальнейшая судьба фильма, мы узнавали лишь в кинозале Смольного, на первом этаже, куда снисходили сотрудники областного комитета. Помню, когда появлялся Василий Сергеевич Толстиков, ничего хорошего мы не ждали. А вот, когда главным на просмотре был секретарь обкома по промышленности тов. Г. В. Романов, на душе становилось легко. При всей значительности своего поста он за культуру не отвечал, и потому был если уж не либерален, то вполне снисходителен. Но стоило тов. Г. В. Романову стать первым лицом, как мы сначала лицо его не узнали. А потом и перестали даже видеть. Нас, создателей фильмов, просто перестали пускать, то есть приглашать на «сдачу». Тов. Г. В. Романов или кто-то по его поручению фильм смотрели, а на студию приходило из Смольного «мнение»: «можно вести в Москву» либо «нужно поработать». Даже с самим Василием Сергеевичем Толстиковым, хотя он и сидел в конце небольшого кинозала за барьером из точеных балясин, с ним можно было по окончании просмотра, когда загорался свет, разговаривать! Ну разговаривать — это, конечно, громко сказано, понимали, что по ту сторону барьера в мягких креслах у столиков с пепельницами «отцы-благодетели», а мы, по эту сторону барьера, на откидных местах соответственно, «их дети», и все-таки что-то пояснить, что-то уточнить, что-то спросить, пообещать исправить «после Москвы» не без трепета душевного решались... И с секретарем по промышленности тов. Романовым можно было словом-другим обменяться, а с первым секретарем обкома, даже вскоре и членом Политбюро, тов. Г. В. Романовым все «разговорчики в строю» категорически исключались. Казалось бы, что и партийно-бюрократическая система, приведшая к вырождению самого типа партийного вожака, приведшая на высший

партийный пост ограниченного и унылого партбюрократа тов. Черненко Константина Устиновича, должна была гасить в призванных в партаппарат все человеческое и развивать функциональное. И, судя по результатам, именно так и проводилась «генеральная линия» в отборе кадров. Так оно и шло и дошло по «гегелевской спирали» до «отрицания отрицанием», до тов. Ельцина, не достигшего в партийной карьере поставленной задачи и решившего пойти к вершине власти, как говорил его вождь и учитель, «другим путем». Но то ли народ наш еще не был дотла развращен бюрократической стихией, то ли «аппарат» давал сбой, но на партийных должностях нет-нет и появлялись живые люди. То Е. Я. Зазерский, то Б. М. Фирсов, вот и Зайцев Владимир Николаевич. И самым главным, как мне кажется, их отличительным признаком была способность сохранять свое, именно свое, лицо, голос, рабочий стиль независимо от карьерного местоположения. Именно этих людей убирали из забега партийных карьеристов, отправляли на «хозяйственную», как у них называлась всякая непартаппаратная работа.

Впрочем, «с забега» снимали и проштрафившихся. Так, кстати, директором «Ленфильма» вдруг стал бывший секретарь Василеостровского райкома, мореход по образованию. Стал директором киностудии, «бросили на низовку», кажется, в наказание за оставшихся за рубежом двух василеостровцев. Так же вдруг этого «братишку» с манерами боцмана, три года продержавшего на абонементе единственную взятую в студийной библиотеке тоненькую книжицу, «Введение в эстетику», заменил на этот раз, как говорили, без вины виноватый председатель Облсовпрофа, тоже из номенклатуры ЦК. Но этот как раз был почти безмолвный, благовоспитанный, с крошечным беличьим лицом, за два года директорства не произнесший ни одного лишнего слова, ни одного «да» и ни единого «нет», только «здравствуйте» и «спасибо». Был еще сброшен на «Ленфильм» инструктор обкома, специалист по клубной работе, по пьяному делу пописавший на Марсовом поле, но этого отправили в начальники среднего разбора... И если директор-мореход из секретарей райкома напоминал мне знакомого командира авианесущего ракетного крейсера, назначенного командовать плавбазой, то профсоюзный вождь, казалось, управлял студией как чужим дорогим автомобилем по доверенности на ухабистой незнакомой дороге, осторожно и аккуратно, что позволило ему после двух лет ссылки вернуться на высокое профсоюзное сиденье. Впрочем, люди они были недурные, разве что пустые, и каждый по-своему. А наверх шли только лучшие из лучших, те, чья пустота была безупречно чистой и потому способной нести неискаженно свет последних Постановлений и Предначертаний! И было утешно видеть, как эти «крепкие партийцы», сменив символ веры, то бишь «лампочку Ильича», на церковную свечку, уверовав в бескорыстного Христа, в поте лица служат ненасытным деткам Мамоны. Осиротевшая дворня одним глазом приглядывалась к новым хозяевам государственного пирога, другим присматривала лакомые куски для себя...

Но как это не странно даже в системе партаппарата, в структуре по сути военизированной и настраивающей служащих на карьерный рост, попадались люди, для которых дело, практическая работа были куда интересней и важней, чем карьерная скачка или личное обогащение.

Это несколько затянувшееся отступление в наше благоухающее прошлое мне кажется необходимым для того, чтобы отдать должное тем качествам Владимира Николаевича Зайцева, которые позволили ему стать в библиотечном деле личностью, и государственной и международной значимости, а для великого множества людей, его знавших, человеком дорогим и близким. А главное, в условиях совершенно, казалось бы, невозможных для созидания, он мог созидать, сохранять и вести вверенный ему в пору величайшей распутицы коллектив намеченным путем, спасать и защищать национальное достояние.

Я отдаю себе отчет в том, что, не работая бок о бок, не зная, но лишь в общих чертах представляя тот труднообозримый круг забот и обязанностей, что достался ему на посту директора одной из крупнейших в мире библиотек, не могу судить о многих сторонах жизни и деятельности Владимира Николаевича. Но то, что я видел в течение более чем десяти лет, участвуя в работе ученого совета библиотеки, во многих мероприятиях, проводившихся в библиотеке, в работе методического отдела, в выездных акциях библиотеки, позволяют, как мне кажется, без боязни ошибиться, говорить о его редких в первую очередь человеческих качествах.

Вот говорят, времена не выбирают. Правильно, не выбирают. Но в одно и то же время, в одних и тех же обстоятельствах люди живут удивительно разно. Во все времена были негодяи, приспособленцы, карьеристы, стяжатели, самовлюбленные пустозвоны, и рядом с ними в те же самые времена жили люди бескорыстные, совестливые, подвижники, отдавшие свой труд и талант стране, обществу, людям.

Конец 80-х, сокрушительные 90-е, низвергнута идея общего блага, и тут же открылись широчайшие перспективы, скажем максимально мягко, «для работы на себя», когда под видом «нового сознания» наружу вылез пещерный эгоизм, когда время предъявило спрос на людей беззастенчивых, наглых, ухватистых, готовых поскорее проститься с «проклятым прошлым» и прихватить из него все, что можно унести и присвоить. Именно в это время в Ленинграде под водительством новых вождей меняли вывески на заводах и фабриках, уцелевших от «перестройки», меняли названия улиц, поспешно стирали с карты города имена не только Карла Маркса и Огородникова, но и Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Герцена. «Преобразования» скорее напоминали эпидемию, кого она захватит, кого минует, предсказать невозможно. Большой и Малой Морской вернули первобытные имена, а Бассейную и Троицкую такого счастья не удостоили! Почему-то вновь явившиеся господа, объявившие революцию «вне закона» — а когда и где она была «законной»? — не тронули ни Марата, ни Робеспьера, ни Энгельса... «И что это у них за страсть — поднять сумбур, скакать во весь опор, хлопотать, все делать опрометью, точно на пожар... и все это без всякой нужды! ...Роскошная постановка для доказательства верноподданнического усердия...» — можно было бы и дальше продолжить цитату из «Былого и дум» Герцена, чтобы видеть не только реставрацию капитализма, но и сохранение при этом исконно российских традиций безоглядной власти. Да, это было время, когда на Невском проспекте в ознаменование необратимости торжества демократии прописались голые девки под вывеской «Gold girls», когда городское начальство ставило себе в заслугу лишь «снижение темпов роста преступности», увы, временное, когда один за другим закрывались лучшие не только в городе, но и в стране дворцы культуры, превращались в «барахолки», а о строительстве и развитии учреждений культуры и речи не было. Нельзя сказать, чтобы ничего грандиозного в городе не делалось. По инициативе бойкого мэра рядом с Московским вокзалом снесли несколько зданий и вырыли яму, в яму, ставшую для городских мошенников «Полем чудес», «закопали» много миллионов то ли рублей, то ли долларов, нам не видно. Снявшие урожай пожелали остаться известными лишь в узком кругу. Мэра избиратели «ушли», «хождение» в Государственную Думу тоже не состоялось, прокатили, а вот яма надолго осталась памятником его яркой, как бенгальский огонь, деятельности.

И это же самое время стало временем благих преобразований, укрепления правовых позиций, расширения базы книгохранилищ, временем освоения новых технологий в библиотечном деле, временем строительства жизненно необходимого библиотеке нового здания на Московском проспекте. Новые ветры лишь сорвали старую вывеску с ненавистным, надо думать, для забежавших во власть органчиков именем Салтыкова-Щедрина, но дальше наружных стен их не пустили. Впрочем, разворовка, по термину Солженицына, заменившая ориентированную на созидание экономику и дальновидную политику, не могла пройти уж совсем мимо отечествен-

ной книжной сокровищницы. Атака, предпринятая вожаком воровской шайки «генералом Димой» на уникальные фонды, стала знаковым событием постсоветского времени. Но это были лишь пена и грязь, сопровождавшие реставрацию капитализма, а строительство, задуманное и начатое на исходе социализма и позволяющее библиотеке сделать шаг в будущее, продолжалось. Пожалуй, в это лихое время только два больших, огромной значимости объекта, оба незавершенные, но задуманные в расчете на будущее — вторая очередь Публичной библиотеки и Комплекс защиты города от наводнений, — только и выстояли под напором оголтелой демагогии, не поддались умерщвлению и уцелели при разворовке.

Было бы недостойно памяти Владимира Николаевича Зайцева приписывать лишь ему все заслуги в спасении библиотеки, в строительстве нового здания, в благотворных преобразованиях, произошедших в библиотеке за последние двадцать пять лет. Но не будет преувеличением сказать, что сам собой благодаря наработанной годами методе ни один вопрос в разгромные 90-е и тяжкие нулевые не решался. Более того, безвременье требовало максимум изобретательности как раз от тех, кто считал своим долгом не создание «нового класса собственников» с пропиской в этом классе для себя, а сохранение и преумножение национального богатства.

Не сгущаю ли я краски? Но не на наших ли глазах рождалось «чудище стозевно»? Не случайно же после двадцати лет реставрации капитализма в качестве приоритета стала «борьба с коррупцией»!

Вот в пору и задаться вопросом: как же в это самое время можно было продолжать начатое и преодолевать соблазны и препоны, оказавшиеся для начальников всевозможных рангов и уровней неодолимыми?

История человечества может рассматриваться в разных масштабах, но в конечном счете она состоит из человеческих поступков. Вот почему достойны особого почтения и доброй памяти те, кто поступал не только «по велению времени», но еще и по велению своей совести, своего разума, своего представления о том, что человек делать должен, а чего не должен делать ни при каких обстоятельствах.

Все решения, укрепившие позиции библиотеки, сообщившие новый статус и возможности, принимались после длительных и многотрудных переговоров и переписки с великим множеством инстанций малых, ведающих, к примеру, уборкой улиц и вывозом мусора, до самых-самых высоких, где распределяется Госбюджет.

Я помню, в какой трепет впал директор «Ленфильма», узнав, что на студию едет Назым Хикмет! Приемная была очищена от просителей, ловкие администраторы были посланы на Сытный рынок за зеленью и цветами, самые ловкие — за коллекционным коньяком. Турок, проведший многие годы в заточении, должен любить зелень и цветы или хотя бы одно из двух! Были отменены просмотр рабочего материала, пришедшего из экспедиции, и диспетчерское совещание. Реквизиторы срочно искали какую-нибудь вазу с полумесяцем, чтобы на время визита декорировать директорский кабинет. Казалось, что даже в ЦДТС, цехе декоративно-технического строительства, циркульные пилы запели голосами муэдзинов, а молотки, наверное, обмотали тряпками...

Как не похожа была вся эта суета и забегания на тот стиль, что был продемонстрирован директором и персоналом библиотеки во время визита Президента России на открытие нового здания на Московском проспекте. Сколько достоинства и естественности было и в приветливости благодарного хозяина, в его кратком и емком выступлении, в его словах доброй памяти об всех, кто долгие годы готовил этот торжественный день. Понятное дело, встреча с президентом, визит первого лица государства — это не только честь, но и возможность, минуя инстанции, обратиться с самыми насущными просьбами. И здесь уже важны опыт и даже известная мудрость. Вопросов может быть один-два, не больше. Как их выбрать из великого множества? Вопросы должны быть именно решаемые напрямую. Нужно найти и

время и место... Для настоящего руководителя подобные визиты и встречи — работа особого рода. Но в том-то и обнаруживает себя мастерство, что, кажется, будто мастер не прилагает никаких особых усилий. Я смотрел на Владимира Николаевича, знал о его неотложных заботах, но видел радушного хозяина и мог только догадываться, что прячется за его праздничной улыбкой. А в сущности, ничего и не пряталось. В его прямоте и открытости были и человеческое обаяние, и сила администратора. И природный дар всегда подсказывал ему верный тон в общении с самыми разными людьми, будь то милиционер, остановивший нас за проезд перекрестка «по желтому», или президент Франции, внимающий пояснениям в «Вольтеровском кабинете» отдела рукописей Публичной библиотеки.

Можно только удивляться, как многообразна и многотрудна была деятельность Владимира Николаевича, ученого, администратора сложнейшего хозяйства, каким является библиотека, активного деятеля международного и российского библиотечных сообществ, члена многих городских общественных организаций.

Со времен первого директора еще не открывшейся для публики Императорской публичной библиотеки предметом его забот были не только книги. Зарплата трубочистов и печников, штукатуров, «щекатуров» в транскрипции конца XVIII века, очистка улиц и дворов, слесарное и кузнечное хозяйство и даже отыскание места, более удобного для употребления для дров, коими топились многочисленные печи библиотеки.

Разумеется, у Владимира Николаевича были помощники, но тысячи квадратных метров кровли, их ремонт и уборка снега, вопросы достаточно масштабные, требовавшие немалых финансовых затрат, а лишних денег в библиотеке никогда не было. Именно денежные проблемы в первую очередь превращали дело реконструкции старых зданий и строительство новых в тягостно долгий процесс. Так уж повелось в истории библиотеки. В 1766 году граф Строганов представил Екатерине II проект «Плана Публичной Российской библиотеки в Санкт-Петербурге» и всего лишь через двадцать девять лет, в мае 1795 года государыня подписала указ, одобривший проект здания будущей библиотеки. Не прошло и двадцати лет, как в 1814 году библиотеку открыли для публики. Вот и здание библиотеки на Фонтанке, 36, главное прибежище студентов, закрытое на ремонт в 1972 году, ремонтировалось почти двадцать лет. И завершен этот ремонт был уже при Владимире Николаевиче Зайцеве.

Назначенный приказом министра культуры РСФСР 1 сентября 1985 года директором Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Владимир Николаевич уже к середине 1986 года добился принятия решения исполкома Ленгорсовета «О развитии материально технической базы библиотеки». А в октябре 1986 года состоялась закладка нового здания на Московском проспекте. Столь значимые и многотрудные решения могли быть приняты в течение года пребывания нового директора на своем посту лишь потому, что Владимира Николаевича прекрасно знали в городе, именно потому что он умел убеждать спокойно, аргументированно, по-деловому.

Зная нашу бюрократическую систему, где получение жэковской справки может вымотать душу, а сооружение стенного шкафа в квартире потребует немереное количество бумаг и согласований, легко представить, что значит «добиться решения исполкома», подготовить и начать строительство нового здания. А в мае 1988 года вышло постановление Совета Министров СССР «О мерах по укреплению и дальнейшему развитию материально-технической базы Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде». Вывести актуальную проблематику библиотеки практически одномоментно на городской, а затем и на государственный уровень, добиться правительственного постановления, сколько за

этим бесед и переписки, согласований, экспертиз, служебных записок... Чрезвычайно важно, что этим же постановлением библиотека была отнесена к первой категории научно-исследовательских институтов по оплате труда.

Нет нужды мне пересказывать то, что коллеги, разделившие труды и заботы своего директора, знают намного лучше. Одно перечисление направлений деятельности руководства библиотеки на рубеже веков, в пору внедрения новых технологий в библиотечное дело и переживаемого в это же время глубокого политического и экономического кризиса в стране, даст представление, в каком угрожающе бурном море пришлось вести свою флотилию капитану, случайно, как казалось несведущим, взошедшему на свой пост.

У людей много достигших в своем деле, иногда бывают обезоруживающе простые объяснения своего невероятного успеха. Помню, как дама, бравшая интервью у Святослава Рихтера, задала ему очень длинный вопрос о том, как ему удалось создать свою неповторимую исполнительскую школу. «Я внимательно смотрю в ноты», — ответил гений. Помню, и мне довелось спросить Владимира Николаевича, как ему удается успешно решать такое количество сложнейших вопросов. «Надо уметь разговаривать с людьми», — сказал Владимир Николаевич и улыбнулся. И в этом ответе была не только отговорка человека, которому не очень хотелось говорить о делах, в этом ответе действительно был ключ к пониманию его успеха. В любом деловом разговоре он умел видеть перед собой человека, а уж как ему удавалось «настроить» его на нужную волну, тайна таланта!

При всей занятости административной, государственной и международной деятельностью Владимир Николаевич находил время для плодотворной научной работы, достаточно подержать в руках объемистую библиографию его трудов, но самое, быть может, замечательное: у него находилось время и для дружеского общения. Когда я думаю, как же так случилось, что я попал в товарищеский круг Владимира Николаевича, признаюсь, ответ найти нелегко, да и едва ли его найду, а спрашивать о таких вещах меж друзей не принято.

Но вот такое предположение.

Людям, сверх меры загруженным заботами и делами, нужны отвлечения от этих неотступных дел. И мне кажется, что отсутствие между нами служебной или какой-либо иной формальной зависимости сообщало нашим отношениям, не скажу легковесность, но легкость, свободу и простоту. В этом, как принято говорить, солидном человеке сохранилась неизжитая склонность к игре, к тому счастливому дурачеству, без которого жизнь теряет веселые краски, становится опресненной, вицмундирной... Смею предположить, что в обширном кругу общения Владимира Николаевича было не так уж много людей— если они еще были! — с кем бы он мог позволить себе быть совершенно раскрепощенным. Ведь нынче и формат общения «без пиджаков» регламентирован почти так же строго, как «в пиджаках и валенках» или «robe negro». Одна из сохранившихся у меня фотографий запечатлела... о, ужас! — сражение на саблях в своем кабинете директора Российской национальной библиотеки, доктора филологических наук, советника Президента Российской Федерации Зайцева с... второго участника «поединка» назвать не уполномочен. То ли почетное оружие, прилагавшееся к многочисленным наградам Владимира Николаевича, то ли это были символические подарки, но сабли, вроде той, что возил Чичиков в своих странствиях, хранились в стенном шкафу кабинета. Впрочем, если директор Императорской публичной библиотеки Оленин, чей портрет украшает кабинет Зайцева, носил шпагу, почему бы в порядке возрождения утраченных традиций не повелеть носить саблю и нынешним, хотя бы директорам национальных библиотек?

Но «поединок» на саблях — это всего лишь веселый случай. Обычно я оказывался в кабинете Владимира Николаевича после каких-нибудь городских общественных мероприятий с неизбежным привкусом «ярмарки тщеславия». Если мы ухо-

дили вместе, следовал мой вопрос: «Вы домой?» Чаще всего в ответ я слышал: «Нет, надо еще к себе зайти, бумаги подписать, мне должны были оставить... Может быть, зайдете?»

Вот эти поздние часы в уснувшей библиотеке, в самой середине и сердцевине засыпающего города, странного и прекрасного, — бесценный подарок судьбы.

Портрет Крылова над камином, Оленин на правой стене от входа, стулья вдоль стены у окон завалены книгами, проспектами, фолиантами. Стол для совещаний с классическим зеленым сукном. На просторном красного дерева рабочем столе и компьютер, и груды бумаг, в которых без труда хозяин мгновенно находит нужную.

«Как вам удается так легко найти нужное?»

«Привык».

Нет, что бы ни говорили, но этот кабинет рядом с главным перекрестком города, место совершенно особенное. Оно устойчиво против инфекции низости, притворства, лицемерия, стяжательства под видом заботы о стране и народе, оно обязывает человека быть лучше, даже сверх силы... Здесь, на сукне директорского стола, как на лотке золотоискателей, оседает золото человеческих душ... Присутствие наших предков здесь совершенно реально. Как славно, что, по существу, первым директором библиотеки стал граф Строганов —личность, достойнейшая во многих отношениях. Широта его интересов, государственный ум, деятельный патриотизм, человеческая терпимость, обаяние, интеллект, вкус, они как бы стали мерой, которая будет прикладываться ко всем, кто вступит на этот пост. И Корф, и Оленин, и даже Делянов отдали Публичной библиотеке все лучшее, что было в их душах, в их сердцах. Почему «даже Делянов»? Но мы же помним, что с ним стало, когда он «пошел на повышение» и стал министром просвещения. Двойное повышение платы в университетах, «завинчивание гаек», преследование вольнодумства, закон «о кухаркиных детях», устанавливавший сословный ценз для входа в университет... Недоброй памяти министр, а вот директор библиотеки — доброй памяти!

Именно он, едва вступив в должность, возглавил работу по составлению нового устава и бюджета библиотеки. Проект современники оценивали как «в высшей степени либеральный и рациональный». При Делянове выросла смета расходов на нужды библиотеки, включая особые статьи на комплектование и каталогизацию фондов, а также на издательскую деятельность. Бюджет вырос при Делянове на 50 %. Всего не перечислишь...

И зачем это так подробно про Делянова Ивана Давыдовича?

Знакомясь с биографиями директоров Публичной библиотеки, предшествовавших на этом посту Владимиру Николаевичу Зайцеву, ловил себя на мысли о том, что он сумел от каждого из них унаследовать одну, две, три черты, из самых драгоценных. Вот почему в своем кабинете даже глубоко за полночь, в тишине он не чувствовал себя одиноким, рядом были те, кто лучшие свойства души и годы жизни отдал этому удивительному свидетельству человеческой истории, где каждая книга, каждый лист — чья-то жизнь, боль, надежда, труд...

Мне кажется, что именно так чувствовал он каждую страницу из вверенного ему необозримого собрания.

Здесь в шкафах, сработанных и по рисункам Воронихина, и менее именитых мастеров, на стеллажах, в хранилищах сошлось все великое человеческое многообразие, и за каждой страницей Владимир Николаевич Зайцев видел человека, властного или жалкого, мудрого или не очень, хитрого или прямого, щедрого душой или себе на уме, а с людьми разговаривать он умел, со всеми, с каждым...

...И почему же это люди, олицетворяющие собой, своим честным умом и деятельным талантом здоровье нации, так непростительно небрежны к своему собственному здоровью?

Лев БЕРДНИКОВ

ГЛАВНЫЙ САМОЕД ИМПЕРИИ

Когда-то, в лихие девяностые, известный российский политик Александр Лебедь придумал забавный оксюморон — «еврей – оленевод». И ведь не ведал тогда этот генерал-остроумец, что совсем скоро охотники и оленеводы изберут начальником Чукотки еврея Романа Абрамовича. Еврейская жизнестойкость, *однако* (прости, читатель, но без этого «однако» не обходится ни один анекдот про чукчей!), оказалась не только востребованной, но и удивительным образом созвучной чаяньям заполярных аборигенов. Но Абрамович был не единственным евреем в России, правившим северным народом: в позапозапрошлом веке император Петр Великий пожаловал своему любимому шуту, этническому еврею Яну Лакосте (1665–1740) титул короля другого «морозоустойчивого» племени — самоедов. Кем же был Лакоста и за какие-такие заслуги он удостоился чести главенствовать над самоедами?

Известно, что Ян был потомком марранов, бежавших из Португалии от костров инквизиции. Он родился в г. Сале (Северная Африка). До шестнадцати лет наш герой путешествовал, а затем с отцом и братьями обосновался в Гамбурге, где открыл маклерскую контору. Но торговля у него не задалась, доставляя одни лишь убытки. Обладая изысканными манерами версальского маркиза, Лакоста принялся было давать уроки всем «желающим в большом свете без конфузу обращаться зело премудреную науку, куплименты выражать и всякие учтивства показывать, по времени смотря и по случаю принадлежащие». Но и политес оказался делом неприбыльным. И тогда Ян решил «на ловлю счастья и чинов» отправиться в далекую Московию. Согласно одной из версий, он получил от русского резидента в Гамбурге разрешение приехать туда. Есть на сей счет и весьма авторитетное свидетельство друга Лакосты, лейб-медика при русском дворе Антонио Нуньеса Рибейро Санчеса: «Когда Петр Первый, император России, был проездом в Гамбурге, кажется, в 1712 или 1713 году, Коста ему был представлен. Петр Первый взял его с собой... вместе с женой и детьми».

Лев Иосифович Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил литературный факультет Московского областного педагогического института. Во время учебы сотрудничал с «Учительской газетой», где опубликовал десять очерков. После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987–1990 годов заведовал научно-исследовательской группой русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века (1715–1770 гг.)». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор трех книг и более 350 публикаций в России, США и Израиле. Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года. Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

И в том, и в другом случае Ян (или, как его стали величать, Петр Дорофеевич) мог поселиться в России только при одном условии: его отказе от религии отцов. Лакоста не был религиозным иудеем, значился католиком и потому-то беспрепятственно достиг Северной Пальмиры, а вскоре был принят на службу к русскому царю. «Смешные и забавные его ухватки, — говорит описатель "Деяний Петра Великого" И. И. Голиков, — полюбились Государю, и он был приобщен к числу придворных шутов».

Назначая забавником еврея, ведал ли Петр о давней традиции живописать шута, равно как и иудея, отрицателем Бога? Причем образы эти подчас замещали друг друга. Ведь в патристике евреи иногда отождествлялись с шутами, да и в средневековой иконографии они представлены буффонами, глумящимися и насмехающимися над мучимым Христом. По логике таковых ревнителей благочестия, шута и еврея объединяло то, что оба они погрязли в грехе, оба заправские мошенники, оба похотливы и обладают повышенной сексуальностью. И в визуальном искусстве той поры буффон и иудей облачены в одинаковую (и дьявольски отвратительную) одежду, в том же головном уборе, и несут в себе все внешние атрибуты демонизма. Характерно, что на картине Иеронима Босха «Корабль дураков» один из шутов наделен характерным еврейским символом. А в Московии, во время расправы над так называемыми «жидовствующими» в XV веке, церковные ортодоксы наряжали их скоморохами и со словами «Се есть сатанинское воинство» возили по новгородским улицам. Впрочем, русский царь был сам главным шутником эпохи и если даже был наслышан о подобных аллюзиях, ему не было решительно никакого дела до мнений оголтелых поборников старины — он издевался над ними и... грубо вышучивал.

А вот широчайшая эрудиция Петра Дорофеевича самодержца и впрямь покорила. Новоявленный шут свободно, говорил на испанском, итальянском, французском, немецком, голландском и португальском языках. Был весьма сведущ в вопросах религии: цитировал наизусть целые главы из Священного Писания и вел с монархом бесконечные богословские дебаты. Находившийся при русском Дворе голштинский камер-юнкер Ф.-В. Берхгольц вспоминает: «Я услышал спор между монархом и его шутом Лакоста, который обыкновенно оживляет общество...Дело было вот в чем: Лакоста говорил, что в св. Писании сказано, что "многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом"; царь опровергал его и спрашивал, где это сказано?». Тот отвечал, в Библии. Государь сам тотчас побежал за Библией и вскоре возвратился с огромною книгою, требуя, чтобы Лакоста отыскал ему то место; шут отозвался, что не знает, где находятся эти слова. «Все вздор, там этого нет, — отвечал государь». В этом диспуте прав, однако, оказался Лакоста, ибо он привел по памяти слова Иисуса из Евангелия от Матфея (Матф. 8:11). Смысл сего пророчества в том, что языческие народы признают учение Христово, а Израиль, то есть еврейский народ, христианства не примет.

Но едва ли выкрест Лакоста пытался приобщить Петра I к иудейской вере, как об этом рассказывает в своей повести «Еврей Петра Великого...» (2001) израильский писатель Давид Маркиш. Он рисует прямо-таки фантастическую картину: Лакоста, Шафиров, Дивьер и откупщик из Смоленска Борух Лейбов вместе празднуют Песах и побуждают русского царя надеть на голову ермолку, что Петр, кстати, без колебания делает. Сомнительна не только эта сцена, но и само существование в Петербурге начала XVIII века какой-то особой еврейской партии, покровительствующей своим соплеменникам и крепко спаянной корпоративными или религиозными интересами. Достаточно сказать, что иудей Борух Лейбов, облыжно обвиненный в прозелитизме, будет впоследствии сожжен на костре. К эпохе Петра I относится и первый случай кровавого навета в России (местечко Городня на Черниговщине, 1702 год).

Лакоста обладал внешностью сефарда; у него было умное и волевое лицо. «Он был высокого роста, — рассказывает его друг, тоже потомок марранов, лейб-медик императрицы Антонио Рибейро Санчес, — сухощавый, смуглый, с мужественным голосом, резкими чертами лица ». И современники, и позднейшие биографы не забывали о еврейском происхождении Петра Дорофеевича. Историк С. Н. Шубинский, характеризуя Лакосту, замечает: «Свойственная еврейскому племени способность подделаться и угодить каждому доставила ему место придворного шута». Думается, однако, что Петр обратил на него внимание не за эти качества (присущие, кстати, не только евреям, но и всему роду человеческому), а, напротив, — за бескомпромиссность и прямоту. Он был исполнен достоинства, грозного царя-батюшку звал кумом, с сановниками разговаривал на равных, деликатностью и тонкостью обращения изумляя природных россиян. Лакоста называл вора вором, без обиняков высмеивал пороки и злоупотребления придворных, а когда те жаловались на бесцеремонное поведение шута, царь невозмутимо отвечал: «Что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!».

Нередко Петр Дорофеевич в своей скоморошеской роли выступал своего рода дублером царя. Известно, что он помогал монарху резать боярам полы кафтанов и стричь ветхозаветные бороды.

Лучше Лакосты никто не мог ненавязчиво напомнить подданным о благе государства, о былых победах и достижениях. Неистощимое остроумие этого шута вошло в пословицу — он стал героем многочисленных литературных и окололитературных анекдотов. В них рассказывается о неизменной находчивости Петра Дорофеевича в любых житейских передрягах. Вот лишь некоторые примеры.

Лакоста пускается в морское путешествие, и один из провожающих его спрашивает: «Как ты не страшишься садиться на корабль — ведь твой отец, дед и прадед погибли в море?! — А твои предки каким образом умерли? — осведомляется Лакоста. «Преставились блаженною кончиною на своих постелях. — «Так как же ты, друг мой, не боишься каждую ночь ложиться в постель?»

Один придворный спрашивает Лакосту, почему он разыгрывает из себя дурака. Шут отвечает: «У нас с вами для этого разные причины: у меня недостаток в деньгах, а у вас — в уме».

Лакоста в церкви ставит две свечи: одну перед образом Архангела Михаила, а другую перед демоном, которого Архангел попирает своими ногами. К нему тут же обращается священник: «Сударь! Что вы сделали? Вы же поставили свечу дьяволу!» — «Ведь мы же не знаем, куда попадем, — невозмутимо отвечает Лакоста, — так что не мешает иметь друзей везде: и в раю, и в аду».

Лакоста прожил много лет со сварливой женой. Когда исполнилось двадцать пять лет со дня их женитьбы, друзья просили его отпраздновать серебряную свадьбу. «Подождите, братцы, — предлагает шут, — еще пять лет, и мы отпразднуем Тридцатилетнюю войну!».

Жена Лакосты ко всему прочему была мала ростом. «Почему, будучи разумным человеком, ты взял в жены такую карлицу?» — спрашивают его. — «Когда я собирался жениться, то заблаговременно решил выбрать себе из всех зол самое меньшее,» — парирует шут.

Лакоста якобы принял православие. Через шесть месяцев его духовнику сказали, что шут не исполняет никаких церковных обрядов. Духовник призвал новообращенного к себе и стал корить. «Батюшка, — ответствовал Лакоста, — когда я сделался православным, не вы ли сами мне говорили, что я стал чист, словно переродился? — Правда, говорил, не отрицаюсь. — А так как тому не больше шести месяцев, как я переродился, то можно ли требовать чего-нибудь от полугодовалого ребенка?».

Имея с кем-то тяжбу, Лакоста часто наведывался в одну из коллегий, где судья, наконец, однажды говорит ему: «Из твоего дела я, признаться, не вижу для тебя хорошего конца. — «Так вот вам, сударь, хорошие очки, — отвечал шут, подав судье пару червонцев.

Мы выбрали наудачу лишь несколько забавных эпизодов из жизни Петра Дорофеевича. Некоторые из них — плод безудержной фантазии (как и появившиеся в XIX веке анекдоты о проделках шута Ивана Балакирева). Но есть и истории, не только имеющие под собой документальную основу, но и ярко свидельствующие об отношении Петра Великого к своему любимому шуту. Говорится, в частности, о ненависти Лакосты к гоф-хирургу И. Г. Лестоку. И действительно, влиятельный хирург соблазнил дочь шута. Какую же позицию занял в этом конфликте царь Петр Алексеевич? Он принял сторону отца поруганной дочери и жестоко наказал обидчика, сослав в 1718 году Лестока в Казань под крепкий караул и без права переписки (тот был возвращен из ссылки уже только в царствование Екатерины I). Историк С. М. Соловьев замечает по этому поводу, что Лакоста был главным шутом государя. А у Петра, между прочим, было не менее дюжины шутов.

Есть искус окунуться в ту далекую атмосферу неистового балагурства и скоморошества, где правил бал великий шутник своего времени — Петр I. Это он издал знаменитый указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов» и воспевать здравницы и многая лета «еллинскому богу Бахусу и богине Венус». Это при нем был создан недоброй памяти Всепьянейший, Сумасброднейший, Всешутейший Собор, состоявший из людского отребья — чем дряннее человек, тем больше было у него шансов попасть в число «прихожан». При этом сам Петр занимал в этой шутовской иерархии скромную должность протодиакона, «исполняя обязанности свои с таким усердием, как будто это было совсем не в шутку». А знаменитые шутовские свадьбы, где невесте перевалило за шестьдесят, а жениху — за восемьдесят! А похоронные процессии карликов! А такое, к примеру, свидетельство очевидца: «Князя Волконского намазали смолой, поставили кверху ногами, забили ему в зад свечу, подожгли и стали водить хороводы с песнями. Дворянина Ивана Маслова надували мехом в задний проход, отчего тот и помер. К потехам царя все готовились, как к смерти». Шутовство Петра — тема отдельного обстоятельного разговора. Мы же сосредоточимся на одном забавном эпизоде того времени, а именно — на выборе потешного короля самоедов.

Здесь необходим исторический экскурс, иначе будет совершенно непонятно, кто же такие эти самоеды, как они жили в начале XVIII века и почему в голову царя пришла мысль поставить над ними главного.

Самоедами называли тогда кочевых ненцев. Русский географ XVIII века И. Г. Георги рассказывает, что живут они на Ямале и Мангазее, ведут кочевой образ жизни, а промыслы их состоят в звериной и рыбной ловле да в содержании оленей: «Семояди росту самаго небольшаго и редко бывают ниже четырех, а выше пяти футов. Впрочем, они коренасты, ноги и шея у них короткия, голова большая, лицо и нос нарочито плоския, нижняя часть лица немало выдалась вперед, рот и уши большия, глаза маленькие черные, веки продолговатыя, губы тонкия, ноги маленькия, кожа смуглая; волосу кроме головы нигде нет... он у всех черной и жесткий. У мужчин виден на бороде один только пух. Женьщины их постатнее, ростом ниже, и черты лица их понежнее, но так же, как и мужчины, некрасивы».

Самоеды были язычниками и поклонялись идолам, питались сырым мясом и пили кровь с большей охотой, чем воду, отличались воинственностью. Зимнее одеяние, которое они носили на голое тело, было сшито из оленьих, лисьих и других кож, а летнее — из рыбьих «шкурок». Это были люди весьма своеобычной менталь-

ности. Знаменитый шведский этнограф и путешественник Филипп Юхан фон Страленберг, побывавший у самоедов как раз в описываемое время, обратил внимание на то, что они пользовались даже особым способом подсчета: «Когда самоеды приносят свою дань, они связывают горностаев, белок и другие шкурки по девять штук. Но русские, которым это число девять не так нравится, при приемке развязывают эти связки и делают новые, по десять штук в каждой». Дикари при этом не понимали, чем не устраивают их такие замечательно удобные для подсчета связки. Как водилось у аборигенов, самоеды имели своего вождя, которому беспрекословно подчинялись.

Но великому реформатору Петру не было никакого дела до их традиций и обычаев. Он отчаянно воевал с отжившей стариной, и своих-то русских часто сравнивал с «детьми малыми», которых надлежало воспитать по его разумению. Что же говорить о каких-то там аборигенах! Самоедами должен править не невежественный дикарь-вождь, прислушивающийся к заунывным камланиям шамана, а именно «король» — политичный кавалер в европейском вкусе. Пусть даже экзотики ради он обрядится в самоедские шкуры!

Было это еще до приезда Лакосты в Россию, в 1709 году. Петр пожаловал тогда титул короля самоедов их «бледнолицему брату» по фамилии Вимени. Есть и другое свидетельство — этот авантюрист якобы сам объявил себя главным самоедом, а царь лишь подхватил и одобрил это. Так или иначе, Петр устроил Вимени шутовскую коронацию, для которой были специально вызваны 24 самоеда с множеством оленей, присягавшие новоявленному королю в верности.

Этот коронованный шут, сообщает мемуарист, принадлежал к «хорошему французскому роду, но в отечестве своем испытал много превратностей и долгое время содержался в заключении в Бастилии, что отразилось на нем периодическим умопомешательством». Приехав в Московию, он не разумел по- русски (не говоря уже о самоедском), и сохранилось письмо, в котором монарх приказывает: «Самоедского князя, который к вам из Воронежа прислан, вели учить по-руски говорить, также и грамоте по-славянски». С русским, однако, Вимени освоился довольно быстро и вскоре по приказу Петра перевел комедию Ж. Б. Мольера «Драгие смеянные» («Les precieuses ridicules»). Впрочем, как замечает писатель Д. С. Мережковский в своем романе «Петр и Алексей», этот «перевод сделан..., должно быть с пьяных глаз, потому что ничего нельзя понять. Бедный Мольер! В чудовищных самоедских [писаниях] — грация пляшущего белого медведя». А впоследствии М. А. Булгаков в «Жизни господина де Мольера» назвал этот же перевод «корявыми строками».

Царь, однако, очень дорожил Вимени и, как свидетельствует Брауншвейгский резидент при русском дворе Ф. Х. Вебер, поселил самоедов из его свиты на Петровском острове близ Петербурга. Тут-то и произошла стычка между шутовским королем самоедов и их натуральным вождем. Рассказывают, что вождь «напал на людей, приехавших осматривать остров, изгрыз им уши и лица и вообще ужасно зло и свирепо их принял», а когда его примерно наказали, вождь, словно подтверждая название своего народа, «вырвал зубами кусок собственного мяса из своей руки». Историк XVIII века В. Н. Татищев считал, что самоеды человеческое мясо «прежде ели и от того имянованы». В этой связи понятно, что, невзирая на любые литературные огрехи, Вимени был угоден Петру как человек европейской культуры, и его назначение королем «дикарей» весьма симптоматично.

Кортеж самоедов с Вимени во главе принимал участие в триумфальном шествии 19 декабря 1709 года по случаю победы над шведами в Полтавской баталии. Датский посланник Юст Юль оставил детальное описание этой процессии. «В санях, на северных оленях и самоедом на запятках, — пишет датчанин, — ехал француз Вимени; за

ним следовало 19 самоедских саней, запряженных парою лошадей, или тремя северными оленями. На каждых санях лежало по одному самоеду... Они были с ног до головы облечены в шкуры северных оленей мехом наружу; у каждого к поясу был прикреплен меховой куколь». И далее очевидец говорит об идейной подоплеке этого комического для европейского глаза действа: «Это низкорослый, коротконогий народ с большими головами и широкими лицами, — говорит он о самоедах и добавляет. — Нетрудно заключить, какое производил впечатление и какой хохот возбуждал этот поезд... Но без сомнения, шведам было весьма больно, что в столь серьезную трагедию введена была такая смешная комедия—. Вместе с тем шутовской король и его свита, по замыслу царя, символизировали сумасбродство настоящего шведского короля Карла XII, который пытался осуществить несбыточное — завоевать Россию, поделить ее на части и свергнуть Петра I с престола.

Вскоре после описываемого события француз-король самоедов ушел в мир иной. Очевидец описывает похороны, устроенные Вимени царем: «Много важных лиц, одетые поверх платья в черные плащи, провожали покойного, сидя на... самоедских санях, запряженных северными оленями с самоедом на запятках...».

Свято место пусто не бывает! Вместо француза Вимени следовало найти нового властителя самоедов. Писатель А. Родионов в своем романе «Хивинский поход» вкладывает в уста Петра I следующую реплику: «Шут он [Лакоста. —*Л . Б.*] изрядный, скоро я повышу его в звании. Лакоста будет королем самоедов и станет управлять “шитыми рожами” при моем дворе, а именовать его надлежит титулярным графом и церемонийместером увеселений».

Понятно, что Петра I вовсе не интересовала национальная принадлежность начальника дикарей: Лакоста, как и его предшественник, был человеком политичным, образованным, и именно это определило выбор царя. По свидетельству современников, церемонию коронования шута царь отпраздновал в Москве с большим великолепием: на поклонение новоявленному «королю» явились 24 самоеда, приведшие с собой целое стадо оленей.

Трудно предположить, что шутовской король действительно правил самоедами. По-видимому, он играл чисто декоративную и представительскую роль и тем самым увеселял государя. Петр Дорофеевич, этот шут, изощренный в политесе, щеголял теперь своим самоедским одеянием. В таком виде он принимал участие в многочисленных маскарадах. За исправную шутовскую службу царь подарил Лакосте остров Соммерс, что в Финском заливе. Петр не расставался с ним и часто брал с собой в многочисленные поездки: в составленном А. Д. Меншиковым списке лиц, сопровождавших императора, значится и наш шут, и ему приказано приготовить трех лошадей.

И при императрице Анне Иоанновне Лакоста продолжал оставаться придворным шутом. В новых условиях он, однако, был вынужден мимикрировать. Дело в том, что в подборе шутов и шутих для двора императрицы обнаружилось смешение варварского, низменного и галантного, изысканного. Если при Петре I шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глупость (они подчас обнажали тайные пороки придворной камарильи), то при Анне шуты были просто бесправными забавниками, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться политики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царственный сан своей хозяйки — ведь забавники выискивались теперь все больше из титулованных фамилий (князь М. А. Голицын, князь Н. Ф. Волконский, граф А. П. Апраксин), а также из иностранцев (Педрилло).

Остроты шутов отличались редким цинизмом и скабрезностью. Монархиня забавлялась, когда забавники, рассевшись на лукошках с куриными яйцами, начинали по очереди громко кукарекать. Ей были любы самые отчаянные выходки придворных дураков и дур — чехарда, идиотские гримасы, побоища. «Обыкновенно шуты сии, — писал мемуарист, — сначала представлялись ссорящимися, потому приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху».

Чаша сия не миновала и Лакосту: писатель Валентин Пикуль в своем романе-хронике «Слово и дело» живописует нешуточную баталию шутов с участием Петра Дорофеевича. Впрочем, еврейский шут Петра I выделялся на фоне других забавников Анны Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих «Путевых заметках о России», среди всех шутов монархини «только один Лакоста — человек умный». Петр Дорофеевич, надо думать, весьма потрафлял императрице — недаром был награжден специальным шутовским орденом Св. Бенедетто, напоминавшим своим миниатюрным крестом на красной ленте орден Св. Александра Невского. Орден сей «был покрыт красной эмалью с маленьким отшлифованными драгоценными камнями вокруг».

Иной историко-культурный смысл обрела и вся история с самоедским королем. В отличие от Петра I, при котором национальные костюмы служили мишенью пародии и сатиры, для Анны с ее любовью к фольклору они имели самостоятельную ценность. Ведь это под ее патронажем учеными Петербургской Академии наук был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций в отдаленнейшие уголки России. Очевиден и интерес императрицы к северным народам. Она не только подтвердила за Лакостой титул самоедского короля, но и указом от 22 июля 1731 года обязала Архангельского губернатора «чтоб человек десять самояди сыскать и с ними по одним саням с парою оленей, да особливо одни сани зделать против их обыкновения болши и к ним шесть оленей... И вести их, доволствуя, а не озлобляя, чтоб они охотнея ехали и за оленми смотрели». Известно, что в октябре 1731 года самоеды приехали в Москву.

А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карнавальное действо — «аудиенция самоядей» у императрицы. Сообщается, что «шут Лакоста разыгрывал роль важной особы при представлении самоедских выборных и, выслушав их приветствие, в старинной одежде московского двора... сыпал серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни, смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, потолкались и подрались между собою».

Именем любимого шута монархиня распорядилась назвать фонтан в Летнем саду, строительство коего мастер Поль Сваль начал осенью 1733 года. Достоверно известно, что в 1736 году водомет уже действовал. До наших дней он – увы! - не дошел, однако петербургский археолог Виктор Коренцвиг полагает, что сей фонтан украшала фигура Лакосты в натуральную величину.

К празднованию свадьбы шута М. Голицына и шутихи А.Бужениновой в знаменитом Ледяном доме зимой 1739–1740 гг. императрица «повелела губернаторам всех провинций прислать в Петербург по несколько человек обоего пола. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины». Эти разодетые посланцы всех населявших Российскую империю племен ехали на санях, запряженных оленями, волами, свиньями, козлами, ослами, собаками и даже верблюдами; играли на народных «музыкалиях», а затем ели каждый свою национальную пищу и залихватски плясали свои туземные пляски. В

числе участников процессии значатся и «копейщик один, во образе воина, в самоедском платье», «Лакаста во образе самоедского владельца», «самоеда, одного мужского, а другого женского вида".

Этнографическая пестрота костюмов призвана была продемонстрировать огромность могущественной империи и процветание всех ее разноплеменных жителей (и самоедов в том числе). Иными словами, она обретала ярко выраженный панегирический характер. Как возгласил в стихах на сей случай пиит В. К. Тредиаковский: «Торжествуйте все российские народы, у нас идут златые годы!».

Россия представала здесь страной многоликой и экзотичной. И самоеды с Лакостой во главе, как и другие российские народы, в этом своем подлинном, но пересаженном в столичный антураж виде выглядели маскарадно-фантастично.

После свадьбы в Ледяном доме имя нашего шута нигде больше не встречается. Но известно, что Анна Леопольдовна, ставшая осенью 1740 года регентшей-правительницей России при младенце-императоре Иоанне Антоновиче, уволила всех придворных шутов, наградив их дорогими подарками. Она гневно осудила унижение их человеческого достоинства, «нечеловеческие поругания» и «учиненные мучительства» над ними. И необходимо воздать должное ей, уничтожившей в России само это презренное звание (в шутовской одежде шуты при дворе больше уже не появлялись). А что Лакоста? Он ушел в мир иной в том же 1740 году. Может статься, устав от светской мишуры и придворной кутерьмы, он скинул с себя одежду главного самоеда империи и доживал свои последние дни тихо и неприметно, предвосхитив горькую мудрость своего далекого потомка-соплеменника, писателя Лиона Фейхтвангера, сказавшего словами своего героя: «Зачем еврею попугай?».

К 80-летию Бориса Николаевича Никольского

Наталия НИКИТАЙСКАЯ

ОН ВСЕГДА ЕЕ ЛЮБИЛ

Трудно писать о любимом человеке, когда и года не прошло со дня его кончины. И горе еще не унялось, и плакать все время тянет, и память подсовывает какие-то незначительные мелочи, а хочется-то сказать о самом главном, создать нечто вроде монументального портрета, чтобы каждый прочитал и проникся масштабом личности так же или почти так же, как прониклась в свое время ты сама.

Но мелочи, мелочи, мелочи — толпятся, наскакивают одна на другую, создают хаос. А не из этого ли хаоса и вырисовываются в итоге картины наших жизней? Не из этих ли мелочей?..

Наши с Борей отношения складывались как обычный «служебный» роман. Но складывались долго — целых 13 лет. А для Бори и того больше, так как, оказывается, за пять лет до начала романа, по его признанию, он уже «был влюблен и присматривался»... Сколько же счастья пропущено!..

Встречу с Борисом Никольским я считаю поворотным моментом всей своей жизни. Не случись ее, я бы и не знала, возможно, как это: быть любимой, избранной, единственной. Теоретически я всегда понимала, что от человека рядом зависит многое. На практике убедилась: это огромное везение, что тебя и понимают, и приподнимают над действительностью, и побуждают к постоянному росту. Не принуждают, а именно побуждают просто своим постоянным присутствием, своим образом жизни, своим поведением. Нам с Борей исключительно повезло: у нас не только совпадали профессиональные интересы, у нас совпадал эмоциональный уровень восприятия — и это несмотря на различия: я всегда была несколько нетерпелива, могла бурно выражать свои чувства, а Борю отличали скрытые (как я говорила, «скрытные») эмоции. Но при этом мы, если можно так сказать, дышали одним воздухом, смотрели в одну сторону, мы любили друг друга и разделяли на двоих все радости и тяготы этой жизни.

Когда наконец-то были официально оформлены наши отношения, моя мама, простой фельдшер, сказала со всей весомостью и значительностью: «Ну, вот ты и стала соратницей великого человека». Мы с Борей тогда весело рассмеялись. Во-первых,

---

Наталия Николаевна Никитайская родилась в Вологде. Писатель, автор книг «Вторжение Бурелома» и «Будь ты проклят, любовь моя», участница семинара Бориса Стругацкого. Живет в Санкт-Петербурге.

фраза все-таки отдавала стародавним революционным пафосом, во-вторых, ни я не претендовала на роль «соратницы», ни Боря не претендовал на «великого». Наоборот, сколько я помню нас вместе, столько и помню заявления Бориса Николаевича о том, что добился он в жизни гораздо большего, чем мог бы рассчитывать.

Это при его-то талантах, остроте ума, артистичности, уникальной работоспособности и любви к жизни!.. Именно на примере Бориса Никольского могу утверждать: излишняя скромность приносит вред. В первую очередь — носителю скромности.

Наши времена порой заставляют усомниться в полезности и такого человеческого качества, как честность. Боря же никогда не сомневался. Невозможно забыть, как мы входили в достаточно просторный номер гостиницы «Москва», куда поселили Борю уже в качестве депутата Верховного Совета, того, легендарного созыва 1989 года. Шли по номеру узкой извилистой тропкой, внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить на письма, разложенные на полу «по тематике». Писем было до черта и больше! И Боря, а тогда у него еще не было помощницы, стремился прочитать все. И по возможности ответить. Это был подвиг. Но именно так Боря понимал свое новое назначение. Честное исполнение долга — высокопарно звучит, но в приложении к Боре — простая констатация факта. Ведь и в «Неве», где он оставался главным редактором, даже работая депутатом (кстати, он тогда отказался от оплаты своего труда в редакции), он всегда прочитывал от первой строки до последней все материалы, которые попадали ему в руки. И большинство авторов, зная о том, что Борис Никольский никогда не будет судить о рукописи, пролистав ее «по диагонали», как это делали и делают во всех редакциях мира, особенно главные редакторы, стремилось передать свое творение именно в руки Никольского. И никому Боря в этом смысле не отказывал. Вот и читал рукописи и в транспорте, и на отдыхе, и даже в больнице, когда попал туда с инфарктом. И если что-то спасало его — то это быстрое чтение. Мне бы с таким объемом никогда не справиться. А ведь Боря прочитывал в обязательном порядке и все то, что предлагалось сотрудниками в номер.

Всегда задумывалась над тем, что же такое интеллигентность? Может быть, одной из составляющих этого понятия является как раз это — уважительное отношение к чужому и собственному труду?

Я ведь твердо знала, что сорок лет моей жизни рядом со мной был петербургский-ленинградский интеллигент. Тактичный, умеющий находить мирные выходы из самых, казалось бы, немирных ситуаций. Не уклоняющийся от сражений. Кулачных драк и мата не знал и не признавал всю жизнь. Но принципиальные битвы выигрывал. Так было, когда в «Неве» опубликовали — без купюр, на которых настаивал КГБ — «Белые одежды» Владимира Дудинцева. Публикация эта положила начало потоку, настоящему обвалу выхода в свет книг, до того бывших запретными. Так было, когда разворачивались нешуточные, во многом детективные истории вокруг принятия Закона о печати в Верховном Совете. Немногие, наверное, помнят уже, что именно по этому закону, созданному тогда при самом активном участии Бориса Никольского, наши СМИ в основном живут до сих пор... Но кто-то, конечно же, помнит.

Хотя, как мне пришлось убедиться на печальном опыте последних четырех лет жизни с Борей, память — это самое уязвимое место человеческого сообщества. Многим память изменяет. Очень многим. Изменяет с меркантильным сиюминутным интересом. Изменяет с завистью. Изменяет с честолюбивыми планами. Изменяет с жаждой, пусть и невыдающейся, но все-таки власти.

Впрочем, кто Никольского никогда не забывал, так это авторы.

Мало найдется тех, кто, однажды столкнувшись с Борисом Николаевичем как редактором, не признал бы в нем сразу же высочайшего ранга профессионала. Его замечания, рекомендации и просто советы всегда оказывались исключительно важными, очень точными. Автор порой и сам понимал, что именно в этом месте есть какая-то слабина, а Боря не только обозначал ее, но и предлагал вариант исправления, как правило, только улучшающий работу автора. А главное — Борис Николаевич Никольский понимал и принимал талантливых авторов самых различных, иногда прямо противоположных направлений и жанров в литературе. Тоже неоценимое для редактора качество. Никакой вкусовщины, только вкус. Никаких политических или национальных пристрастий — только качество самого литературного произведения.

Можно сказать, что и писательство, и редакторство были Бориным призванием с детства. В Литературный архив в свое время мы сдали сшитые такие детские тетрадочки — журналы. Статьи, рисунки, стихи, подписанные Бобом и Никой, Бориным братом-близнецом, который стал биологом и вырос в крупного ученого, Николая Николаевича Никольского. Выпуском таких журналов Боря увлекался довольно долго. Тогда же и писать начал, поставляя в свой журнал большинство материалов. И уже потом — в старших классах школы — написал свою первую повесть, с которой и поступил в Литературный институт им. Горького в Москве.

Борей было написано и издано много книг. И детских, и взрослых. И еще раз о памяти: кто эти книги вспоминает сейчас?! Кто помнит, что отклики на детские книжки о солдатской службе приходили в Детгиз мешками! К одному из переизданий Борис Николаевич создал даже дополнительную главу: «Почта “Солдатской школы”», в которой поместил и прокомментировал более двух десятков детских писем. «Здравствуйте, работники “Детской книги”! Решил написать вам письмо. Я выбираю профессию десантника. Всегда я прыгал с забора, но потом понравилось, стал прыгать с крыши и брал зонтик. Когда я вырасту, то после армии работать пойду в гараж. Андрей Зубков. Читинская область». «...Я — ученик 2-го класса “в” школы № 60 Новосибирской области. Я второй раз читаю эту книгу. И мечтаю стать танкистом или моряком. А еще я хотел бы стать летчиком. Ну, не успеешь все успевать. Терновой Андрей».

Уже позже сын моей подруги написал из армии: «Передай спасибо дяде Боре. Мне не пришлось так же трудно, как другим, приспосабливаться к армейской жизни, потому что я читал его «Солдатские часы». Очень мне это помогло». О подобном читательском признании — только мечтать! И при этом — ни одной значительной аналитической статьи о творчестве Бориса Никольского! Ни одного предложения о переиздании его книг: ни детских, ни взрослых! И еще раз о вреде скромности! Ну, не занимался Боря пиаром! Ну, не заказывал статьи о себе! Может быть, и сам еще недооценивал свое творчество. Хотя, скажем, одной только повести «Белые шары, черные шары», из жизни биологов, вполне достаточно для автора, чтобы навсегда войти в историю литературы.

Когда в тяжелые наши времена, уже после больницы, мы с Мариной Геннадьевной Хронихиной, ставшей впоследствии нашим верным другом, впервые поставили Борю на ноги возле кровати, он с большим интересом стал рассматривать книжные полки. «Все эти книги ты прочитал,— сказала я ему тогда.— А многие и написал сам». — «И все зря!» — прозвучало в ответ. Ну, не горько!

Одаренный от природы во многих областях, Борис Николаевич был еще и замечательным журналистом. Серии его статей в «Ленинградской правде» не только читали, но и собирали в подшивки. Может быть, потому что говорил автор в этих

статьях о самом главном: о несовместимости власти и нравственности, о совести, об умении не продаваться даже в самые продажные времена. То есть говорил о непреходящих ценностях. Ценности эти жили в нем самом.

Человек нравственный и совестливый, Боря нес с собой такое благородство души, какое во все времена встречается нечасто, а уж теперь-то и подавно. Последняя книга Бориса Никольского называлась «Святая простота». Значимое название. Говорящее. Характеризующее и самого Борю. Очень мне нравится портрет, помещенный на суперобложке. Задумчивый, немного усталый взгляд, вскинутая рука почесывает в раздумье голову. Да и книга, мемуаров по существу, тоже мне очень нравится: истории, в ней помещенные, рассказаны просто и правдиво (вообще это отличительные черты Бориной прозы — простота и правдивость), и события не подправляются, как это часто бывает, чтобы выставить автора в лучшем свете.

А еще Борис Никольский не отставал от жизни. Он внимательно следил и за политическими, и за культурными событиями в стране, Он продумывал и анализировал тенденции времени и делал определенные практические выводы. Так, первым в редакции он освоил компьютер в тот период, когда еще издательский процесс везде шел по старинке. А потом оснастил компьютерами и всю редакцию. Помню, подошел к нему тогда один из сотрудников и сказал: «Борис Николаевич, зачем такие деньги тратить на компьютеры, лучше бы выдать людям премиальные, если деньги есть». — «Неужели вы не понимаете, к чему идет мир?» — спросил Боря. Он-то понимал... И научился с помощью самоучителей всему: даже вроде бы совсем ненужной ему верстке. Все-таки для этого верстальщики есть. Но Боре всегда было необходимо понимать и знать весь путь издания журналов и книг до самого донышка.

Писатель, редактор, журналист, общественный деятель, Боря не успокаивался никогда. И на радио, и на телевидении он любил прямой эфир. Профессионалы подтвердят: таких людей немного. Это качество — мгновенной и самой точной реакции на порой очень неудобные вопросы — немало помогло ему и на тех самых, первых свободных выборах. Он умел полемизировать, отдавался этому занятию с азартом, но при этом никогда не прибегал, чтобы победить оппонента, к оскорблениям. А сколько он провел творческих встреч с читателями, каким был замечательным ведущим на вечерах своих друзей и коллег-писателей! Легкий, остроумный, он сочинял прекрасные поздравления, создавал атмосферу дружелюбия и взаимного уважения. Именно такая атмосфера царила и на последнем его творческом вечере, посвященном 75-летию. Как хорошо было на этом вечере, как много людей признавалось Боре в любви и преданности...

75-летие Бориса Николаевича Никольского — это своего рода водораздел. Там — 75 лет насыщенной, творческой жизни. Здесь — четыре года жизни «другой»... И как ни парадоксально это прозвучит, мы, близкие Боре люди, расцениваем эту жизнь как подарок. Борю после полученной в результате несчастного случая травмы не должны были довезти до больницы. Но довезли...

Тут и началась наша «другая» жизнь. Поначалу просто — борьба за выживание. Потому что, помимо сложной операции, была еще и двусторонняя, так называемая госпитальная пневмония. Боря лежал в реанимации, весь в трубках, практически бездыханный. В течение довольно длительного времени никто бы не поручился за его выздоровление. Никольский всегда отличался худобой, но когда спустя пять месяцев мы привезли его домой — мы привезли скелет, облаченный в кожу. И все-таки живой это был скелет. Живой! «Откормить тебя — вот наша задача!» — сфор-

мулировала я тогда вслух. И Боря улыбнулся!.. Это была первая его улыбка за всю болезнь. Очень слабая, кривоватая какая-то, но это была улыбка — я даже заплакала. Боря снова был с нами, был со мной!

Я никогда не вела дневников. Не было у меня этого в заводе. А жаль... Моя память — это не Борина замечательная память. Увы... Но какие-то заметки время от времени я делала, особенно во времена Бориной болезни. Записывала, чтобы потом, когда Боря полностью поправится, прочитать все это вместе с ним: вместе поплакать и посмеяться. Как выяснилось, мало записывала. Но кое-что есть. Вот часть этих записей:

«Без даты. В Институте мозга навещаю Борю в марлевой повязке. Он увидел меня и воскликнул: «О!» Потом вгляделся пристальнее и заявил: «Снимите ваше заблуждение». Засомневался — я ли перед ним».

«11 декабря 2008 г.

Цените то короткое время жизни, когда вы сами здоровы и вокруг вас здоровые люди: ваши родители, мужья и жены, братья и сестры, друзья — все... Я тоскую по тем временам».

«18 ноября 2010 г. На днях.

— Ты это будешь есть?

Подумал и ответил очень важно:

— Будет съест...»

«Без даты. Разговор про супчик.

— Уже купила? Сварила? Уже существует?»

Впрочем, хватит записей. За время Бориной болезни я сделала глобальное заключение: каким человек жил большую часть своей жизни, таким останется и в несчастье. Как был Боря нежным и внимательным, так и оставался нежным и внимательным. Как генерировал тепло вокруг себя, так и продолжал генерировать. Он по-прежнему любил семейные и дружеские чаепития. Смеялся, чуть ли не до слез, над фильмами Чарли Чаплина. Никогда не скандалил, не капризничал, не требовал к себе повышенного внимания. Он как был благородным человеком, так и оставался им. Физически слабый, духовно и душевно он оставался сильным.

Вот почему мы, вся Борина семья и все те, кто не оставлял нас в беде, считаем эти четыре года «больной» нашей жизни шикарным подарком судьбы. Боря был с нами, а чувства его к нам при этом стали еще более открытыми и прозрачными. И это было серьезной поддержкой в беде.

Как-то я спросила в шутку:

— Ты хотя бы любишь меня еще?

Боря задумался и ответил очень серьезно:

— Он всегда ее любил...

И это была чистая правда. Впрочем, если выразиться в том же стиле, то ведь и «она всегда его любила»... Всегда и навсегда...

Наталья
НАРЫШКИНА-ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

На набережную Кутузова, 6, в издательство «Детская литература», в библиотеку с огромными окнами на Неву, я начала ходить со школьных лет. Там, в Доме Детской книги, работала моя мама — детская писательница Мария Владимировна Нарышкина.

В этом доме всегда было интересно. Первый этаж занимала библиотека, редкая, а может быть, и единственная по составу книг, их содержанию и художественной красоте оформления. Здесь хранились книги еще XIX века. Были произведения детских писателей 1920-х годов, уже тогда составлявшие библиографическую редкость, например, книжки Хармса. Многие редкие книги, которых и во всем городе невозможно было найти, составляли золотой фонд этого книжного собрания.

На третьем этаже размещалась редакция — двери, двери, двери: в редакцию книг для малышей — для младшего школьного возраста, для среднего и для старшего школьного возраста. Здесь же были редакции научно-популярных книг и переиздания классической литературы. За этими дверями книги готовились к печати. Это святая святых издательства.

Второй этаж принадлежал Дому Детской книги на правах отдела издательства. В обязанности его сотрудников входило осуществление связи издательства с писателями и читателями.

В выставочном зале, в стеклянных шкафах, просвечивавших насквозь, выставлялись новые книги. Только родившись на свет, книга как произведение искусства являлась взору читателей-зрителей в этих прозрачных шкафах. По выставкам новых книг проводились экскурсии для школьников.

Здесь же проходили встречи авторов с читателями. Люди, пишущие книги, для читателей были почти полубогами. Встреча с писателем — это эпоха в жизни маленького читателя. Каких только писателей они не встречали в Доме Детской книги: знаменитых, старых, бородатых... и совсем юных, читавших свои стихи звонкими голосами.

Моя мама — Мария Владимировна Нарышкина — вела переписку с читателями всего Советского Союза. Каждый день секретарь клала ей на стол около ста детских писем с вопросами, с благодарностями, с просьбами, а также с предложениями.

Наталья Андреевна Нарышкина-Прокудина-Горская — доктор искусствоведения, академик Академии гуманитарных наук, академик Академии истории культуры, профессор Института международных образовательных программ Санкт-Петербургского политехнического университета.

Автор более ста публикаций, восьми книг, наиболее известны из которых: «Петропавловский собор», «Белоколонный храм науки и культуры». «Наш Пушкин», искусствоведческая повесть «О мире, о войне и славе», новеллы о петербургских музеях «Жизнь моя — музеи» и др.

Детскими отзывами живо интересовалось все издательство. Были специальные редакционные советы, где мама зачитывала детские письма, многие из них вызывали бурную реакцию.

Помимо этого, мама от издательства «Детская литература» была куратором Литературного объединения начинающих детских писателей.

Она отбирала наиболее интересные произведения, доводила их вместе с авторами до уровня, необходимого для опубликования. И каждый год в свет выходил очередной номер альманаха «Дружба», составителем и редактором которого она была.

ЛИТО собиралось на набережной Кутузова, 6 каждую пятницу.

Вел эти творческие семинары Борис Николаевич Никольский.

Он был руководителем литературного объединения от Союза писателей.

Относился к этому живому делу чрезвычайно серьезно. А главное — обладал талантом делать замечания, не обижая авторского самолюбия. Подсказывал автору, не впадая в мелочи и не сочиняя за него, как это нередко делают руководители литературных объединений.

Я часто посещала занятия ЛИТО, дружила со многими авторами. Борис Николаевич вел занятия ровно, доброжелательно и, как говорили молодые писатели, «в снятом виде»: не критиковал автора, даже не обращался к нему по имени, когда его обсуждали, а анализировал лишь сам текст.

Разговор шел как будто не с автором, а с его произведением, так сказать, с самим «литературным шедевром». Это нравилось молодым, от этого создавалось деловое творческое настроение, сразу хотелось начать писать.

Обсуждение после этого среди начинающих писателей было горячее, а Борис Николаевич оставался спокойным, я бы даже сказала «величавым», если бы не его интеллигентная скромность и внимательность.

Я тогда была студенткой, и мне, конечно, хотелось написать большой роман. Но на ЛИТО я ходила с «новеллами о художниках». Так как мама была куратором ЛИТО, то читать там свои произведения я стеснялась.

Выступить мне предложил Борис Николаевич: «Наташа, мы бы хотели познакомиться с вашими новеллами». Это было лестно слышать — моими новеллами заинтересовался сам Никольский!

Я прочитала свое повествование о Левитане и Чехове. Мне оно казалось почти романом, столько я туда вложила души и так переживала за отношения этих талантливых людей и за их творчество.

Борис Николаевич отметил, что материал очерка нов по трактовке и по авторскому голосу, но хотелось бы сузить зону сюжета — на чем-нибудь одном, на творчестве Левитана, например, или взять отдельной темой музей Чехова, и это стало бы основой очерка. «А потом уже можно добавлять и пейзажи, и лирику отношений».

Помню, что мне понравилось слушать про «трактовку, структуру и авторский голос», но было обидно, что мое творение назвали «очерком». Нет, настоящий искусствовед не может быть понят писателями. Только значительно позже я поняла, что слово «очерк» для моей первой искусствоведческо-писательской пробы неопределенно-расплывчатого жанра было самой, какой только можно, уважительной оценкой.

Но тогда я расстраивалась, я не хотела быть очеркистом, а желала быть искусствоведом и писательницей.

Я продолжала ходить на все занятия, но от предложений прочитать еще какой-нибудь очерк гордо отказывалась.

Видимо, в конце концов Борис Николаевич догадался, в чем дело, и снова поинтересовался моими «новеллами»: «Пишете ли вы что-нибудь о музеях?»

Мы с мамой обсудили тему моего выступления, она предложила мне написать про музей Григория Александровича Пушкина под Вильнюсом, который мы с ней посетили летом. Я столько раз рассказывала о своих впечатлениях от этого музея своим знакомым, что мне было это нетрудно написать и выступить среди взрослых писателей тоже не страшно.

Когда на этот раз началось обсуждение, мне было уже интересно каждое мнение всех членов ЛИТО — «литовцев» — кто как бы написал на эту же тему, на что больше обратил бы внимание, а что опустил вовсе.

В заключение выступил Борис Николаевич и сказал, что сегодня произошло событие — «утверждение нового литературного жанра — искусствоведческой новеллы», и он поздравляет с ним «автора и всех его коллег».

Так прошло в ЛИТО мое «боевое крещение».

Борис Николаевич умел привлечь молодых писателей к участию в литературном объединении. Может быть, поэтому ЛИТО при Доме Детской книги было самым многочисленным в Ленинграде. Юрий Степанов сочинял сказки, Наталия Крудова писала о животных. Были здесь и лирики, и сатирики, и юмористы. ЛИТО на Кутузова, 6 было не только многочисленным, но и разнообразным по творческим индивидуальностям, манерам и жанрам.

И это, конечно, важный штрих в многогранной деятельности Бориса Николаевича Никольского — талантливого писателя, главного редактора одного из ведущих журналов города на Неве, общественного деятеля.

Тогда я и представить себе не могла, что многие годы спустя я стану профессионально работать в жанре «новелла о музее», а в 2005 году — сорок лет спустя — даже напишу целую книгу «Жизнь моя — музеи. Новеллы о петербургских музеях».

Я глубоко благодарна этому литературному объединению за ту творческую, дружескую и деликатную атмосферу, которая там царила, которую с такой любовью и терпением создавали руководитель объединения Борис Николаевич Никольский и куратор Мария Владимировна Нарышкина.

Молодые писатели и поэты, которые были тогда надеждой ЛИТО — будущим отечественной литературы, сегодня — уже признанные знаменитости.

Один из них Владимир Арро. В 1966 году в альманахе «Дружба» впервые была напечатана его повесть «Белые терема». В ней автор знакомил читателей с жизнью интерната. Знакомил самым необычным, талантливым образом. Главу, в которой писатель представлял интернатских учителей, он назвал «Разные голоса». «Если встать, — писал он, — посредине нашего узкого коридора, то узнаешь сразу уйму интересных вещей».

В этой повести была поднята важнейшая социально-нравственная проблема, и не одного только интерната. И как мягко, убедительно и просто решал ее учитель — автор этой повести.

Прошло много времени, а болевые точки, затронутые в повести Владимира Арро, и сейчас еще остаются актуальными.

Всеобщей любовью пользовались в ЛИТО многие молодые авторы, в их числе Игорь Иг. Он любил юмор. С тонким юмором написан его рассказ «Сижу, думаю», опубликованный в «Дружбе».

Тема труда, которую он затронул в своем рассказе, — нелегкая для пера, но читатели ее любят. Желание и умение создавать что-либо собственными руками всегда находит отклик у ребят. Вот и получается, что этот рассказ из почти сорокалетнего «вчера» ЛИТО звучит «сегодня» свежо и остро.

В числе постоянных авторов ЛИТО был Эдуард Сухомлинов. Он служил во флоте на подводной лодке. Со страниц его произведений вставали яркие образы защитников отечества с их принципами взаимопомощи в трудных ситуациях в открытых

морях и океанах против всех случайных и неслучайных проявлений враждебности.

Прочитав в «Дружбе» рассказы Эдуарда Сухомлинова, многие школьники слали письма в издательство, что они тоже хотят служить во флоте на подводных лодках. «Хочу стать защитником подводного царства», — было написано в одном из детских писем.

Часто печатались в «Дружбе» стихи Михаила Яснова. А совсем недавно по радио со стихами выступали уже его ученики. И Михаил Яснов — сегодня маститый поэт — каждое прочитанное стихотворение радостно приветствовал, подбадривая «молодую поросль» современной поэзии: «Молодец, Танечка, гениально!» или Очень очень неплохо, Коленька, ты настоящий талант!»

В этом узнаются и сам Михаил Яснов, и те традиции литературного объединения, из которых он вышел.

Творчество молодых живо сегодня. Оно живо благодаря энтузиастам, чутким творческим наставникам, которые учили нас.

Литературное объединение посещали и в «Дружбе» печатались талантливые молодые Сергей Довлатов, Валерий Попов, Валерий Воскобойников, Яков Гордин, Иван Сабило, а также Николай Кузьмин, Дмитрий Николаев, Юрий Поленов и многие-многие другие. Целая плеяда писателей вышла из этого ЛИТО.

Это была замечательная страница культурной жизни Ленинграда шестидесятых—семидесятых годов.

Александр КУРГАТНИКОВ

ОН СЛУЖИЛ ИСТИНЕ

Когда встречаешься с человеком на протяжении сорока лет, кажется, что можешь построить некую линию его жизни; казалось и мне; но стоило начать записывать, и иллюзия испарилась. Возникли очень конкретные места наших встреч (почти экскурсионная цепочка) и очень конкретные темы бесед, и везде — странно! — я вижу как будто неменяющегося Бориса Николаевича: худощавый — не то слова: «сухопарый», «поджарый», «вверх-вверх тянущийся», стройный; немногословен, всегда приязненно-сдержан.

Короткая экскурсия воспоминаний начинается с Литейного, где обитала редакция журнала «Аврора», переходит на Шпалерку (Воинова) в дом Союза писателей, продолжается на Невской перспективе в редакции «Невы», потом делает размашистый зигзаг к метро «Политехническая» и возвращается на набережную Мойки — последний адрес. Мизансцена наших бесед по смыслу неизменна: Никольский — заве-

---

Александр Владимирович Кургатников родился в 1934 году в Ленинграде. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, драматург, прозаик. Работал инженером; с давних пор занимался театром, историей России и античностью. Пьесы шли в Москве, Ленинграде, других городах; публиковался в журналах «Новый мир», «Нева», «Всемирное слово», «Современная драматургия», «Театральная жизнь» и др. Книги: «Практически счастливый человек», «Ночная утопия», «Русская старина», «Суд над Сократом», «Год 1740» (серия «Роковые годы России»), «Императорский Михайловский театр» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

дующий отделом прозы, секретарь союза, потом главный редактор; я — сочинитель, предлагающий литературный товар.

...И вот уже слышу слегка грассирующий голос с небольшими цезурами обдумывания и точные слова, достающие самую суть произведения: понимание художественности у Бориса Николаевича было абсолютным, и именно этим определялось его отношение к любому тексту любого жанра. (Разумеется, кто ж не ведает, публикация как результат зависит от «направления», «актуальности», «ангажированности», «редакционного портфеля» и т. д., но об этом и поминать скучно.) Притом Борис Николаевич никогда не опирался на мнение литературных авторитетов или других сотрудников, всегда и все прочитывал сам, не по диагонали, не «навырез», а насквозь, и потому его суждения были любопытны, вески, возникал диалог, не скажу, утешавший автора, когда звучит дежурное «к сожалению...», но кое-что (и немало!) дающий для будущего, если слушать внимательно. Никольский был тверд в решениях, но не категоричен, противоречия в этом нет: и в случае одобрения, и в случае отказа он объективно оценивал рукопись. Даже его манера разговора представлялась своеобразной: помню, в запропащем 1970-м звоню в «Аврору» с традиционным вопросом о судьбе своих рассказов — пауза и спокойно-бытовая интонация: «Ваши дела неплохи...» Забавность фразы запомнилась.

В «Неве» начала девяностых я публиковался и, соответственно, появлялся довольно часто, но видеть Бориса Николаевича приходилось редко: его избрали народным депутатом СССР (Москва, Кремль). Море великой людской стихии волновалось: «Так и вздулись сердитые волны...», разыгрывалась вечная «Сказка о рыбаке и рыбке» (непростой, золотой; продолжается до сих пор!). Никольский стал участником событий политических — не только как абсолютно честный, справедливый, умный деятельно, но и как наблюдательный, талантливый писатель. В первом качестве от него зависело не так уж много, зато благодаря второму им написана замечательная документальная книга «Кремлевские миражи», одно из лучших свидетельств о времени, столь значимом для нашей истории, противоречивом и, увы, отдающим нередко delirium'ом tremens.

Вести ежемесячник в те годы было, надо полагать, в высшей степени трудно: вектор читательского интереса повернулся на 180 градусов, никого больше не трогали ни прямолинейные обличения, ни «фиги в кармане», ни даже опусы с этикеткой: «писал в стол». Выход был найден в жанровом и стилистическом разнообразии, в документальных, публицистических и исторических экскурсах-исследованиях, без заданности и подкраски; в особенности удачной находкой стало появление в «Неве» захватывающе-неожиданных сюжетных рубрик о родном городе: «Петербург императорский», «Петербург пушкинский», «блокадный», «эмигрантский» и т. д.

Как-то раз мы сидели с Борисом Николаевичем в его кабинете на Невском, и он (несколько неожиданно) заговорил о будущем журнала, о том, как набирает скорость колесо эпох–поколений, как трудно угнаться за стремительной сменой пристрастий и мод... если гнаться. И тут, в контексте этих размышлений, назвал Томаса Манна как писателя, чей уровень психологического и философского осмысления мира и людей считает высоким образцовым... Имя великого немца прозвучало в ауре некоторой торжественности, Б. Н. встал, прошелся по комнате, провел ладонью по ребру батареи: «Арктика, очередная пробка, завоздушило»; он усмехнулся, как будто снимая бытовой проблемой пафос предыдуших слов — очень в его духе! (Замечу, что тогда зловредные «пробки» играли немаловажную роль в жизни «Невы», так что некоторым сотрудникам приходилось уходить пораньше, чтобы не «заледенеть».)

В той мемуарной экскурсии, о которой я поминал вначале, существовал и «морской» эпизод: в начале девяностых мы оказались вместе на теплоходе «Константин Симонов» в писательском круизе по странам Балтии. В путешествии по воде, под небом, распахнутым до окоема, самоощущение людей меняется, и Никольский ис-

пытывал, казалось, непривычную «легкость бытия», улыбался, шутил. Рассказывал разные юморески из своего редакторского архива: например, о некоем господине, присылавшем письма с обвинениями во всех тяжких грехах, и что у него (Б. Н-ча) руки обагрены кровью (литературной); синхронно сей господин атаковал журнал своими многостраничными опусами.

Особенно запомнился Борис Николаевич мне на Готланде, острове «посреди винноцветного моря, прекрасном», где он в полной мере и от души наслаждался и естественной красотой земли, и рукотворной красотой изобилия, ухоженности, упорядоченности. Все уже направлялись на борт, а он еще стоял на развилке дорог: ветер перебирал его крепкую шевелюру, и было видно, как он втягивает воздух на всю глубину легких, закинув голову, зажмурив глаза...

Таким и остался во мне его образ — из далекого солнечного дня — образ человека, всей жизнью служившего добру и истине.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

МОЙ САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ДРУГ

Боря был самым правильным на нашем курсе, даже слишком. Отличник, не пил (почти), не курил, за девочками и вовсе не бегал. Умный, справедливый, идейный и просто красивый парень. Положительного героя он мог писать с самого себя. Немудрено, что сразу стал расти по комсомольской линии.

Каюсь, в свое время я воспользовался им как прототипом для моего Алика из повести «Пять точек на карте», в каком-то смысле он играл роль антипода «неправильного» Коли Карцева, которого (опять же каюсь) писал частично с самого себя. Но ни мои «герои», ни мы сами не были противниками, отношения складывались по-товарищески добросердечно. Хотя, конечно, и пикировались и подтрунивали друг над другом...

Кирилл Владимирович Ковальджи — поэт, прозаик, критик, переводчик. Родился в 1930 году в бессарабском селе Ташлык (теперь Одесская область, Украина). В 1940 году в Белгороде-Днестровском окончил среднюю школу и Учительский институт. Печатается с 1947 года. Окончил московский Литературный институт им. А. М. Горького в 1954 году, работал журналистом в Кишиневе. Там же выпустил первый сборник стихотворений «Испытание» (1955), был принят в члены Союза писателей (1956). С 1959 года живет в Москве. Работник аппарата правления СП СССР, затем ответственный редактор журнала «Произведения и мнения» (1971), зав. отделом и член редколлегии в журналах «Литературное обозрение» (1972), «Юность» (1979), главный редактор издательства «Московский рабочий» (1992–2001), член Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ (1995–2001). Работает в Фонде СЭИП главным редактором интернет-журнала «Пролог». Лауреат литературной премии Союза писателей Москвы «Венец» (2000). Награжден медалями СССР, Румынии и Молдавии. Заслуженный работник культуры РФ. Около двух десятилетий руководил поэтической студией, вел творческие семинары в Литературном институте. Секретарь Союза писателей Москвы, член русского ПЕН-Центра.

Не знаю, куда делся его отец, — мать одна воспитывала его и брата-близнеца, причем так привязывала их к себе своей истовой (жертвенной?) любовью, что оба брата женились только после ее смерти — когда им было лет под сорок.

Я был как-то у него к гостях в Ленинграде и к слову похвалил его перед его мамой и как сильного шахматиста (Боря, первокатегорник, мог играть и «вслепую»), и тут его мама призналась мне, что сознательно учила братьев шахматам, мечтала даже вырастить из них чуть ли не чемпионов, и все это, как я понял, чтобы держать их подальше от политики. Страх, меня удививший, поскольку мое детство прошло в совсем иной среде (в румынской Бессарабии) и я понятия не имел о менталитете тех, кто пережил советские тридцатые годы...

Боря делал вполне успешную честную карьеру — она известна, он стал во главе одного из видных литературных журналов, выпустил несколько вполне добросовестных прозаических книг, а в годы перестройки пережил свой «звездный час»: прекрасно выступал как депутат первого съезда — того самого, горбачевского.

Что ему стоило пересмотреть свою прежнюю партийную правильность? Думаю, дорого и больно. Всё случилось после института и после его призыва в армию. Но несомненно, что надлом был драматичным. Он запил, вернее — стал запойным. То держался, то срывался...

Этого от него я никак не ожидал. Хотя мог догадаться, что такая участь — не редкость для совестливых советских писателей...

Однажды, уже будучи депутатом, он пьяный завалился ко мне домой, выпил еще и еще, становился всё печальней. Мы с Ниной его уложили спать. Где-то в шестом часу утра я проснулся от тихого шороха и едва успел догнать Борю в коридоре у двери. Он тихо проснулся среди ночи, тихо оделся и попытался столь же тихо и незаметно смыться, чтобы вернуться в гостиницу. Ему было стыдно...

В феврале 1953 года я и Боря были на практике в Кишинёве в газете «Молодежь Молдавии», где по-прежнему главным редактором работала Екатерина Бибилейшвили (в прошлом 52 году я был у нее на практике с Олегом Бушко-Жуком). Запомнилось только, что к Боре (и ко мне) благоволила девушка по имени Воля. К слову, за все годы в Литинституте я не видел Борю с девушкой.

Тогда по настоянию Бибилейшвили я наскоро сочинил дежурный стих на тему «первого народного депутата» Сталина. По иронии судьбы этот стих был опубликован на обороте полосы, где был напечатан бюллетень о тяжелой болезни вождя. Вполне возможно, мой стих о Сталине оказался последним о нем как о живом...

Боря любил поэзию, дружил с поэтом Сашей Гевелингом, и однажды он, убежденный прозаик, придумал две стихотворные строки, которые мы сразу подхватили как сенсацию:

Мои не раз целованные губы
К твоим ни разу не целованным губам...

То ли Саша Гевелинг, то ли Леша Смольников размножили эти стихи в десяти экземплярах и развесили на стволах берез и сосен по дороге на станцию (наше общежитие располагалось в Переделкине). Под двустишием красовалась подпись: «Борис Никольский».

Бедный автор бегал по лесу и изымал экземпляры своего сочинения. Посмеялись бы, и ладно. Но вскоре заявился милиционер к автору с расспросами, зачем он развесил эти «листовки» и что они означали...

Однажды с Борей был странный случай. Стоял он неподалеку от института, прислонясь к стене, — ждал ли кого или о чем-то думал, но вдруг прилично одетый

мужчина средних лет несколько раз прошел мимо него туда и обратно и наконец, волнуясь, попросил его выслушать:

— Молодой человек, я вот наблюдаю за вами, я хороший физиономист, я вижу, вы чистый и честный юноша. Я вас прошу, помогите мне. Я очень люблю свою жену, но ей мало того, что я могу ей дать. Я от этого очень страдаю. И она. Пойдемте к нам, мы живем неподалеку, я вас с ней познакомлю, она добрая, ласковая. Побудьте с ней тоже, ничего тут плохого нет. Я вам доверяю...

Опешивший Боря наотрез отказался... Даже и потом краснел, рассказывая...

Узнав о смерти Сталина, мы тут же отправились из Кишинёва в Москву и прибыли 9 марта в день похорон. Собравшись в конференц-зале института, мы слушали трансляцию речей, произносимых с Мавзолея руководителями страны. Громкие рыдания раздавались во время выступления Берия: подействовал, видимо, его грузинский «родной» акцент.

Я горя или особого потрясения не испытывал, я был преисполнен исторической значительностью происходящего, острым интересом к тому, что последует. Еще я дивился массовому желанию «проститься» со Сталиным в Колонном зале, словно его собирались хоронить. Ясно же было, что его просто перенесут через площадь в Мавзолей и там он будет вполне обозримо лежать рядом с Лениным...

Через пятьдесят лет после окончания Литинститута Борис Никольский, главный редактор «Невы», решил посвятить чуть ли не целый номер «юбилею» нашего курса (2004, № 5). Он обратился к бывшим сокурсникам с просьбой принять участие в этой затее. И многие, в том числе я, откликнулись. Но я упоминаю об этом потому, что весьма интересна и значительна сама вступительная статья Никольского. Боря откровенно рассказал о том драматичном, что с ним происходило в те годы. Жаль, что потом в книге «Воспоминания о Литературном институте» эта статья вышла в весьма урезанном виде...

Больным и старым я его не видел. В моей памяти он остается юношей со страдальчески-правильной выправкой, со слегка вскинутой головой, красиво окаймленной волнистой шевелюрой.

Дмитрий КАРАЛИС

ЧЕЛОВЕК-РЕКА

В Борисе Никольском жила загадка. Казалось, он и сам знает о ее существовании и время от времени размышляет: а надо ли ее разгадывать, надо ли раскладывать по полочкам то, что не раскладывается?

Человек с загадкой всегда интересен. Борис Николаевич не производил впечатление человека, постоянно борющегося со своими внутренними противоречиями, его глубинное напряжение сравнимо с молчаливым удивлением воды, текущей по

Дмитрий Николаевич Каралис — петербургский прозаик, сценарист, публицист. Автор четырнадцати книг прозы. Основатель и директор (1997–2007) Центра современной литературы и книги. Лауреат литературных премий. Обозреватель «Литературной газеты».

руслу, проложенному много веков назад. Леса, горы, поля, отмели и стремнины, водовороты, омуты, извивы, тихие заводи — через все это надо пройти, это интересно и жутковато, но в конце пути ждет безбрежный океан, в который вольются все восторги и страхи, все загадки и ответы на них...

Человек-река. Он был мне чрезвычайно симпатичен, как может быть симпатично уникальное явление природы — без всяких объяснений, почему, отчего, за что... Нужно ли подыскать название этой реке? И подыщется ли название, точное и емкое? Во второй половине жизни, в ее нижнем течении, река могла бы с одинаковым успехом называться и Крах, и Вера, и Удача — об этом свидетельствуют размышления Бориса Николаевича накануне своего 75-летнего юбилея.

В интервью, которое я взял у юбиляра для «Литературной газеты» и которое начинается с простенького вопроса: «С каким чувством вы встречаете юбилей?», Никольский отвечает:

«Честно говоря, с весьма противоречивым. <...> Обычно юбиляру положено произносить что-то вроде речи, а у меня в голове складывается не одна речь, а две. Одна «ночная», другая — «дневная». В «ночной» я говорю о том, что, когда оглядываюсь назад, когда оцениваю всю прошедшую жизнь, в голову мне чаще всего приходит одно слово — «крах». Крах иллюзий, крах идеалов. А что может быть горше, тяжелее, чем крушение идеалов, которым верил с детства, с юности?

Я верил в братство. Где оно?

Я верил в социальную справедливость. Где она?

Я верил в бескорыстие, доброту, отзывчивость. Где всё это?

Я искренне гордился своей Родиной — Союзом Советских Социалистических Республик. Где он?

Так что слово «крах» не случайно приходит мне в голову.

Зато «дневная» речь звучит в моем воображении по-иному.

Не случайно сказано поэтом: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». На мою долю таких минут выпало немало.

Война и Великая Победа.

Очистительный XX съезд партии и первые глотки свободы в хрущевскую «оттепель».

Первый полет в космос.

Перестройка.

Первые свободные выборы и первый съезд народных депутатов.

Если говорить лично обо мне, то мне кажется, что Судьба дала мне гораздо больше, чем я мог предположить в самых смелых своих мечтаниях.

Я мечтал стать писателем, и я стал им. Моя первая повесть была напечатана в самом популярном журнале того времени — в журнале «Юность». Я в полной мере испытал читательское признание и благодарность: в свое время я получал десятки тысяч (это не преувеличение!) писем от ребят, читавших мои книги для детей, как «Армейская азбука» или «Солдатская школа».

Всю жизнь я занимался журнальной работой, которую любил,— это ли не счастье?

Я стал главным редактором журнала «Нева» и вместе с этим журналом пережил поистине «звездные часы», когда на его страницах публиковались произведения таких замечательных писателей, как В. Дудинцев, Л. Чуковская, А. Солженицын, В. Каверин, А. и Б. Стругацкие, В. Конецкий, когда читательский интерес к журналу был необычайно велик.

Я был избран народным депутатом СССР, работал в Верховном Совете СССР, принимал самое активное участие в создании первого Закона о печати, точнее говоря — о свободе печати. Нет, ничего такого я действительно не мог даже вообразить в дни своей молодости... Так что у меня есть все основания считать свою жизнь счастливой».

Свою жизнь Борис Николаевич готов был назвать счастливой. Это великое счастье — считать свою жизнь счастливой.

Вспомним дальнейший разговор:

«— И все же какую из этих двух речей, вроде бы исключающих одна другую, вы склонны произнести на юбилее?

— В том-то и дело, что не знаю. Я обе эти речи публикую в «Неве» и предлагаю читателям самим решить, какая из них звучит убедительнее.

— Большую часть своей жизни вы прожили при советской власти. Сегодня о том периоде нашей истории немало спорят. Как вы относитесь к тому времени?

— Должен признаться: в глубине души я по-прежнему чувствую себя советским человеком. И не стыжусь этого.

Теперь нередко нас пытаются уверить, что в те годы и в школе, и в комсомоле нас не учили ничему другому, как только доносительству. Это неправда. Конечно, основа характера, основа натуры человека закладывается в семье, с малых лет. Честность, бескорыстие, отзывчивость, доброта — все эти качества прививала мне мать, прививала в первую очередь собственным примером, но, уже сев за школьную парту, потом, вступив в комсомол, да и вступая в партию, я никогда не ощущал, что черты эти, привитые мне матерью, приходят в противоречие, вступают в конфликт с тем, чему нас учили школьные учителя (возможно, мне везло с учителями?), и с теми требованиями, которые предъявлялись мне как коммунисту. Да только ли учителя, только ли семья были причастны к моему воспитанию? А песни, с которыми мы вступали в жизнь («Орленок, орленок, взлети выше солнца...»), а книги, скажем, такие, как «Овод», «Спартак», «Как закалялась сталь» — разве не учили они благородству, бескорыстию и самопожертвованию? <...>»

...Много лет назад, когда шли первые свободные выборы в Верховный Совет РСФСР, мы с группой энтузиастов ходили по замерзшему Смольнинскому району и расклеивали самодельные листовки в пользу нашего кандидата Бориса Никольского. Ломая на морозе ногти, выковыривали кнопки, которыми крепились на входных дверях парадных листочки «черного пиара» против Бориса Николаевича. В этих листках содержалась чушь несусветная — мы смеялись и негодовали! Наш кандидат выглядел молодцом — мы видели в нем спасение от неумной, закостенелой власти, мы верили в него со всем жаром молодости.

Никольский победил, стал депутатом. Принимал участие в подготовке первого российского Закона о печати, отменившего цензуру.

Цензура, как и те веселые, азартные времена, канула в Лету — пиши, что хочешь.

Мы много не знали, во многом ошиблись.

Мне не жаль цензуру политическую, но жаль нравственную.

И совсем не жаль своих сломанных на морозе ногтей.

Загадочная река Бориса Никольского продолжает, как и положено, течь в океан. И не будем придумывать ей название...

Алексей КОЗЫРЕВ

МИНУТА ТИШИНЫ

Жизнь свела меня с Никольским около десяти лет назад. И хотя я читал все книги Бориса Николаевича, а он, к моему великому удивлению, все мои, познакомились мы с ним не на творческой ниве, а при совершенно иных обстоятельствах. Вот как это случилось.

В начале 2002 года губернатор Владимир Яковлев нежданно-негаданно предложил мне возглавить образованную в Петербурге Комиссию по помилованию. Подумав пару бессонных ночей, я твердо решил отказаться. Причин было много, но, пожалуй, главная из них — предстоящие встречи с чужим горем, болью, безысходностью. Хорошо зная себя, я понимал, что буду не просто встречаться, а носить эти чужие судьбы и страдания в себе...

Но предложение все же принял. И в марте 2002 года провел первое заседание комиссии. Решение это пришло в кремлевском кабинете Анатолия Игнатьевича Приставкина — блистательного писателя и великолепного человека, после вечернего плавно и незаметно перешедшего в ночной разговор «по душам». Под литр грушевой водки. Хорошо помню данные им оценки будущим членам питерской комиссии. Остановившись в списке на фамилии Никольский, он как-то особенно тепло сказал: «Достойнейший человек...»

Борис Николаевич всегда сидел на одном и том же месте — справа, через одно кресло от меня. Когда он тяжело заболел и не смог посещать заседание, никто не занимал это место. Даже в редкие случаи кворума, когда за столом теснились все 18 «милователей», кресло Никольского пустовало. Несколько дней назад я провел очередное заседание уже обновленного состава комиссии. В нее вошли весьма уважаемые в городе люди, но даже и они, вообще незнакомые с Борисом Николаевичем, с каким-то неосознанным постоянством рассаживаясь за столом, не занимали только одно, то самое место, справа, через одно кресло от председателя. Как будто полагая, что пока не достойны...

Однако вернусь в март 2002 года. Не успел я объявить повестку, как член комиссии, настоятель одного из питерских соборов, предложил проголосовать за то, чтобы каждое заседание начинать с молитвы. Мол, судьбы человеческие вершить предстоит. Но не поддержала его комиссия. Решили, что негоже такой вопрос на голосование ставить. Не по-божески как-то. Обиделся священник, ушел из комиссии. Жаль, но зато теперь каждое заседание нашей комиссии начинается с минуты тишины. Так предложил Борис Николаевич. И мы все сразу согласились. Во-первых, по-

---

Алексей Сергеевич Козырев родился в 1944 году в Ленинграде, писатель-драматург, сценарист. Член Союза российских писателей. Председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Петербурга.

тому что Никольский предложил. А во-вторых, действительно надо отвлечься от дел суетных, настроться на работу тяжелую и ответственную. Ошибаться нельзя, и впрямь судьбы человеческие впереди.

Думая о Борисе Николаевиче, не могу не вспомнить дни подготовки к 300-летию Петербурга. Схлестнулся я тогда с одним из центральных телеканалов. Обидно стало, что наш город на всю Россию раз за разом «криминальной столицей» величали. Решил: негоже поливать грязью любимый Питер, да еще в преддверии юбилея. Выступил. Естественно, что меня на том же канале вскоре и «размазали» под молчаливое созерцание, а то и одобрение самых что ни на есть «почетных» питерцев. И только четверо открыто и твердо меня поддержали. Это Ирина Богачева, Станислав Гаудасинский, Николай Скатов и, конечно же, Борис Никольский. Трудно идти против такого квартета, и свое 300-летие Санкт-Петербург отметил достойно и величественно, освобожденным от груза обидного ярлыка.

Добрый и мягкий человек, настоящий питерский интеллигент, Борис Николаевич становился твердым и принципиальным, когда не верил в искренность «просителя» помилования, когда опасался, что, выйдя на свободу, этот человек может оказаться опасным для общества. Хорошо помню его извиняющийся взгляд сквозь толстые стекла очков: «Извините, мне очень жаль, но я не смогу поддержать прошение... очень жаль!»

Теперь все это, увы, только в памяти. И этот взгляд, и этот голос... Очень жаль...

Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ. БИБЛИОГРАФИЯ

1. Армейская азбука. Рассказы о Советской Армии. — Калининград, 1988.
2. Баллада о далеком гарнизоне. Повести. Л.: Лениздат, 1972.
3. Белые шары, черные шары. Л., 1980.
4. Бунт: Книга фантастики. Л., 1987 (Бунт; Хозяин судьбы; Наездник; Дарующий счастье.
5. Аукцион; Торпеда; Контракт; Оазис; Катастрофа; Преобразователь личности. Л., 1987.
6. Был ли ты счастлив? Дочь лейтенанта. Триста дней ожидания. Л., 1973.
7. Воскрешение из мертвых. Роман, повесть.
8. Голубой мост = Die blaue Bruecke: из творчества ленинградских и дрезденских писателей. Л., 1984.
9. День рождения. Рассказы. Л., 1986.
10. Дети до шестнадцати. Повесть. Л., 1967.
11. Жду и надеюсь. Роман. Л., 1976.
12. Как узнать человека. Повести и рассказы. М.: Молодая гвардия, 1968 (Повесть о солдатской службе; Поединок; Шутка; Эдик и Люся; Декабрьские вечера; Карен Багдасаров — фокусник; Мы идем в театр; Два сержанта; Баллада о далеком гарнизоне).
13. Кремлевские миражи. СПб., 2001.
14. Ленинград и ленинградцы. Л., 1985.
15. Мужское воспитание. Повести и рассказы (для старшего и среднего возраста). Л., 1970.
16. Мы живем в Ленинграде. Сборник. Сост. Б. Н. Никольский. Л., 1977.
17. На кого работает время. М.: Детская литература, 1970.
18. Настоящее и будущее русской литературы («Мнение умеренного пессимиста»). Лекция, прочитанная 19 марта 1998 года). СПб.: СПбГУП, 1998.
19. Пароль XX века: Рассказы. Л.: Детская литература, 1987.
20. Полоса препятствий: Рассказы о солдатах. Л.: Детская литература, 1974 (до того было в 1963-м, 1964).
21. Пульс Хибин. Сборник. Л., 1984.
22. Рапорт. Повести. Л.: Советский писатель, 1978. (Был ли ты счастлив?; Происшествие на пятом посту; Маленькое семейное торжество; Люби меня, как я тебя; Рапорт).
23. Саженцы сорок пятого года. Очерки и воспоминания. Л.: Советский писатель, 1985.
24. Третья дорога. Повести. Л.: Детская литература, 1972. (Третья дорога; Дети до шестнадцати).
25. Триста дней ожидания. М.: «Молодая гвардия», 1964. (Повесть о рядовом Смородине, о сержанте Власенко и о себе; Человек на твоем пути; Триста дней ожидания).
26. Формула памяти. Роман. Л.: Советский писатель, 1982.
27. Формула памяти. Роман, повести. Л.: Советский писатель, 1985. («Из рассказов Глеба Гурьянова» (роман); повести «Был ли ты счастлив?»; «Происшествие на пятом посту»; «Маленькое семейное торжество»; Люби меня, как я тебя»; «Рапорт»).

К 75-летию Нонны Слепаковой

Лев АННИНСКИЙ

«СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМИ ПОСЛЕДНИХ»

Из цикла «Последние идеалисты»

Она ленинградка. За вычетом двух лет эвакуации (в «ошеломляющий Арал») прожила на Петроградской стороне всю жизнь. Все отпущенные ей судьбой 62 года. Как справедливо заметил во вступительной статье к посмертному собранию ее сочинений Дмитрий Быков, по стихам Слепаковой будущие поколения могут запомнить старинные дома, сотрясающиеся от грохота трамваев. *Витражи, лепнину, чугун решеток, у подъездов — тумбы, вросшие в землю.* Достаточно прочесть ее «Утренний путь» с его адресной точностью: Гатчинская, 22, со вздыбленностью линий: *двор сверху был колодцем огоньков, а снизу коридором вертикальным,* — с экономичной скрупулезностью дровяных припасов — *наших дров, их было тут четыре кубометра — спасенье наших зимних вечеров.* Или, следуя дальше, «Праздничный путь» прочесть, чтобы оценить снайперскую точность окраинных зарисовок, воочию увидеть локомотивное депо, плывущее в лиловатом полумраке, *ползучий пар над шлаком ноздреватым, безмерно долговязый элеватор, завода запотелое чело, цистерны, бункера, трубопроводы.*

И завершающий штрих пейзажа:

Здесь, кроме снега, не было природы, зато сильней, чем в городе, мело.

Ленинградская поэтическая прописка, однако, имела и другую сторону. Во граде Петровом в 50–60-е годы сформировалась и громко заявила о себе когорта поэтов, ревниво охранявших свое профессиональное первородство. Они его отстаивали как в борьбе внутренней («горняки» против «технологов», воспитанники Глеба Семенова против приверженцев Давида Дара[1]), так и на арене всесоюзной, где надо было доказать свое превосходство прежде всего Москве. Питерцы были тоньше, острее, жестче, они, по словам Александра Кушнера, прятали свои «злые слезы» от столичной гитарной разлюли малины. Слепакова, съездив в столицу, внесла лепту: там было

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году. Критик и публицист, автор многих книг и статей о литературе, театре, кино. Живет в Москве.

всё: «*и хлев, и зала — всё было рядом — бес и Бог. Москва сама себя лизала и не выкусывала блох*».

А Питер? Со смехом передавалось определение Ленинграда, пущенное знаменитым московским поэтом: «Великий город с областной судьбой». Было от чего прийдти в ярость! Питерские «шестидесятники» яростно дрались за первенство. И, надо сказать, преуспели: Кушнер, Агеев, Горбовский добились, как тогда говорили, всесоюзного признания, Городницкий, Рейн, Британишский, Королёва к тому же передислоцировались на московский олимп, а один из питерцев — Бродский — вышел аж на мировую орбиту. *Всё это будет, но потом.*

А пока Питер — *полупровинция-полустолица* — арена борьбы своих со своими. Из круга Бродского, Бобышева и кучкующихся около них молодых гениев доносятся звуки... нет, не звуки: решающие схватки беззвучны: обчитывают друг друга стихами и молча считывают гримасы с лиц коллег.

И непременно — *бурный эпатаж*. Чем ярче таланты, чем яростнее характеры; чем острее непризнанность, тем ненавистнее система, давящая всех; взлетевший ко всемирному признанию Бродский проклинает «равнодушную отчизну». Уж он-то знает, как ее лечить, как вправить мозги Державе, как ей отплатить за суд и ссылку. Все знают, кто виноват и что делать: и «левые», и «правые»; никто не хочет быть крайним, то бишь последним, все считают себя первыми.

Все. Кроме Нонны Слепаковой. Она не только отказывается входить как в протестно-либеральные, так и в ортодоксально-властные литературные группы, но еще и отпускает на их счет замечания, некоторые из них прямо-таки просятся в досье (почему они и дошли до нас):

— Я знаю, как вам надо. Но так я не хочу.

А если в стихах, то так:

Я кот, всеместно битый, кот ученый, гуляющий направо и налево.

Можно себе представить смесь зависти и злости, какие вызывают такие прогудки и «справа», и «слева».

Она улыбается в ответ: *жалкий гнев*. С ее стороны это что-то вроде добровольно избранного изгойства. Со стороны коллег и издателей — остережение на грани бойкота. Со стороны читающей публики — вакуум незнания.

Лишь после смерти (через десять лет после смерти!) ее лирика, собранная из нескольких вышедших при жизни полузатерянных сборничков и добытая из теснин домашнего архива, взлетела в сферу читательского интереса. И срезонировала с неожиданной силой. История ленинградской девочки, пяти лет от роду запомнившей, что была такая жизнь: «до войны», — а потом началось что-то непонятное: то ли нежизнь, думающая, что она жизнь, то ли жизнь, подозревающая, что она не жизнь.

Вот вехи.

Первая. Послевоенный (или военный еще?) год. Гости. Скудный, но праздничный стол (шпроты, пирог). Малолетняя хозяйка читает гостям стихи, лезет к ним на руки (сколько ей лет? восемь? девять?), трогает на их кителях колодочки военторга (детали, детали!). Наконец гости собираются уходить. И тут маленькая хозяйка старательно прячет за тумбочки и шкафы их вещи: шарфы, перчатки, галоши...

Это не игра. Не игрушки, которые вроде бы простительны по малолетству. Ни игрушек, ни игры вообще нет в мире этой девочки[2]. Всё просто: она оттягивает уход гостей. Кроме накатывающейся грусти и злости, что вот-вот дом опустеет, кажется, других чувств и нет. Если не считать чуть слышной тревоги, которую девочка и назвать-то не умеет. И хорошо, что не умеет.

Дом вроде не пуст. Вещи гостям искать помогает мама, отец светит спичкой, а потом, по уходе гостей, мама сгоняет с лица улыбку, а отец легоньким подзатыльником провожает дочь в кровать: с утра будет ранняя побудка.

Всё вроде нормально. Но невнятно и непонятно тревога стережет эту хрупкую нормальность.

Веха вторая. Тот же послевоенный Ленинград. У кинотеатра «Гигант» — виселица: казнят трех присланных по разнарядке пленных фашистов. Отец дочку смотреть не пустил, но ситуацию с ней обсуждает. Немцы, кажется, рядовые. Те самые, что в блокаду стояли у орудий, обстреливавших город. Теперь стоят на помосте. Ждут петли под мрачное молчание толпы, которая ждет, когда вывалятся языки и потечет струйками моча. Чужие немцы. Чужбина их и казнит, превращая справедливое мщение в публичный позор.

Пронзительный, зрелищно-обозленный свист мальчишек мешает расслышать ту самую глубинно-загадочную, зловеще-безвидную тишину, которой нет названия. Или ее нельзя назвать.

Веха третья. Десятилетие спустя. Уже и 1946-й в дальней памяти. И 1937-й вдруг оживает призраками ушедших и невернувшихся. То ли гроб, то ли дом. То ли мать рядом, то ли не мать. То ли разорван дочерью под овации XX съезда партии портрет вождя, то ли склеен боязливыми родителями и повешен обратно на стену.

Понимают ли старики, что с ними произошло? Нет. Дочь — поздним умом — понимает. Но не скажет — ни старикам, ни самой себе (осторожно трогавшей «колодки военторга»), какая пропасть подстерегает эту спасенную жизнь. Потому что ни им, ни ей тогдашней, лучше не знать. Иначе ни это знание не выдержать, ни эту жизнь. Если уж про цветы мыслится (не говоря уже о животных, среди которых на первом месте преданнейший кот), если растениям страшно, потому что вся их память, вся их надежда — в нас, то что уж говорить о людях, людям страшнее всех, и им правду открывать — смертельно опасно.

А знать — надо.

Вот так: знает, но молчит. И знает, почему молчит. Они (и она в том, минувшем времени) не может, не хочет и не должна знать, а узнает — когда беда пережитого окажется в прошлом... Если знать — то молчать... пока не разведешь эту беду своими руками.

Иногда я копаюсь в альбомах
Той давнишней, забытой поры.
Вот отец мой — он парень не промах,
По бильярду гоняет шары...

Ну а то, что кругом происходит,
Им неведомо, и — все равно...
Только зябкою тенью нисходит
На людей и на вещи оно.

Или это мне кажется только, —
Оттого что про эти года
Знаю я уж, наверное, столько,
Сколько им и не снилось тогда.

Я намеренно освободил три эпизода, обозначивших вехи на пути лирической героини, от стихового звука (который так сильно действует, когда цитируешь полностью), потому что психологическая проницательность Слепаковой, наложенная на контур ее феноменальной наблюдательности (знание точных примет), может создать иллюзию, будто поэтическая аура тут ни при чем, и смысл не в самой стиховой музыке, а в том, «про что» стихи.

Должен, однако, напомнить уважаемым читателям, что настоящие стихи действуют не тем, «про что» в них рассказано, а тем, что они собой моделируют сами. Наблюдательность еще можно отыскать и у других поэтов того же поколения и уровня (хотя ТАКИХ — мало), а вот по психологической проницательности Слепаковой нет равных, она уникум, это ее пароль и отзыв при входе в тайну ее поэзии. Но никакая наблюдательность и никакая психологическая проницательность не реализовались бы в поэтическом бытии Нонны Слепаковой, если бы сама аура ее стиха не воспроизводила мир в мелодической и оптической неподдельности.

Мелодия? Но на этот счет сказано с тонкой издевкой: «*Плюется флейта и юлит, атласно лжет виолончель, и каждый звук скулит-велит: ну, различи, я чей, ну, чей?*»

Берем пошире: не мелодия, а — звук. Чаще поэты говорят именно о звуке, предшествующем строкам. Ритм, метр, гул, рык... Ветер, метель, рев... Вой (*сверлящий вой*)... Слепакова столь явную звукопись обычно прячет, ее классичная просодия и не выносит авангардистски громкого «выхлопа», у Слепаковой «выхлоп» — интонационный, незаметный, «несказуемый», однозначно не фиксируемый... и впрямь не поймешь чей. По точному наблюдению Александра Зорина, ощущаешь «мгновенный бросок в строку», «акцент», «метку», «выхлоп интонационный», — хотя «определению» всё это «не поддается»[3].

Без этого секрета интонации — ничего не сказалось бы: ни мир реалий, вроде бы не знающих своего смысла, ни мир чувств, вроде бы не знающих, откуда они берутся.

Символический автопортрет поэта, постигающего такое мнимое безумие:

«Он видит шерстистую руку, ведущую смысл в поводу».

Еще автопортрет, прописанный в конкретно-исторических штрихах (в 1991-м):

«*Мой мир, где жила я лет тридцать назад, был мой обжитой, заработанный ад, но я дожила и до райской поры, когда загремели чужие пиры. Почти умирая, спешу и пишу. Небесного Рая не жду, не прошу. Но много обителей в Царстве Твоем — укрой меня, Боже, во аде моем!*»

Насчет рая и ада — яснее не скажешь.

И еще автопортрет, уже вполне формулировочный. Виртуозная нерасчленимость, если ее артистически условно вычленить, обретает имя: «смесь»...

«...И всё твердит, что счастье скрыто в горе, а в счастии упрятана беда, что вольно — в клетке, тесно — на просторе и что "всегда" и значит "никогда"».

Услышав эти парадоксы, героиня кричит своей назойливой душе: «*Заткнись!*», а когда та затыкается: «Нет меня!», эта возвращается к своему «интонационному выхлопу»:

— Ах, нет тебя?! Так я ж тебя сыщу!

Это написано в 1997-м, совсем уж «под занавес» пути. При открытии «занавеса», в 50-е юные годы (круг Глеба Семенова: «*тетрадь, кацавейка на кресле», «тот юношеский немощный хорей», «мы ходить научились по кромке*») — тогда Глеб Семенов поручил в рамках литобъединения Льву Мочалову взять шефство над одаренной дебютанткой, и тот взял шефство... и спустя десятилетия совместной жизни, овдо-

вев, собрал и подготовил к изданию наследие Слепаковой, — так вот, с первых до последних строф ее стиховой мир строится как целое, в котором ни единый блик и не единый звук не выпадают из общей мелодии, которая означает преджизнь стиха и одевается потом в слова[4].

Начнем с цветописи?

По ощущению Дмитрия Быкова, гамма у Слепаковой — коричнево-зеленая. Это определение весьма субъективно; точно в нем только чувство соединения колеров. Смесь. Нечистость. Не розовый, а — розово-паленый. Не рыжий, а рыжеватый, мутный. А если ржавчина пышная, то в контраст опаленности. Или в контраст золоту, которым мы покрываем ржавчину. Цвета смешиваются, перемежаются, мешают друг другу. Не хотят укладываться в радужную ясность. Укладываются — в «б/у» (бывшее в употреблении). «*Индиго, кобальт, электрик*» — не столько цвета, сколько памятные меты послевоенного детства, обрывки взрослых разговоров у платяного шкафа. А за окном? А там — черная слизь. Мазута черный перегной. Копоть и кровь. Ослепительная грязь. Пена. *Суставы сточных труб, брандмауэры, люки.*

В этой смеси ключевой цвет — серый. Серый тротуар — это понятно. Серая сталь — тоже понятно. А вот *серая роза* — уже вызов эстетам. Пахнет не розой, пахнет карболкой. Смесью карболки с духами «Красная Москва» (на школьном вечере). А точнее всего — цвет (и запах) пыли. От пыльных батарей до пыли десятилетий. Пыль мерцающая. Пыль ликующая. *Светопыль.*

Хотите многоцветья? Но только в смене тонов, в скачке колеров, в аллюре бликов. *«Белый табун превращается в сивый, серый, каурый. Совсем вороной»* Добавьте этой летящей мимикрии толику слепаковского юмора и получите трамвай, который *был красным — стал зеленым.* Может, это маскировка от налетов? А может, несмываемая непроглядность, лишь отсветами пробивающаяся сквозь мглу? *Пожелтела от солнца стена. Это* не стена, это солнце.

Да и не от солнца этот блик. Не солнцем чаще всего освещено слепаковское полуцветье-полутемье, а огнем. Жаром, который пылает то ли внутри вещей, то ли внутри души. Завораживает — то у костра, то у печки. Сыплет искрами, обжигает, опаляет. Лучится из пальцев. Живет — в цветении окурка и в жгучести молитвы, в пламени свечки и в отблеске солнца, в раскаленности крыши и в самовозгорании души, в калении подковочного гвоздя и в зареве пожара, в огненной тьме Божьего гнева и в *огнедыщащих купах вспухших церквей и домов* — везде смуть мира, пытающегося ответить огню истины.

Попробуем звук?

— А зачем звук? — шепчет она, прислушиваясь. — Что там слышно?

Истошный сверлящий крик электрички. Смачный кряк пьяниц у ларька. Синкопы граммофона. Пустотелая болтовня. Это всё звуки, которые надо слушать? Иди это звуковые помехи тому, что надо слушать? Слушать молча...

«Зачем сминать молчанье тяжелой словесной пальбой?»

Ускользающая тишь сквозь навязчивую какофонию — вот звукомир Нонны Слепаковой. А тишь — что значит? С поразительной рельефностью это передано в стихотворении «Сестрорецк»: героиня, попавшая в Дом отдыха, ждет, когда стихнет суета, и наконец после отбоя слышит в тиши... что же?

«Покой борьбы...»

Нужна расшифровка?

«...Гул равнодушного сраженья — без перевеса, без судьбы, победа или пораженье. Прилив — отлив. Туда — сюда. Вперед — назад. Обратно. Встречно. Уютным ужасом тогда я поняла, что это — вечно».

Еще одна расшифровка вечной тревоги, прикрытой вечным уютом, — в стихотворении «Среди ночи»:

Как далеко летит каждый вздох, каждый шаг!
Ночью что-то гудит... Или это в ушах?
Это крови работа? Или ветер в трубе?
Иль готовится что-то в непреложной судьбе?..

Что готовится? Не знает. А знает — не скажет.

По-своему строен цвето-звуковой ряд слепаковской лирики, он не гармоничен, но трагически обострен из-за несходимой гармонии. И загадочно неотделим от социальной жизни, от разума, впутанного в «бытовуху», от опыта, вынесенного из коммуналки. Избавиться от этой впутанности героиня не может (да и не хочет). Ибо всё это необходимо при последнем расчете, где всем будет воздано по деяниям их: ближним и дальним, правым и виноватым, первым и последним. И себе самой — в предельной откровенности.

«Перед собой» называется поразительное стихотворение, где всё собрано вместе: цвет, звук, разум, пытающийся всё связать, и, наконец, финальный смысл того, что показывает «счетчик», отсчитывающий жизнь.

Как легко ошибается пристальный взор!
Из окна электрички, далечко
То ль седой от дождей, серебристый забор,
То ль от ветра ребристая речка.

Ошибается слух: разбирай, узнавай,
Что звучит ему ночью, бедняге,
То ли близкий комар, то ли дальний трамвай,
То ли нервы заныли в напряге...

Ошибается ум: друг тяжел и угрюм,
Враг приветлив, душевней родного...
То ли вздох парусов, то ли каторжный трюм,
То ли шаткая палуба Слова.

Ошибаются разум, и зренье, и слух,
Устремляясь наружу, вовне,
А внутри безошибочно щелкает дух,
Начисляющий должное мне.

Нам остается прокомментировать третье и четвертое четверостишия. Мир, где сопрягается родное и враждебное. И дух, где воздается должное.

Скрепа мира — родители. Отец и мать. Это у идеалистов последнего предвоенного поколения важнейшая тема, и Нонна Слепакова не исключение.

Отец возвращается с фронта, снимает погоны, но остается в гимнастерке; по утрам вскакивает, страшась опоздать на службу.

Мать... Тут между стандартным шепотом «Мама...» и стандартной же бодрой песней «Мама, не грусти!» возникает такой силы образ, что никакой пересказ не заменит цитаты:

Фигурка в глянцевитом крепдешине
И сапоги мужские на ногах.
Тогда шикарить женщины спешили,
Однако оставались в сапогах.
Ширококостность, дюжая ухватка
Мешали им для полного порядка
Закончить каблучками туалет —
Вдруг землю рыть да прятаться в кювет?

Недаром же этот портрет, написанный в 1960 году, перешел год спустя из стихотворения «Одуванчик» в поэму «Мста», — слова не сдвинешь, так врезано! Тут и цепкость памяти на детали, и психологическая безошибочность, и — главное! — связь одной и всех: судьба матери неотрывна от судьбы страны, народа, от общего горя-спасения.

Образ женщины, из героической «амазонки» становящейся «старухой», становится в лирике Слепаковой магнитно-притягательным и, однако, магнитно же разведенным на эмоциональные полюса.

Вот старухи, бестолковые и неуклюжие, *плоскостопые и разногулковые, на разлапом утином ходу.* Героиня, когда-то обгонявшая их, *плеща подолом,* теперь помогает им перейти дорогу и сочувственно внимает *трепыханью эпохи иной.*

А вот трепыханье той, иной эпохи — в напоре ядреной фабричной краснокосыночницы первых советских лет, она встает, кудрявая, на встречу дня и давит разных ползучих гадов. А постарев и обессилев, дотлевает в метастазах и сует рубли санитаркам, чтоб не забыли подать тазик[5].

Первая вызывает жалость пополам с сочувствием, вторая — жалость пополам с брезгливостью.

Но тогда вопрос: эти две старухи — фатально врозь? Или это одна фигура, выхваченная из тьмы огневыми сполохами с разных концов? И концы — несовместимые?

Иначе спрошу: эти разные старухи — одной судьбы? Или так: одной эпохи? Или так: одной страны?

А эпоха эта — поддается однозначным определениям? Страна — поддается? Россия — какая она в рвущейся от скрытых надломов лирике? Это одна страна?

Ну, ладно плевать бы хотелось на эти «общегражданские» темы. Так вместить же хотелось...

Вот я и спрашиваю, читая Нонну Слепакову: как она вмещает то, что хочет вместить?

Дм. Быков отвечает: она просто проницательнее других. В 60-е чувствовала обреченность советских иллюзий, в 70-е — хрупкость жизни, казавшейся неколебимо устойчивой, а в 80–90-е — фальшь перемен, казавшихся такими желанными.

Не хочу спорить о том, какая ложь противнее и какой диктат страшнее. Быков полагает, что «литеральный диктат оказался страшнее совкового», я думаю, что внутри эпохи советской и внутри эпохи либеральной были (и будут) периоды столь разные, что сравнивать эпоху с эпохой можно только фигурально (или демагогически). Меня интересует другое: как всё это должно уживаться внутри одной души?

«Сталинский лик и заржавленный штык, карта отчизны, зашедшей в тупик». — я это определение понимаю, когда оно выпевается в спорах юных гениев, выбегающих на снег, чтобы охолонуть после эпатажных воплей в незабвенные 60-е годы. Но как вместить в ту же душу сокрушение от того, что Россия *«без отваги и без чести, без войны побеждена»* в 90-е? Как совместить яд строк*: «Бойцы — носители Свободы, и их не ждут еще народы обратно в роли палачей»* — и яд строк: *«О, как мой отец, заявившийся в Латвию с пехотною ротой, повинен, что немцев-то выгнал, но силушку ратную, сконча́вшись, полвека не вывел»?* Я уж не говорю о пожелании отделяющейся от нас Прибалтике: *«Германия пухом тебе и Норвегия — куда ни приткнешься на воле».*

А как примирить горечь от судьбы мальчиков 30-х годов, сменивших майки на гимнастерки, потом на черные ватники, с горечью от того, что вышло от разоблачения этой тоталитарной жути?

«Еще не виден был вдали тот коллективно-физкультурный, безликий и многофигурный порядок сталинской земли...»

И вот он стал виден — с высоты завоеванной демократии:

«И в долгожданный миг свободы доселе скрытое дерьмо, вдруг поощренное, само всплывает пред лице природы».

Сталин страшен — Ельцин смешон? Объявили перестройку — получили перетряску? Ждали свободы писать что хочешь — получили отчизну, которая пишет *смесью гноя и ликера?*

Интересно, эта смесь лучше смеси хлорки с трюфелями тоталитарных лет?

Каждое мгновение я могу понять душу, исторгающую эти убойные определения. Тем более когда у души *все струно́чки дрожат, и глаза ее мохнато, по-шмелиному жужжат.*

Но что делать, когда мгновения складываются в годы и десятилетия? Это одна судьба? Это одна страна? Это одна душа?

Ответы. Насчет судьбы: не дай вам бог жить на перекрестке времен, при смене эпох. Насчет страны: дураки пусть хавают «Сникерсы» над лужей. Насчет души: у поэта свой ответ. В жанре попурри:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Славы народов надежный оплот!
Боже, Царя храни!
Сильному — долги дни!
Пусть от победы к победе ведет!

Некрасов и Михалков пусть расхлебывают эту кашу. А нам ее не хлебать разве? Приходится.

В 1989 году Нонна Слепакова выпевает свой вариант гимна России:

Ты в тоске уронишь топор свой, и туп, и ржав.
Ты иглою в темя детей убьешь, нарожав,
И, дебильно заржав, завоешь, опять освоишь
Христианнейший путь сквозь толщу других держав.

Разум исчерпался. Откуда путь? Куда? От нуля, по отношению к которому приходится отсчитывать? От пустоты, которая зияет впереди?

От *никого,* которого не обнимешь. От *никогда,* которого не удержишь.

Антигимн *нулю* написала в 1996 году.

В 1998-м в предчувствии смерти, когда стало накатывать отчаяние, и две бездны (черная и голубая) почти сомкнулись, и гул пустоты объял то ли отовсюду, то ли ниоткуда, окликнула соратника, который к тому времени с радостью покинул стены дома и обживал эти бездны уверенно и успешно. Для определенности эпиграф поставила: *«Ниоткуда с любовью (Иосиф Бродский)»*. И поклонилась ему — в никуда:

«Ниоткуда — всю жизнь почитая стихом, потому и уйдя в ослепленье глухом, ниоткуда — куда не ответишь ты в срок, ниоткуда — поклон за последний урок».

Вообще-то в таком отчаянии надо обращаться не к Бродскому, а ко Всевышнему. Но странно, если бы Нонна Слепакова, органически неспособная ни ходить в ногу, ни петь в хоре, по команде повернулась бы к церковным вратам вместе с марширующей массой, как когда-то вместе с пионерией была развернута к атеизму.

Ее предсмертный бросок в православие хорошо объяснен у Александра Зорина: «Она сделала решительный шаг навстречу Господу», но «природная дерзость осталась при ней»[6].

Но, видимо, в атеистическом детстве отсутствие Бога заполнило в ее душе то полое место, где должно было быть если не оправдание, то объяснение всего. Даже если речь о каком-нибудь скользящем эпизоде, вроде первого танца с мальчиком или — позднее — курортного романа. *«Я не хочу напрасно ждать, на грустных полустанках мокнуть, когда ты едешь целовать красивые литые локти своей жене»* — тут-то Бог при чем? Да в том-то и беда, что ни при чем: *«Вот, видит бог, как не хочу, — но Бог, наверное, не видит»*.

Достаточно поменять литеру с маленькой на большую, и Бог становится не привычным присловьем, а Ответчиком за мироздание. И тогда становится слышно, как Он молчит.

Ты ждешь прощения за грехи — молчит. Ждешь подтверждения истины — молчит. Ждешь оправдания своей жизни — молчит, спихивая оправдание на Поэзию.

Поэзия становится последним прибежищем идеала и обращена к идеалу каждым словом, каждым звуком, каждым препинанием.

«Вальс прекращает свое волшебство стуком тупым проседающих клавиш. Господи Боже мой, что Ты оставишь нам от всего, от всего, от всего?»

Это «от всего» — пронзительно. Если есть «всё», если возможно это «всё» охватить, — то чем? Кем? Добро бы, если всё сводилось бы к росинке, былинке: посадил Господь, и славно. Но как Ему охватить весь мир — *мир непомерной тщеты,* да еще во времени *оттич и дедич?* Можно жить, как будто Его нету.

«Если ж есть, то это — я». А все остальные? А пусть *«каждый, живя, леденея, сгорая, разберет сам себя до ядра, до зерна и расчистит в себе ребятенка для Рая»*. Рай, как мы помним, мало отличим от ада. Приходится сохранять порядок. *Праведный порядок нищеты.* Сквозь давку — *локотками да бочком.* Не нарушая очереёдности, как бы она ни была смешна, тошнотворна, безумна. Не дай бог на праздничной демонстрации перепутать порядок портретов! Хотя после шествия эти портреты можно спокойно нести без всякого порядка, хоть вниз головами. О*тходчива вражда теснящихся людей.*

Есть место Богу в этом порядке, когда непонятно, где верх, где низ?

Есть!

Но ведь Его же отменили! Упразднили! Выкинули!

«Притушен, перезвоном приглушен... Он стал как бы синоним школьным розгам, вселенской самостийности лишен... И был, по меньшей мере, по всей кривой распластан полусфере — над миром перекинулся мостом...»

Потрясающая догадка! Не уничтожили атеисты Всевышнего — они его *размозжили, размножили,* задали экзамен на *повсюдность!*

Но какая там повсюдность, когда повсюду то кровь пополам с пеплом, то гной пополам с хлоркой! Что может человек, расплющенный меж той и этой вонью? Паршивая овца, а не венец творенья...

Виртуозно Слепакова превращает последние отбросы в первые призы, не отвергая предлагаемое, но преображая:

Любой из нас — паршивая овца,
И с нас, как говорится, шерсти клок,
Чтобы под иглы Твоего венца
Ты на ходу его подсунуть мог, —
Чтоб самый острый, самый твердый шип
До мозга не коснулся Твоего...
Вот что мы сделать для Тебя могли б.
А для себя — не можем ничего.

Правильно вспоминает Александр Зорин, что Нонна Менделевна могла отойти на пять минут в сторонку, а потом предъявить шедевр. Или хулиганскую эпиграмму. Тут — шедевр. Но что-то не вытанцовывается с индивидуальной благодатью. И поспать индивиду охота, и позавтракать, и с друзьями побалакать. Выяснить, кто гений, кто нет. Как тут вериться Ему?

«Как вериться безвестному, с которым — от юности и от науки злой — брезгливо обходился ты, как с хворым: страдай не у меня, ступай долой!»

Долой, как мы поняли, это в повсюдность. В распластанность по всему миру. Во всеприсутствие и всеоправдание.

Что делать распластанному по жизни, но перпендикулярному духом полуверу-богоборцу?

«Ты медлишь в мутном сумраке преддверья, пустынного до шороха в ушах, робея от знобящего преддверья к палящей вере сделать новый шаг...»

Палящей верой тут не пахнет. Хотя — прав Дм. Быков — «религиозная лирика Слепаковой — отважная, отчаянная, адогматическая, — достойна встать в один ряд с вершинами русской поэзии: думаю, в русской православной лирике двадцатого века мало таких шедевров...»

Про шедевры не спорю, я их цитировал. А вот насчет религиозной православности — не уверен. Не тот Бог тут воображен, который дойдет до каждого и обнаружит с каждым сходство в образе и подобии, — а Тот, до Которого каждый должен докарабкиваться сам, и не в надмирном воспарении, а в общем людском скопище.

В потоке жизни, когда верх и низ обозначаются то культом очередного деспота, то бунтом против деспотии, бессмысленным и беспощадным, а то перетруской верха-низа.

А истина? Сокрыта. Узнаешь — промолчишь. Скажешь — промахнешься. Хочешь дышать? Дыши стиснутая родством со всеми.

В 1994 году, на пике своего поэтического расцвета, Нонна Слепакова написала стихотворение, которое впоследствии было сочтено (и с полным на то основанием) эмблематичным для ее поэзии и символичным для ее судьбы; это стихотворение встало как своеобразный эпиграф к посмертному собранию ее сочинений, обозначив то главное понятие, вокруг которого полвека (XX века) крутилась и ее, и общая жизнь: жизнь довоенная, военная, послевоенная — всегдашне-советская...

Легко догадаться, что это ОЧЕРЕДЬ.

Чем медленней хожу — тем более бегу,
Ушедших торопливо догоняя,
Хоть лезу на рожон и ждать от них могу
За долгую задержку нагоняя.

Панический бег и умелое выжидание уже обозначают то странное состояние, при котором нагоняй имеет тенденцию обернуться чем угодно: могут отметелить, могут принять как родную... Куда принять? Так сказано же: в очередь.

Пограничное состояние, которому впору бы воплощаться в стих, выпрыгивающий в авангардную абсурдность, парадоксальным образом укладывается в классическую гармонию: «бегу — могу», «догоняя — нагоняя»...

Иными словами: беги, как все, и стой, как все...

Их опыт площадной и лестничный язык
Разрух, очередей и коммуналок
Опять передо мной воочию возник —
И не обиден более, а жалок.

«Площадной»? Именно. Тот, что на площади. Или на жилплощади. Тот, что в клетке. Лестничной. Или грудной.

«Жалок»? Слабое место, жалкое. Только тем и удерживается в мелодии стиха, что подперто «обидой». Обида — жалость... слабое сочетание, в нем пропадает оксюморонность. Куда точнее: бег — стойка. Или ад — рай.

За чем они стоят в раю или в аду?
Чем хвастаются после, отоварясь?
С ехидным торжеством, когда я подойду,
Мне скажут: «Вы последняя, товарищ!»

Слово «отоварясь» возвращает нас к спрятавшемуся военному времени: к «лимитам», «единичкам» и чернильным номерам на тыльных сторонах ладоней. Всё тыльное, тыловое уравновешено фронтальным, фронтовым. И возникает слово-пароль: «Товарищ»! — всё тем же оксюморонным образом осаженное в женский пол... но сохраняющее при этом глобальную гулкость, революционный отзвук, рык времени. Надо только вслушаться:

«Товарищ» — не «товар», отнюдь не «госпожа»,
Мне «госпожа» звучит не лучше «суки»!
Меж мертвых и живых не жажду рубежа,
Таящегося в пышном этом звуке.

Пышный звук очень хорошо знаком по памятным 90-м, когда оглушенные гласностью товарищи стали клеиться друг к другу со словами: «дамы... господа»... Мне хотелось ответить: да вы посмотрите на меня получше: похож я на «господина»? И, глядясь в зеркало, спрашивал себя: что скажут товарищи мои, если я переименуюсь в господина и останусь при этом в своем исконном образе?

Они скажут: «сукин сын».

Не то чтобы хочу, о младости стеня,
Совково называться по-простому,
Но, видимо, ничем не выбить из меня
Старинной тяги к равенству Христову.

Словечко «совковый», вошедшее в оборот в те самые 90-е годы, причем с издевательской интонацией, особенно эффектно в сочетании с пахнущим одёрами екатерининской эпохи словечком «стеня». Но тут высвечивается куда более глубокий и важный уровень, где переглядываются истины, разведенные историей на расстояние смертного поединка: коммунизм и христианство. Осознать их общий бытийный корень (я бы сказал: пракорень) — вот единственное спасение веры в человека, даже когда он бросает вызов Богу, других путей нет, иначе идеал повисает над бездной, первоначала взлетают в невесомость, птенец вот-вот вывалится из накренившегося гнезда...

И тут Всевышний подхватывает вываливающуюся в невесомость душу, и пронзительная исповедь измотанной очередями ленинградки завершается салютом евангелистам, которые все (кроме Иоанна) передали, встав в очередь один за другим, горькое пророчество: первые здесь станут последними там, а последние здесь — первыми там...

Я просто к ним иду, их выкормыш-птенец,
И после промедлений многолетних
Степенно стану в хвост, гордясь, что наконец
Сумела сделать первыми последних.

Примечания

1 Нонна Слепакова на пороге литературного объединения: *«И я, ступив через порог, приглаживаюсь гребнем и робкий делаю шажок в молчании враждебном»*. Из сверстниц только Татьяна Галушко принята безоговорочно. И взаимно.

2 Если проследить понятие «игры» в поэтическом наследии Слепаковой, то уловишь не «игру», а «игру в игру», а ближе к тексту — ухмылку по поводу игры.

3 См. Александр Зорин. Начальнику жизни не нужны роботы. Дружба народов, 2008, № 11, с. 206.

4 Можно оценить версификаторский дар Слепаковой, прочтя хотя бы ее блистательный «Монумент» — парафразис «Медного всадника», или гениально вывернутый этюд о том же Всаднике, прикрытый названием «Рисунок Александра Бенуа...».

5 Борис Корнилов отзывается в этой кудрявости, Ярослав Смеляков — в тяжелой поступи партийных метастазов, Борис Слуцкий — в сокрушении, что старух было много, стариков — мало... И все эти предтечи — в одном взрывном заряде.

6 Она бесконечно доверяла отцу Александру Меню, прихожанкой которого стала, но решительно отрезала себя от того «исступленного, воинствующего православия», которое, как она думала, «шло из Москвы». Последняя формулировка лишний раз подтверждает ее отношение к столице.

Александр КОТЮСОВ

ДВА БЕРЕГА БОРИСА КОРНИЛОВА

Борис Корнилов. Поэт. Что я знаю о нем? Немногое... Родился в деревне под Семеновом, что в Нижегородской области, написал «Песню о встречном», которая гремела на весь Союз. Еще у нас в городе есть улица его имени. Так... дальше...

— Еще музей в Семенове, там же памятник и электричка «Нижний Новгород–Семенов», — спешит мне напомнить всезнающий друг «Яндекс», — новая, год назад запустили. Красивая. ЭД9М-0265. Вот фотография. Губернатор маршрут открывал, между прочим. Расписанием интересуетесь?

Нет, расписанием я не интересуюсь. Я интересуюсь его поэзией. И его судьбой.

Усталость тихая, вечерняя
зовет из гула голосов
в Нижегородскую губернию
и в синь Семеновских лесов.

Этим стихотворением, написанным поэтом в восемнадцатилетнем возрасте, начинаются практически все сборники стихов Корнилова и книги о нем. Это настоящий гимн нижегородской глубинки, нижегородского лесного Заволжья. В нем с семнадцатого века находили приют гонимые староверы, «раскольники», как их тогда называли. Сюда же, боясь преследования властей, бежал беглый вольный и лихой разбойный народ. Здесь и по сей день сохранилась девственная природа, непролазные дебри, опасные для любого путешественника болота. В общем, своеобразное это место, дикое. Самое, то что называется, «ОНО» для человека творческого, тут такой силушкой пропитаешься — на всю жизнь хватит.

Это русская старина,
вся замшенная как стена,
где водою сморена смородина.
где реке незабвенность дана, —
там корежит медведя она,
желтобородая родина...

Вот здесь и родился Борис Корнилов. Здесь и прошли его молодые годы.

Александр Николаевич Котюсов родился в 1965 году. Кандидат физико-математических наук. Работал младшим научным сотрудником, пресс-секретарем губернатора Нижегородской области, первым заместителем председателя Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого бизнеса, руководителем аппарата первого вице-премьера РФ, начальником Приволжского управления Министерства печати, руководителем аппарата фракции СПС в Государственной Думе, депутатом Государственной Думы третьего созыва. В настоящее время — президент группы компаний ПИР.

* * *

В 1997 году издательство «Нижегородская ярмарка» выпустило книгу «Наш край», в которой опубликовало список имен, вошедших в историю Нижегородской области. То есть в ней, в книге, те, кем гордится наша губерния. Среди более чем сотни фамилий великих ученых, полководцев, священнослужителей много людей творческих профессий. Одних писателей более десятка. Да что это за имена! Максим Горький, Аркадий Гайдар, Мельников-Печерский, Даль, Карамзин. Просто созвездие талантов. А вот с поэтами напряженка, даже беда просто. Не рождает почему-то земля Нижегородская поэтов. Трое всего их в этом списке. Конечно, поэтов в Нижнем Новгороде и области много, кто-то из них и печатается, и выпускает книги, имеет относительную известность. Может быть, пройдя проверку временем, и они войдут в этот список через десять-двадцать лет. Но на сегодняшний день публичное признание получили только трое. Кто же они? Читаю список. Две фамилии мне, увы, незнакомы — Федор Сухов и Александр Люкин. Ну а третий... третий, конечно же, Борис Корнилов. Поэт, действительно известный на всю Россию. Поэт, проживший яркую, но короткую жизнь. Поэт, любивший свою родину, Семенов, реку Керженец, Нижний Новгород и Волгу. Поэт в своем творчестве регулярно, из года в год, обращавшийся к своим родным местам, к истокам, которые давали ему вдохновение и силу создавать великие творения.

По ночам в нашей волости тихо,
Незнакомы полям голоса,
И по синему насту волчиха
Убегает в седые леса.
По полям, по лесам, по болотам
Мы поедем к родному селу.
Пахнет холодом, сеном и потом
Мой овчинный дорожный тулуп.

Если список не врет (а зачем ему врать?), то Корнилов — самый известный нижегородский (питерцы! не обижайтесь на меня, пожалуйста, у вас поэтов-то известных намного больше, оставьте нам нашего Корнилова) и чуть ли не единственный поэт со всесоюзным именем за все время существования нашей губернии. И пусть родился он не в губернском центре, а почти за сто километров от него в Семенове и прожил до восемнадцати лет в этом глухом районе, а потом резко и навсегда уехал в Ленинград и там, именно там, стал по-настоящему великим, все равно он наш, нижегородский. Ну, это же правда! Почитайте воспоминания его товарищей! Он, даже приобретя лоск столичного жителя, в свои нередкие наезды на родину так прямо и говорил своим друзьям, братьям по лирической музе, не стесняясь своих деревенских корней. В 1928 году, по воспоминаниям его земляка Константина Поздняева, ему с товарищами на центральной улице Нижнего Новгорода встретился гуляющий уже ленинградец тогда Корнилов. Вместо ответа на вопрос: «Как дела? Надолго ли приехал?» — он вытащил нижегородский, только вышедший сборник «Начало» и расстроенно сказал: «Ну, что же это вы, ребята?! Книжку выпускаете, а меня не пригласили даже... Я же ведь ваш, нижегородский!»

Вот! Нижегородский он, несмотря ни на какой Петроград—Ленинград, несмотря ни на какую другую столичную жизнь. Он наш! Он прошел «медные трубы» славы и остался своим. А раз так, то, значит, и имя его в Нижнем на каждом шагу должно греметь.

Мне не выдумать вот такого,
и слова у меня просты —
я крестьянил в деревне Дьяково,
от Семенова — полверсты.
Я в губернии Нижегородской
в житие молодое попал,
земляною покрытый коростой,
золотую картошку копал.

Стоп! Вот здесь — стоп! Греметь — это когда слышно. Греметь — это когда видно! Греметь — это когда на улице останавливаешь человека, а он на твой глупый вопрос: «А кто такой Корнилов?» — в ответ тебе пальцем у виска своего крутит и отвечает: «Издеваться изволите, сударь! Корнилов — это поэт наш нижегородский... нас утро встречает прохладой... ну, что вы, ей-богу!» — и, маша рукой, уходит.

Почему-то у меня есть сомнения, что это так. Почему-то меня накрывает весьма приличных размеров пессимизм. Я судорожно снова и снова вспоминаю нашу школьную программу. Я не могу вспомнить ту страницу учебника по литературе, где было бы написано: «Борис Корнилов. Советский поэт. 1907—1938 гг.». Я не помню такой страницы. Я не помню, чтобы нам задавали учить его стихи. У нас был прекрасный преподаватель литературы. Прекрасный! Я помню Пастернака. Я помню Есенина, Бальмонта, Брюсова, Фета, Волошина, Цветаеву, Мандельштама. Я зачем-то помню Балтрушайтиса и Соломею Нерис. Это, видимо, потому, что в студенческие годы я влюбился в литовскую девочку. Но не о ней речь. Я не помню Бориса Корнилова. Моего земляка. Мы его не проходили. И никто не сказал мне тогда в начале восьмидесятых: почитай, мол... вот это поэт, брат! Он всем поэтам поэт! Никто! Ни один человек!

* * *

Центральная улица Нижнего Новгорода. Книжный магазин. Очень известный и любимый в городе. В нем всегда людно. И слава богу. Не разучились еще нижегородцы читать книги.

— Борис Корнилов у вас есть в продаже? Подберите мне все, что найдете, — прошу я девушку-продавца.

Девушка разводит руками.

— Нечего подбирать. Нет ничего вообще, — отвечает она. — Вы на моей памяти первый, кто вообще года за три последних его стихи спрашивает. Да и, честно говоря, стихи сейчас мало кому интересны, их и не издают почти, ну за исключением классиков.

— А в других книжных магазинах? Ваш же не единственный. Там, может быть, есть Корнилов? — интересуюсь я.

Продавец качает головой.

— Откуда, — говорит она с гордостью, — у нас самый большой в городе выбор.

Из магазина я выхожу разочарованный.

Я буду жить до старости, до славы
и петь переживания свои,
как соловьи щебечут, многоглавы,
многоязыки, свищут соловьи.

Для поэта слава — это не хвалебные статьи и диссертации критиков. Это прежде всего память и любовь к стихам будущих поколений. Поэт жив, покуда его помнят. Помнят и читают. Читают и любят. Любят за самобытность, за свой собственный стиль, за душу, излитую в стихах. В нашем городе пока что-то не так. Что-то не так...

* * *

— А ты в библиотеку сходи, — говорит мне директор департамента культуры городской администрации, — там все есть. Забыл про такую замечательную возможность? А тем более у нас есть библиотека, в его честь названная. Библиотека имени Бориса Корнилова. Не так все и плохо! Записывай телефон.

Забыл! Я действительно забыл про такую замечательную возможность. Я не был в наших библиотеках со студенческих времен.

Вот она, библиотека имени Бориса Корнилова. Меня встречает директор, Валентина Петровна. По всему видно, что она искренне любит свое дело. А как по-другому? За ту символическую зарплату, которую она получает, работают только истинные энтузиасты. Библиотека невелика. Две объединенные вместе стандартные квартиры в жилой пятиэтажке на первом этаже. Кстати, улица, названная в честь поэта, здесь рядом, за углом.

— У нас около четырех тысяч человек записано, но сейчас лето, народу немного, — с гордостью и одновременно словно извиняясь говорит мне она, — а вот стенд. Посмотрите. Он Корнилову посвящен.

На стенде за стеклом несколько книг, альбомы с фотографиями, газетные вырезки, письма.

— Это вырезки из газет и журналов. Все, что писалось о Борисе Петровиче с момента создания библиотеки. А это переписка наша с мамой поэта Таисией Петровной. Она умерла в 1979 году.

Помнишь, ты меня родила,
на руках меня носила
и счастливою была.
Ты всегда меня просила —
будь моя утеха-сила, —
и Борисом назвала.
.....
Я скажу,
а вы поверьте,
плача,
радуясь,
любя,
никогда —
до самой смерти
не забуду я тебя.

— А книги, его книги со стихами, — спрашиваю я, — книги его у вас есть?

— Ну а как же. Конечно, есть, — улыбается Валентина Петровна и приносит мне несколько сборников поэта. — Это почти все, что издавалось после его смерти. Прижизненных изданий, конечно же, нет. Они в Центральной библиотеке. И, конечно, там выбор литературы богаче. Сходите туда тоже. А это то, что есть у нас. Что-то возьмете?

Я выбираю три книги, расписываюсь в абонементе и уезжаю.

В машине меня догоняет телефонный звонок из магазина:

— Мы вам нашли Корнилова. Сборник стихов. Один-единственный. В этом году было переиздание. Кстати, первое более чем за двадцать лет. Мы заказали, оказывается, один экземпляр. На складе лежал. Словно специально для вас. А еще есть книга Ольги Берггольц. Жены его бывшей. «Запретный дневник» называется. Тоже в единственном экземпляре. Там есть стихи. Посвящаются Корнилову. Может, заинтересуют.

Я приезжаю в магазин и покупаю все, что для меня подобрали. Значит, за двадцать лет первое переиздание! Тираж 4000 экземпляров. Да и у Берггольц ненамного больше — 5000 . А какими тиражами и сколько раз переизданными выходят сейчас книги О. Робски, С. Минаева? Впрочем, это же не поэты. Слава богу. Хотя, судя по тиражам, их читают. Надеюсь, не планируется их изучение в старших классах?

* * *

В жизни поэта главное — его стихи. Именно в них заключено бессмертие или забвение. В жизни любого человека есть еще два документа, может, не таких уж и важных для кого-то, кроме близких, но остающихся в веках, своеобразные вехи, зарубки, отметки на нашей земле — свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Для поэтов они вторичны. Мы помним не их даты в этих бумагах, а стихи. И все же....

В загсе г. Семенова хранится метрическая книга «Для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших за 1907 год». В ней читаем:

«Номер записи — 29, день рождения — 16 июля (старый стиль); день крещения — 17 июля (старый стиль);

фамилия, имя —Корнилов Борис;

родители: отец — Корнилов Петр Тарасович; мать — законная жена его Таисия Михайловна; вероисповедание — оба православные;

крестные: семеновский земский врач Евгений Иванович Самосский и жена земского фельдшера Фиона Лукояновна Светлова.

Обряд крещения проводили священник Константин Милотворский, диакон Федор Чижов, исполняющий обязанности псаломщика Павел Фиалковский».

А вот второй документ — выписка из решения закрытого судебного заседания выездной сессии Верховного суда, которое, как и многие другие, в те годы прошло без вызова свидетелей, без участия обвинения и защиты. Хранится он в Санкт-Петербурге в архивах НКВД–КГБ–ФСБ:

«Приговорить подсудимого Корнилова Бориса Петровича к высшей мере наказания — расстрелу — с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Председатель: корпусной военный юрист Матулевич. Члены: Мазюк, Ждан».

Тут еще надо бы назвать одну фамилию. Фамилию следователя. Допрашивал и, судя по воспоминаниям других, оставшихся в живых осужденных, зверски пытал поэта младший лейтенант Лупандин.

Выписываю в два столбика рядом те и другие фамилии, фамилии людей, давших поэту жизнь и отобравших ее. Странные мысли приходят мне, человеку не верящему в бога, в голову.

Кажется, что на свет поэту помогали появиться ангелы. А убили его демоны.

Я трясу головой, стараясь сбросить наваждение.

Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.
.....
впрочем, скучно говорить о смерти,
попрошу вас не склонять главу,
вы стихотворению не верьте, —
я еще, товарищи, живу.

Расстреляли Корнилова в 1938-м. А за что? Странный вопрос. За что убивали тогда поэтов? Выписка из дела: «...являлся активным участником антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические методы борьбы против руководителей партии и правительства». Это Корнилов-то и антисоветчик? «Певец, товарищ, пулеметчик», оставивший России великие стихи и песни, воспевавший революцию и Красную армию. Абсурд. Это так сегодня кажется. А тогда сказали, что в своих произведениях он симпатизировал кулакам и той самой замшелой России, из которой он вышел. И убили его.....

В деле Бориса Корнилова был обнаружен такой вот документ, подписанный Н. Лесючевским, работавшим в 1937-м председателем правления издательства «Советский писатель».

«Ознакомившись с данными мне для анализа стихами Б. Корнилова, могу сказать следующее. В стихах много враждебных нам, издевательских над советской жизнью, клеветнических и т. п. мотивов. Политический смысл Корнилов выражает в прямой, ясной форме, протащив их под маской «чисто лирического» стихотворения, под маской воспевания природы. ...В творчестве Б. Корнилова имеется ряд стихотворений с откровенно кулацким, враждебным социализму содержанием. Эти стихотворения не случайны. Однозвучные с ними мотивы прорываются во многих других стихотворениях. Это говорит об устойчивости антисоветских настроений у Корнилова. Б. Корнилов пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл своих произведений, прибегая к методу «двух смыслов»: поверхностного — для обмана и внутреннего, глубокого — подлинного».

Документ датирован 13 мая 1937 года. Число-то какое! Опять чертовщина крутится. Свят-свят... Такие документы называли и называют доносом. Анализировать стихи Лесючевскому дали в НКВД. К тому времени поэт уже был арестован. Шили дело.

* * *

Дома раскладываю купленные и взятые в библиотеке книги. Первой открываю сборник Ольги Берггольц. Ольга! Я смотрю на ее фотографию на обложке. Какая же она красивая женщина. В свои шестнадцать, когда они познакомились с Корниловым, только что переехавшим их Семенова в Петербурге, на занятиях литературной группы «Смена», куда он стал ходить и читать свои стихи, она, без сомнения, была одной из красивейших женщин Петербурга. Ее красота не только внешняя. Глаза горят внутренней силой. У поэтесс в глазах что-то особое. Может быть, еще и потому, что все они умные. Ольга Берггольц уж точно. «Вот там я и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок в распахнутом пальто, — пишет она про «сменовские чтения», — глаза у него были узкого разреза, он был слег-

ка скуласт и читал с такой уверенностью в том, что он читает, что я сразу подумала: «Это Он». Это был Борис Корнилов — мой первый муж, отец моей первой дочери».

Какая же тяжкая жизнь досталась этой хрупкой женщине! Потерять двоих детей, третьего неродившегося и двух мужей. Пережить всех. Пережить войну. И остаться сильной, не согнуться, не потерять себя. «Никто не забыт, ничто не забыто». Этими словами она останется в памяти всех жителей Советского Союза. А как красиво звучит ее имя. Ольга Берггольц! Мягко, дважды на «эль», но уверенно и сильно. Ольга Берггольц и Борис Корнилов! Какая-то музыка есть в этих именах, поставленных рядом. Жаль, что такие самобытные личности не могут долго жить вместе. Яркость каждого оттеняет другого. Но почему-то мне кажется, что это была прекрасная пара. Он «широкоплечий, низколобый», она словно «розовая, свежая ольха». В итоге их совместная жизнь не сложилась. Но любовь друг к другу в их сердцах осталась навсегда. Мне лично так кажется. Да что значит — кажется! Это говорят стихи. А значит они сами.

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы
напрасной не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою о чем.

Эти стихи Берггольц написала в 1939 году, когда Корнилова уже не было в живых. Только об этом еще никто не знал. Кроме его убийц.

Спасибо огромное Ольге Берггольц за то, что она вернула нам, нижегородцам, питерцам, россиянам, жителям Советского Союза, всему миру поэта Бориса Корнилова. В 1955 году именно она стала инициатором пересмотра его дела и добилась его реабилитации. «Милая Таисия Михайловна, — писала она матери поэта, — он (Б. Корнилов) уже совершенно и полностью реабилитирован, честь его восстановлена. В будущем году мы хотим издать полное собрание его стихов. Я сохранила все книги Бори и с помощью товарищей собрала все, что было напечатано в газетах и журналах».

И хоть расставание с Ольгой Берггольц поэт описал, казалось бы, без сожаления, что-то говорит о том, что он лукавил:

И попрощаюсь я с тобой поклоном.
Как хорошо тебе теперь одной —
На память мне флакон с одеколоном
И тюбики с помадою губной.

Мой стол увенчан лампою горбатой,
Моя кровать на третьем этаже.
Чего еще? —
Мне только двадцать пятый,
Мне хорошо и весело уже.

* * *

— Ты знаешь такого поэта Бориса Корнилова? — спрашиваю я у дочери.

Ей девятнадцать. Она закончила школу с золотой медалью. Учится в медицинском. В школе много читала. Это я знаю точно. В нашем доме огромное количество книг. Их начинала еще собирать моя бабушка. Она работала в архиве. Забирала в дом все списанные издания. Каждый месяц книг в доме становится больше. Это уже я стараюсь следить за новинками.

— Нет, — отвечает она мне, — хотя что-то знакомое... где-то слышала.

— Ну да, — говорю, — у нас тут улица за углом его имени.

— Точно, — кивает дочь.

— А ты знаешь? — звоню я знакомому. Ему тридцать. Он заместитель директора банка.

В трубке молчание. Я словно чувствую, как трясет отрицательно он головой.

— А ты? — это я задаю тот же вопрос своей секретарше.

Ответы не меняются. Молодое поколение в нашем городе, и не только оно, не знает нашу историю, не знает имя, которым наш город должен гордиться. В школе на уроках краеведения им рассказывали только про Кузьму Минина, Валерия Чкалова и Максима Горького. Это хорошо, но мало.

Да что они. А сам-то я... Много ли я знаю о Корнилове? Немного. Но с каждой его строчкой, с каждой страницей его книг все больше. И еще больше хочу узнать. Он словно запоздалая весна в моей жизни.

И капель и оттепель,
окна ясны,
умирает со смеху
веселый воробей, —
уходите восвояси, заморозки —
вот теперь
будем разговаривать
по поводу весны.

— Знаешь, когда ты мне сказал, что пишешь статью о Корнилове, решила найти в Интернете о нем информацию, — говорит мне моя дочь вечером, — стала набирать в Яндексе. Начала с имени... Борис. Фамилию еще не успела набрать. А там... а там сразу в поисковике выскакивает «Борис Моисеев». Вот и получается, что он у нас среди Борисов самый популярный и известный. Его чаще других Борисов ищут.

Ради интереса повторяю то, что сделала моя дочь. Захожу в Яндекс. Действительно... Моисеев. А на втором месте Березовский. Корнилов на третьем. Ну хоть так. А вот и Немцов... вошел в пятерку.

Мне страшно за наше общество....

* * *

Борис Петрович Корнилов. Как звучат эти привычные нам по анкете Ф. И. О. Раскатистое тройное друг за другом «р-р-р» словно разрезает воздух. С таким «р-р-р» можно быть только поэтом. Нет, не так. С таким «р-р-р» можно быть только ве-

ликим поэтом. С таким «р-р-р» можно было бы стать выше Маяковского, ярче Блока, лиричнее Есенина. Времени не хватило. Дед Корнилова — Тарас — дожил до ста лет. Мама поэта прожила девяносто пять лет, его дочери сегодня за семьдесят. Корниловы живут долго. Если их не убивают...

В апреле 1939 года отцу поэта, Петру Тарасовичу Корнилову, школьному директору, было предъявлено обвинение в том, «что он в 1936 году вовлечен в антисоветскую повстанческую террористическую эсеровскую организацию... и... проводил антисоветскую деятельность, направленную против мероприятий ВКП(б) и Советского правительства». Все под копирку. Если бы в то время в стране существовали ксероксы, следователям и судьям оставалось бы только вписать фамилию обвиняемого и поставить свою роспись. Зачем переписывать тысячи раз одни и те же обвинения.

10 июня 1939 года заключенный Корнилов П. Т. умер в больнице при горьковской тюрьме. Причина смерти: туберкулез легких, гортани и кишечника.

Странно, но я не нашел в произведениях поэта ни одного стихотворения про отца. Есть произведения «Мама», «Дед», «Прадед». Даже «Сын». Стихотворения «Отец» нет. Может, плохо искал.....

Советская власть словно стремилась выкорчевать этот род, род Корниловых. Расстрелянный поэт, арестованный отец, уехавшая за границу дочь поэта, которая родилась после его ареста и которую он никогда не видел и, похоже, даже не знал, что она появилась на свет. Так наша страна, мне хочется сказать — относилась (или относится? Как правильно? Поправьте меня, если я не прав) к собственной интеллигенции, к цвету нашего общества. Поэты, писатели, врачи, учителя, военачальники, инженеры, известные и не очень, великие и простые, но знающие свое дело и имеющие свой собственный взгляд на жизнь, тысячами, десятками, сотнями тысяч пропадали в советских тюрьмах, лагерях, рудниках, лесоповалах. А сегодня мы удивляемся, куда же пропала в нашем обществе культура.

* * *

Возле моего дома расположена Центральная областная библиотека. Библиотека имени Ленина. В ней есть все. Все, что мне необходимо, чтобы узнать Бориса Корнилова ближе. Именно его лично, а не только его творчество.

Заполненная анкета, фото «три на четыре», пятьдесят рублей, и вот я обладатель пластикового членского билета. Последний раз в этой библиотеке я был около двадцати пяти лет назад.

Меня встречает хрупкая рыжеволосая женщина средних лет. Господи, какие же приятные люди эти библиотекари. Они словно из другой жизни: интеллигентной, приятной, умной. Им не нужно объяснять, кто такой Борис Корнилов.

— Выбирайте, — говорит мне она, — это десять книг, вот самое полное издание, вот книги о поэте. Есть еще отдел краеведения через две двери направо, там что-то еще найдете.

— А часто Корнилова берут? — спрашиваю я.

Женщина грустно улыбается и качает головой.

— Сейчас вообще поэзия не популярна. Посмотрите на библиотечные карточки в книгах и поймете сами.

Я одну за другой открываю обложки. Все десять книг последний раз брали в 2007 году. На дворе 2011-й.

— Это наш сотрудник брал, я по подписи вижу, — говорит мне она, — видимо, готовил материал про поэта. К юбилею какому-нибудь, наверное.

— В 2007-м отмечали столетие... — замечаю я.

За четыре года на родине Бориса Корнилова, самого известного нижегородского поэта, в самой что ни на есть центральной библиотеке, его книги взял только я один. И я же купил единственную его книгу в самом крупном книжном магазине. Это вот такая любовь на родине к поэту. Воистину нет пророков в своем отечестве. Для поэта забвение сродни смерти.

Может быть,
а может быть — не может,
может, я живу последний день,
весь недолгий век мой – выжат, прожит,
впереди тоска и дребедень.
.....
день за днем,
и день придет, который
все прикончит — и еду и сны;
дальше — панихида, крематорий —
все мои товарищи грустны.

— Поэзию вообще почти никто не берет. Корнилов здесь не исключение. Если только классиков. Да и то в основном школьники, студенты и филологи. А современные тем более никому не нужны, — видя мое расстроенное лицо, отмечает работница библиотеки.

— А каких современных поэтов России вы знаете? — спрашиваю я.

Мой вопрос ставит ее в тупик. Похоже, в России после Евтушенко, Рождественского и Вознесенского наступил поэтический застой. Может быть, в России больше нечего воспевать? Может быть, поэзия ушла вместе со старой замшелой Русью? На некогда бесконечных полях и лугах один за другим строятся коттеджи. Извелась в реках рыба, да реки сами грязны и непрозрачны. По берегам их, даже в отдаленных местах, — пустые бутылки да мусор. Вырубаются дремучие леса, медведей и лосей скоро можно будет встретить только в Красной Книге. Все реже и реже можно услышать соловья. Что еще можно воспевать современному поэту? Любовь? Какую? Где она, любовь? Женщины хотят выйти замуж за олигарха и кататься на его яхте. Все равно за какого, говорят они, старого, пузатого, лишь бы за богатого. Мужчины стремятся к необязательным отношениям и поглощены зарабатыванием денег. Что остается поэтам? Воспевать в стихах партийные начинания, как когда-то первые комсомольские стройки. Да полно?! Перестаньте. Кто это будет читать, кому это может быть интересно? Представьте себе стихотворение о выборах, например, депутатов Государственной Думы, и вам станет смешно и грустно. Это стихи другого жанра.

— Игорь Иртеньев, — вдруг вспоминает девушка, словно услышав мои мысли, — его берут иногда. У него веселые стихи, ироничные.

Пусть хоть Иртеньев. Это однозначно лучше поэтов, которые пишут для Димы Билана и всего «звезднофабричному» населения... Вот он, кстати, Иртеньев, да еще, пожалуй, Шендерович, смог бы написать про выборы. Целую поэму. Как говорится, «шершавым языком плаката».

Я из ряда вон выходящих
сочинений не сочиню,
я запрячу в далекий ящик
то, чего не предам огню.
.....

И сижу я — копаю ящик,
И ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалящих,
Но таких же хороших, как та?

Я отбираю пять книг и иду в краеведческий отдел. Там мне выдают картотечный ящик, несколько сотен карточек со ссылками на периодику, материалы съездов Союза писателей, обзоры критиков. Двадцать шестой год, тридцать третий, тридцать шестой... В зале душно. На улице плюс тридцать пять, кондиционер не работает.

— Выбирайте все, что вам нужно, записывайте номера и идите в отдел периодики. А там уж сидите, читайте.

Ползали сумерки у колен,
и стали бескровными лица.
Я книгу знакомую взял на столе
и стал шелестеть страницей,
придвинул стул,
замолчал и сел.
И пепельницу поставил,
я стал читать. Как читают все,
помахивая листами.

* * *

Две недели! Две недели полного погружения. Я прочитал практически все, что было написано про Бориса Корнилова. Его стихи, поэмы. Статьи о нем, стихи о нем, воспоминания современников. Критические статьи. Заметки в газетах. Письма.

Вот ведь интересно, про писателей критики намного меньше. Открываешь книгу с прозой, а там сразу роман начинается... или рассказы. Ну, иногда маленькое предисловие, введение. Две-три страницы об авторе. И все. А с поэтами не так.

Если уж сборник стихов, то «кратенькое» предисловие, страниц так на сорок. О судьбе поэта, о жизни. А главное, о том, что он, собственно, хотел стихами этими сказать. То есть заранее дается установка, что сам ты, уважаемый читатель, с такой трудной задачей, как чтение стихов, не справишься, тебе нужен гид, лоцман, сопровождающий. Ну вот открываю я, к примеру, одно предисловие (можно не буду фамилию автора называть?), читаю: «...одной из самых обаятельных и плодотворных черт поэтики Корнилова оказывается оксюморное сочетание советского канцелярита, советской бытовой речи и вокабуляра баллад первого русского романтика (В. Жуковского)». Нормально? У меня компьютер в этом предложении три слова не узнал. А как быть обычному русскому читателю? Вот берет он книжку, стихи почитать... а там такое!

А еще биография. Все в своих статьях-предисловиях ее пересказывают на свой лад. А все равно как-то сухо получается. Родился в 1907-м в Нижегородской области, в деревне (зачем-то спорят... в Покровском ли, в Дьяково ли... какая разница, они все одинаковые, эти деревни нижегородской глубинки), в семье сельских учителей. С детства полюбил литературу, начал писать стихи. Был пионером, потом комсомольцем. В восемнадцать лет уехал в Ленинград. Там стал поэтом с большой буквы. Писал стихи и поэмы. И комсомольские, про революцию и лирические, как его кумир Есенин. Выпустил несколько сборников. В 37-м был арестован, в 38-м расстрелян. Через двадцать лет реабилитирован. Вот так примерно в каждой книге, где-то

подробней, где-то не очень. Немного о поэте сохранилось воспоминаний. Мало он прожил. Быстро и резко.

Зато оставил после себя стихи. Вот их и надо читать. Самому. Наслаждаться. И не грузить себя критическим анализом.

* * *

Я укладываю в сумку все взятые в библиотеке книги Бориса Корнилова и сажусь в машину. Август. На улице страшная жара. За тридцать в тени. Слава богу, нет пожаров, как в прошлом году. Или пока нет. Не будем думать о грустном.

На дачу. Я еду на дачу. К Горьковскому водохранилищу. За Волгу. Туда, ближе к корниловскому Семенову. Нет, не в сам Семенов, а в Городец. Но тоже в леса. До родины поэта совсем немного. Может быть, километров тридцать, может, чуть больше. Но леса такие же густые, хмурые, полные черники, брусники, грибов. Полные птиц и ветра. В прошлом году периодически возникающие штормы не раз обрывали провода, и я оставался в своем доме в темноте, без электричества, на несколько дней. Каждое утро меня будили соловьи. В этом году и до моего дома дошла цивилизация, вырубившая просеку на пути линии электропередач. Теперь ветра и штормы не мешают.

Засыпает молча ива.
Тишина
и сон кругом...
Ночь, пьяна и молчалива,
постучалась под окном.
Подремли, моя тревога,
Мы с тобою подождем,
наша мягкая дорога
загуляла под дождем.
Надо мной звереют тучи...
Старикашкой прихромав,
говорит со мною Тютчев
о грозе и о громах.

Я еду в машине. Мой путь лежит через Волгу. Мост уже который год не справляется со все возрастающим потоком автомобилей, и чтобы хоть как-то разгрузить многочасовые пробки на выезде из города по пятницам и на въезде обратно по воскресеньям, летом дополнительно начинает работать наплавной мост. Он работает в определенные часы вечером. Утром и днем его разводят с помощью буксира-толкача. Я проезжаю по мосту. По шинам громко стучит рифленая поверхность понтона. Мой взгляд отвлекается от дороги, и я рассеянно перевожу глаза на буксир-толкач. «Я недаром вздрогнул, не загробный вздор, в порт, горящий как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ «„Теодор"....». Да нет, конечно, Маяковский тут ни при чем со своим Нетте. И порта нет. Просто я вижу надпись на желтом боку буксира-толкача. Там написано: «Борис Корнилов». Так не бывает, неужели я начинаю бредить поэтом, думаю я и встряхиваю головой. Надпись не исчезает. «Борис Корнилов» помогает мне сегодня переправиться на другой берег. Он выполняет эту работу каждый день в период навигации из года в год. Он сводит и разводит понтонный мост по нескольку раз в сутки. Мост на свою родину, через реку, ставшую для него родной, пусть и не такой близкой, как Керженец. Неожиданно до меня доходит

смысл всех написанных ранее и прочитанных за последние дни слов критиков, составителей его сборников. Историков, пишущих о поэте. Он такой разный, говорили они в один голос. Словно Корнилов не один. Словно он раздваивается. Один — поэт-революционер, пулеметчик, жестоко обличающий кулака, воспевающий революцию, строителей коммунизма, Октябрь, коллективизацию. Другой — нежный и ранимый, любящий и любимый, не представляющий свою жизнь без соловьиных песен, шума берез, родных полей и просторов. Первый — стремящийся «приравнять перо к штыку», рвущийся во главе подразделения «Поэзия» в бой, «ударник пера». Второй — «парень-вырви-гвоздь», деревенский мальчишка, целующий во сне рыжую лошадь. Он такой разный. А почему? А потому, что он как река, у которой два берега. На одном одна жизнь, на другом — другая. Здесь — густые, хмурые леса, разливы, поля, соловьи, медведи. Там — заводы, дымящиеся трубы, комбайны, тракторы, сталь, мартены, пролетариат, кумачовые флаги. Здесь — одни стихи, там — другие. Здесь — лирика и спокойствие, там — барабанный бой и встречные планы. Здесь — родина и твои корни, соки. Там.... там что-то не то... чужое. Меняется берег, меняется и ритм стихов поэта. Меняется город, меняется судьба.

* * *

Петроград — город пролетарский. Город революций, город матросов, обмотанных лентами, город солдат с винтовками. А еще город изумительных по красоте дворцов, прекрасных зданий, скульптур. И еще город сотен мостов. И снова и снова, как там, на Волге, мы видим разного Бориса Корнилова. Он словно переходит с одного берега на другой, то по одному мосту, то по другому. На одном берегу вдохновение ему дарят революция, Гражданская война и дымящие трубы заводов, на другом — белые ночи, «гульба багряных листьев», Летний сад. Корнилов пытается увидеть красоту в революции и совместить эти два понятия, но получается это плохо. Не может не потому, что не справляется с этой задачей. Нет. Не может потому, что эти два понятия не совместимы. Они живут в разных измерениях.

Человек с совестью и глубоким внутренним миром видит, что революция не делает жизнь людей счастливее. Во всяком случае, она точно не делает счастливой всех в стране. Она лишь обманывает, словно наркотик, который на время туманит разум, словно алкоголь, который на несколько часов веселит глаза, а утром оставляет тяжелое похмелье. На том берегу за Волгой простое человеческое счастье, соловьиные песни, любящие девушки. На этом — сломанные судьбы, железные кони. На том берегу Невы — барельеф Исаакивского собора, шедевры архитектуры и искусства, «просто куст, осыпанный сиренью», на этом — знамя Нарвской заставы, революционные матросы, хмурые партаппаратчики и бюрократы.

Но надо писать «социалистические стихи». А надо ли?

Ударим на неприятеля —
ударим — давно пора —
сегодня на предприятия
ударниками пера.

Без бутафории, помпы,
без конфетти речей,
чтоб лозунги били, как бомбы,
вредителей и рвачей.

Чтоб рифм голубые лезвия
взошли надо мной, над тобой,
подразделенье Поэзия,
налево
и прямо в бой.

* * *

«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы... Именно в те годы сложилась та чудовищная поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма...» Такие строки в 1952 году Борис Пастернак написал в письме Варламу Шаламову, характеризуя поэзию того, корниловского времени. К этим словам нельзя не прислушаться. Двадцатые... а за ними тридцатые...

В 1936 году над Корниловым нависла туча литературной критики. Нависла по идеологическим соображениям. Видимо, он перестал, с их точки зрения, выполнять ту идеологическую установку, которая требовалась от поэта коммунистической эпохе. «Набор слов», «торопливейшая и безграмотная мазня», «пошлость и беспардонная болтовня» — такие оценки давали поэту критики. Безусловно, это отразилось и на внутреннем душевном состоянии Корнилова.

Невеселые записки тех лет выдавали состояние поэта: «Пиво горькое на солоде затопило мой покой... Все хорошие, веселые — один я плохой...», «Вы меня теперь не трогте — мне ни петь, ни плясать — мне осталось только локти кусать...» И уж совсем депрессивно: «Ахнут в жижу черную могилы, в том числе, наверно, буду я. Ничего — ни радости, ни силы, ты прощай, красивая моя... Сочиняйте разные мотивы...—Все равно недолго для могилы...»

Литературный критик Л. А. Аннинский писал: «Разумеется, пьянство, дебоши, богемщина, сделавшиеся под конец настоящим проклятием в жизни Корнилова, подорвали окончательно его творческие силы. Но водка и дебоши, в свою очередь, были следствием глубокой и нарастающей неудовлетворенности Корнилова собой, все усиливающегося чувства опустошенности. Корнилов ощущал неопределенность своего положения в поэтическом потоке 30-х годов. Время, которое даровало ему яркую творческую судьбу, уходило в прошлое, новая эпоха предъявляла новые требования; Корнилов искал новых путей — безуспешно, и отсюда столь болезненное у него (тридцати лет от роду) ощущение преждевременной завершенности его творческой судьбы».

В «Литературной газете» уже после ареста поэта появилась статья:

«Поэта Корнилова много лет считали только пьяницей и дебоширом. Он хулиганил, скандалил, избивал жену, вел себя непристойно как писатель и гражданин. Но что поделаешь с пьяницей? Между тем этот пьяный поэт писал контрреволюционные стихи и распространял их в списках. По дороге из одного кабака в другой он какими-то путями попадал в некоторые иностранные консульства».

Вот это уже было хуже. Напридумывали. А пьянство.... пьянство в России никогда не являлось пороком.

Было весело и пьяно, а теперь я не такой,
за четыре океана улетел мой покой.

В 1936 году Корнилова исключили из Союза писателей. Формально за то, что много пил. В действительности, думаю, за то, что не хотел быть, как все, идти в едином строю, воспевать социализм, Сталина.

* * *

Читая и перечитывая стихотворения поэта, я начал все больше и больше приходить к мнению, что стремление выйти из этого общего строя, стремление к индивидуальности, желание писать не то, что надо, а то, что просят сердце и душа, возникло у Корнилова задолго до 1936-го.

«Подремли, моя тревога, мы с тобою подождем», — эти нотки звучат уже в 1927-м. В стихотворении «Лесной дом» тревога усиливается — «только тихий дом мне в стихи залез». А в известном стихотворении «Айда, голубарь...» поэт по-настоящему скорбит о своих оставшихся далеко корнях:

Не я ли махнул рукой
На то, что зари не нашел алее?
На то, что девчат не нашел милее?
И волости — вот такой?

В том же 27-м поэт написал стихотворение «Обвиняемый», в котором сделал резкий, с моей точки зрения, выпад в адрес практически живого классика Владимира Маяковского, обвинив его, по сути, в обслуживании власти:

И очень орать горазд,
В теоретическом лоске
Несет социальный заказ
Довольный собой Маяковский.

Переехав в Петроград и влившись в поэтическую среду пролетарского города, Корнилов обязан был также исполнять этот самый «социальный заказ». Иногда это у него получалось. В первые питерские годы он писал такие стихи: «Окно в Европу», «Тройка», «Ночь комбата». Время обязывало сочинять идеологически выверенные вещи, начисто лишенные «есенинщины». Корнилов пытался соответствовать времени. Иногда у него это получалось. Появились «Интернациональная», «Комсомольская краснофлотская», «Октябрьская», поэма «Триполье», многие другие произведения. Великая «Песня о встречном» стоит во главе этого списка.

Но тут же он начинал ощущать внутренние противоречия, и тогда из его сердца вырывалось:

Мне душно сейчас,
последняя песня тоскою зажата,
и высохло слово,
на свет просочась.
И нет у меня
никакого решенья.

Он старается обличать, как тогда требовалось, кулаков и всю кулацкую Россию. «Конобой», «Семейный совет», «Убийца» выходят из-под его пера одно за другим.

И почти одновременно глубокая тоска о родной деревне — «Чаепитие», «Дед».

Тосковать о прожитом излишне,
Но печально вспоминаю сад,—
Там теперь, наверное, на вишне
Небольшие ягоды висят.

Поэт старался гнать от себя мысли и ощущения того, что пишет он не то, что требует его свободная, лирическая душа. Он всячески пытался доказать себе, что он-то как раз не исполняет тот самый «социальный заказ». Получалось неубедительно. Неубедительно уже потому, что сам поэт ощущал, что он обманывает себя:

Мне скажут черными словами,
Отринув молодость мою,
Что я с закрытыми глазами
Шаманю и в ладоши бью.
Что научился только лгать
Во имя оды и плаката,—
О том, что молодость богата,
Без основанья полагать.
Но я вослед за песней ринусь,
Могучей завистью влеком,—
Со мной поет и дразнит примус
Меня лиловым языком.

Получив образование, научившись многому в литературе и приобретя столичный лоск, Корнилов начал терять те корни, которые давали ему силы для поэзии. Он не хотел с этим соглашаться. Истинное творчество было для него важнее социального статуса. Поэтому все чаще и чаще обращается он в своих стихах к основам. Туда, в деревню, он стремится на «охоту за словом». Увы, вернуться в нее практически невозможно. Физически это сделать нетрудно, просто сев на поезд и приехав. А вот напитаться этими творческими соками намного сложней. Поэт это понимает: «Вот жалко только, что собака сдохла и ель упала книзу головой», — пишет он. И уж совсем безнадежность сквозит в его «Елке»:

Уйду из этой жизни прошлой,
Веселой злобы не тая,—
И в землю втоптана подошвой —
Как елка — молодость моя.

Нижегородский приятель Корнилова Константин Мартовский вспоминал однажды: «Живя в Нижнем, я раза два-три встречался к Корниловым. Как-то раз, рассказывая о литературных делах, с иронией заметил, что какой-то критик назвал его комсомольским, чуть ли не пролетарским поэтом.

— Вот чудак! Я же типичный попутчик. — ответил Борис».

Вот! Вот она, важная и честная фраза. Ключевая фраза. Сказанная не критиками, а самим поэтом, пусть и со слов товарища. Стихотворения про революцию не были для Корнилова родными. Они шли не из сердца. Он сам чувствовал это.

Молодости нужна энергия. Энергию несла революция, энергию несла Гражданская война, комсомольские стройки. Со своего родного, замшелого, как старина, берега Волги поэт перебрался на другой с кумачовыми знаменами и железными конями. Переход дался болезненно.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие поцеловал.
Гладил уши, морду
Тихо гладил
И глядел в печальные глаза.
Был с тобой, как и бывало,
Рядом,
Но не знал, о чем тебе сказать.
Не сказал, что есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня...
Ты б меня, мой дорогой, не понял,
Ты б не понял нового меня.

* * *

— Как так случилось, что буксир-толкач назван именем поэта? — спрашиваю я заместителя директора Нижегородского порта. — Это же очень необычно.

Он как-то по-доброму, по-крестьянски улыбается:

— Да вот назвали. Мы купили-то его шесть лет назад. У него и имени-то тогда, можно сказать, не было. «Шлюзовой» и номер какой-то. Помогал пароходам шлюзоваться при проходе через плотины. А тут у нас тогда вроде в области решение приняли делать понтонный мост на лето. А его же сводить и разводить надо. Тут кнопочкой, как на Неве, не обойдешься. Электроника не поможет. Работу надо тяжелую делать. Многотонный понтон тащить в один конец, потом через несколько часов в другой. А тут еще течение. Оно в этой части достаточно сильное. Вот и нашлось дело для буксира. Нужную работу он выполняет. Молодец. А имя... — продолжает мой собеседник, — не помню уж, кто предложил. То ли администрация, то ли мы сами. Тут еще столетний юбилей его намечался. В общем, приняли решение, подали заявку. Ее одобрили. А что?! Хорошо, я считаю, память о поэте увековечили. Дорога-то вон по мосту к нему, на родину, в Семенов. Может, поедет кто, имя увидит, заинтересуется, книжку в библиотеке возьмет или купит вон. Я сам, когда решение принимали о переименовании, всего его прочел. Хороший поэт. Наш. Русский. Я ведь на его «Песне о встречном» вырос, считай. Не знал, что она его. А теперь знаю. Вот как, значит, жизнь складывается.

* * *

Вершиной творчества поэта Бориса Корнилова для меня явилась его поэма «Моя Африка». Жена Бориса Петровича Людмила Басова писала о ее замысле: «Однажды один ленинградский художник рассказал Борису Корнилову о том, как на фронтах Гражданской добровольцами дрались с белыми семь отважных героев-сенегальцев, дрались мужественно и все погибли за молодую Республику Советов».

В газете «Вечерний Ленинград» тридцатых годов есть небольшая статья Корнилова. В ней он пишет: «Скоро будет напечатана поэма «Моя Африка». Тема поэмы – интернационализм Красной Армии. Но когда я писал поэму, я писал не только об

интернационализме. Я писал и о голоде, и о людях, и о смерти. На протяжении 2500 стихов можно написать о многом». Да, не только об интернационализме писал поэт. Не только! Выскажу свое личное на этот счет мнение.

Безусловно, поэма глубоко интернациональна. Это отмечают все исследователи творчества Корнилова. Поэма вышла за рамки советской поэзии и нашла отклик в международной критике. Не случайно Ромен Роллан так охарактеризовал произведение: «В прекрасной поэме молодого писателя Корнилова «Моя Африка» выведен негр, который борется и умирает во главе отрядов Красной Армии за «нашу Россию», за «нашу советскую родину». А молодой русский, увлеченный этим примером, тоже стремится бороться и умереть за «свою Африку», за «нашу Африку». Вот такой полный отказ от национальных предрассудков, унижающих великие человеческие расы, характерен для нового человека».

Читая поэму, невольно вспоминаешь известный фильм Григория Александрова «Цирк». И сцену, в которой героиня актрисы Любови Орловой держит на руках маленького чернокожего мальчика. Казалось бы, нет ничего общего между этим ребенком и шагающим по ночному Питеру необычным солдатом. Ан нет. Сравнение напрашивается само. Тема интернационализма нарастала в предвоенной России, и всем критикам и исследователям творчества Корнилова было необычно просто именно эту тему и возвести во главу угла.

Мне же видится нечто другое. В этой поэме, с моей, подчеркиваю, точки зрения, Борис Корнилов постарался свести то несовместимое, что никак не мог сделать раньше. Революцию и чувственность, Октябрь и лирику, войну и поэзию. Он не воспевал красоту революции, нет. Он действительно старался слить воедино эти два сложных, абсолютно самостоятельных понятия. Он, словно буксир-толкач, выехал на середину реки и, борясь с течением, соединил собой два берега. Именно поэтому немалая часть поэмы проходит для ее героя в состоянии бессознательности, в тифозном бреду. Это состояние позволяет объединить несовместимое и сделать гротескное описание действительности мягче. Посмотрите на чернокожего героя Вилана. Да, с одной стороны — он воин, он боец, но с другой — он глубоко лиричен.

В чем обвиняли многие критики Корнилова? Что не нравилось идеологам советской власти в его работах? То, что нет-нет да проявится в творчестве поэта любовь к кулацкой деревне. Обвиняли его в том, что уж больно сочно описывает он и кулака, и атамана, других врагов советской власти. А вот в описании бедняков, красноармейцев, рабочих поэт немногословен. Речь идет об описании персоналий. Корнилов дает их как бы в массе, неиндивидуально, скупо. Конечно, иногда он старается дать своим героям цветных красок, так сказать, трехмерного, «3D»-изображения. Но скажем честно, что отмечено всеми критиками, получается это у него неважно. Убежден, делалось это не по какому-то принципу, а по вполне объективным причинам. Корнилов не находил для них красок, потому что не мог. Слишком однородна и сера была эта масса.

Поэму «Моя Африка» я прочитал трижды. Первый раз быстро, взахлеб, словно проглатывая четверостишие одно за другим, второй раз медленно, смакуя как дорогой напиток, наслаждаясь каждым словом, третий раз избранно, маленькими порциями, кусочками, будто играя. Поэма великолепна и, повторюсь, с моей точки зрения, является вершиной творчества поэта. Произведение читается легко и торжественно, словно великая река, которая не обращает внимания на мелкие препятствия, плавно делает изгибы, где надо, ускоряясь, где требуется — замедляя течение. Поэма несуетлива и этим прекрасна. Безусловно, дополнительную красоту произведению придают ее герои. В поэме практически нет образа врага. В ней образы двух героев: черноко-

жего командира Вилана, приехавшего из далекой Африки защищать нашу свободную молодую страну, и юного художника Семена Добычина. Их мимолетная встреча (а была ли она, или это галлюцинация заболевающего тифом художника?) в заснеженном Петрограде изменила жизнь Семена, который принял решение уехать на фронт на поиски негра (хочется написать, как нас учили, политкорректно: «афроамериканец», ведь даже мой образованный компьютер подчеркивает слово «негр» красным, но из Корнилова слов не выбросишь), а потом, судя по всему, и защищать черную Африку от белых колонизаторов.

Впервые в своих произведениях Корнилов серьезно живописует главного героя. Чернокожего боевого командира. То есть «нашего». Но из Африки. То есть все же не советского. Его описанию посвящено огромное количество страниц. Две страницы первой встречи с Семеном Добычиным. Да какое это описание:

...человек, не призрак и не леший,
Кавалерийской стянутый бекешей.
Ремнями светлыми перевитая,
Производя сверкание и гром,
Была его бекеша золотая
Отделана мерлушки серебром.

Это просто медный всадник настоящий. Былинный герой. Языческий бог Перун. Вообще удивительно гармонично Корнилов в «Моей Африке» смог соединить зимний Петроград и тяжелую поступь черного красноармейца.

С немалыми причудами поземка:
То завивает змейку и венок,
То сделает веселого бесенка —
Бесенок прыг...
Рассыпался у ног.

И тут же рядом, через несколько строк уже о самом негре:

Он шел вперед, тяжелый над снегами,
Поскрипывая, грохоча, звеня
Шевровыми своими сапогами,
Начищенными сажей до огня.
Он подвигался, фыркая могуче,
Шагал по бесенятам и венкам,
И галифе, лиловые как тучи,
Не отставая, плыли по бокам.

Посмотрите, как все естественно перетекает друг в друга — и керженские лешие, сказочные бесенята и тут же красноармейские галифе, и шевровые сапоги, и революционный Петроград. Все как-то ненатужно, лирично.

В конце поэмы Корнилов посвящает Вилану еще несколько страниц. Видно, как он по-доброму влюблен в созданный образ:

Какой красивый...
Мать его любила...
К полковнику
В карьер,

Наискосок,
Сам черный — образина,
А кобыла
Вся белая, что сахарный песок.

Почему же так удалась Борису Корнилову эта поэма? Почему она заслужила столь много положительных отзывов. Почему обратил на нее внимание Ромен Роллан? Все эти вопросы из разных плоскостей. Внешне, для читателей, для критики, это была глубоко интернациональная поэма. И, наверное, этот смысл вкладывал в нее и поэт. Но был и второй смысл. Я осмелюсь предположить, что в герое войны Вилане Борис Корнилов описал себя!!! Чернокожий красноармеец Вилан — сильный человек с мятущейся душой, готовый пересечь континенты и обуздать время, чтобы найти свой понятный только ему смысл жизни. Как Борис Корнилов. Но это еще не все. Художник Семен Добычин — это тоже Борис Корнилов. Это его второе «я» в поэме. Юный, семнадцатилетний художник. Творческий человек, оказавшийся в непростое время в раскаленной революцией стране.

Вспомните, сколько лет было Борису Корнилову, когда он перебрался в Петроград и как ему и многим его сверстникам-поэтам «страдалось» от того, что они не смогли по молодости своей принять личное участие в революции и Гражданской войне. Тогда даже возник этот термин — «опоздавшее поколение». Вилан и Семен Добычин — это один человек, разделенный революцией словно на две части. Это — Борис Корнилов, облик которого многие критики, например Л. Аннинский, и видели двоящимся — его «облик... двоился в глазах современников».

Эту «двойственность», живущую в нем, и продемонстрировал ярко Корнилов в поэме «Моя Африка». И свою «темную» сторону и «светлую». А чтобы сомнений не оставалось ни у кого, даже сделал героев разного цвета кожи. Словно в фотографии негатив и позитив. Правда, по ролям-то они оба позитивные. Он свел их на несколько секунд в заснеженном Петрограде. Он словно на мгновение пересек два мира, в которых эти люди жили и, казалось бы, никогда не должны были встретиться. Пересек и развел снова, навсегда. Корнилов, словно буксир-толкач, на короткое время соединил два берега: тот — поэтический, свободный, но замшелый и этот — революционный, бескомпромиссный, рождающийся в войне и муках.

Корнилов не просто попытался перекинуть мост с одного берега на другой. Он реально объединил их. Он сделал то, что раньше у него не получалось. Революция и искусство встали рядом. Семен Добычин — художник, но готов взяться за винтовку и уехать в другую страну. Командир Вилан — военный герой, которого любила мама. Образ Вилана и Добычина в поэме Корнилов постоянно стремится объединить. Находясь в больнице, в бреду «Добычин бредит неграми, жарой»:

Его волочат по корням еловым
И бьют прикладами наперебой,
Он — не Добычин,
Он — с лицом лиловым,
С отпяченной и жирною губой.

Неожиданно даже действие, начавшееся в Африке, вдруг невольно переносится на миг словно в керженские леса (а где же еще могут быть «еловые корни»?).

Я считаю, что в «Моей Африке» Корнилов выразил себя максимально. Пусть на время, на эти две с половиной тысячи стихов, из которых состоит поэма, поэт дос-

тиг внутренней полной гармонии. Он связал два своих близких физически, но оказавшихся такими далекими берега.

Не знаю, думал ли Корнилов, что когда-то через сто лет один из его читателей вот так вот неожиданно увидит эту поэму, да и вообще закладывал ли он в нее хоть долю такого смысла, нам не ведомо.

Я не профессиональный критик, не филолог и не исследователь творчества поэта. Я — земляк Бориса Корнилова, человек, который полюбил его творчество и который вот так вот увидел поэта.

* * *

В следующем году буксиру-толкачу «Борису Корнилову» исполняется пятьдесят лет. Много это или мало для судна этой «профессии», не знаю. Знаю только одно: на сайте Нижегородского речного порта висит объявление о его продаже. Цена договорная. Наверное, с возрастом со своей тяжелой работой ему справляться становится все сложнее. Рано или поздно «Бориса Корнилова» продадут. Понтонный мост останется, но сводить и разводить его будет кто-то другой. А значит, имени поэта молодые, родившиеся в новом XXI веке люди, едущие на машине за Волгу, не узнают....

Не узнают, если мы сами забудем поэта и не расскажем о нем своим детям.

Литература

В. Шамшурин, В. Алексеев. «Я вижу земную красоту». Книга о Борисе Корнилове. Нижний Новгород, 2007.

Корнилов Б. П. Избранное. Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1977.

Корнилов Б. П. Стихотворения и поэмы. Издатательство «Советский писатель», 1966.

Поэт, рожденный Октябрем: Воспоминания, статьи, стихотворения о Борисе Корнилове (составитель К. И. Поздняев). Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1987.

Газета «Ленинская смена», 05.08.1973.

И синь семеновских лесов. К 90-летию поэта Бориса Корнилова. Сборник (составитель В. А. Шамшурин), 1997.

Поздняев К. И. Продолжение жизни. Книга о Борисе Корнилове. М.: Современник, 1978.

Заманский Л. Борис Корнилов. М.; Советская Россия, М.: 1975.

Б. Корнилов. Песня о встречном. СПб.: Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2011.

Территория памяти

Станислав МИНАКОВ

ЕЩЕ РАЗ О «ВОЛХОВСКОЙ ЗАСТОЛЬНОЙ»

Многие помнят песню «Волховская застольная» (нередко именовавшуюся как «Ленинградская застольная»), весьма знаменитую в годы войны, разошедшуюся по фронтам. В послесталинские годы ее отодвинули от эфира, она осталась именно что в ветеранских застольях. Мне, родившемуся через 14 лет после Великой Отечественной войны, довелось ее услышать в радиопередаче Виктора Татарского «Встреча с песней».

Мой отец, Александр Тихонович, мальчишкой переживший тяжкую харьковскую оккупацию (Харьков по относительному количеству убыли населения в те годы занимает второе место после блокадного Ленинграда) и впоследствии стопроцентно потерявший зрение в 33 года, был любителем и знатоком военных песен, записывал их с радиотрансляций на магнитофон, бесплатно ему предоставленный Всероссийским обществом слепых. Отец говаривал, что, текст, видимо, подвергся редактуре, поскольку отсутствует куплет со словами «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальем!».

Так случилось, что уже после кончины отца в 2005 году, собирая для себя некоторые песенные массивы в цифровом формате, я обнаружил на сайте «Советская музыка» (sovmusic.ru), который рекомендую всем, несколько вариантов песни, и в результате кое-что стало проясняться. Правда, понадобились некоторые усилия, чтобы расплести клубок.

Выяснилось, что речь идет о, как минимум, двух песнях, точней, о трансформации песни. Это, на мой взгляд, прямо свидетельствует о ее народном характере, несмотря на то, что к сочинению текста на разных этапах были причастны несколько сочинителей.

О «Застольной Волховского фронта», сообщалось, что слова написал в начале 1943 года Павел Шубин (1914–1951), корреспондент газеты Волховского фронта, на

Станислав Александрович Минаков родился в 1959 году. Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист. Автор нескольких книг стихов. Публикации в журналах «Литературная учеба», «Литва литературная», «Византийский ангел», «Радуга». «Знамя». Член правления Ассоциации русских писателей Украины. Живет в Харькове.

мелодию песни белорусского композитора И. Любана «Наш тост», сочиненную годом прежде, в 1942 году.

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось, —
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.

Пусть вместе с нами земля Ленинградская
Вспомнит былые дела,
Вспомнит, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала.

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступал ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу.

Будут в преданьях навеки прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.

Встанем и чокнемся кружками стоя мы,
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!

Мужественный и поэтически вполне внятный текст с сильным и неожиданным оборотом «горло ломая врагу». Образ сложней прямого его прочтения — боя рукопашного или вообще богатырского поединка; рассказывают и том, что в стратегическом смысле под Ленинградом образовалось в линии фронта узкое место, так называемое «горло», которое наши войска должны были ликвидировать, чтобы взять в котел вражескую войсковую группировку). И хотя в отредактированном варианте (почти всегда такая редактура ведет к упрощению, ухудшению текста) пели: «Горло сжимая врагу», в оригинале все-таки — «ломая». Еще одна ассоциация: «Бутылочным горлом», «Flaschenhals», в немецких оперативных документах назвалась та самая «Дорога жизни», что вела в блокадный Ленинград.

Песня стала гимном Волховского (с вариантом «немцев за Волхов гнала») и Ленинградского (с вариантом «немцев за Тихвин гнала») фронтов. Известно много ее изустных вариантов, однако канонический шубинский текст представляется, несомненно, самым удачным.

Однако любопытно взглянуть, что это за «слова М. Косенко», которые были у песни изначально. Ведь песню «Наш тост» сразу же включили в свой репертуар многие фронтовые ансамбли, продолжала она исполняться и в послевоенное время. В частности, Петр Киричек (1902—1968) оставил запись 1946 года. Не столь давно разыскана уникальная запись 1947 года знаменитой Изабеллы Юрьевой (1899—2000):

Если на празднике с нами встречаются
Несколько старых друзей,
Все, что нам дорого, припоминается,
Песня звучит веселей.

Ну-ка, товарищи, грянем застольную!
Выше стаканы с вином!
Выпьем за Родину нашу привольную,
Выпьем и снова нальем!

Ценят и любят нежную ласку,
Ласку отцов-матерей!
Чашу поднимем, полную чашу,
Выпьем за наших детей!

Выпьем за русскую удаль кипучую,
За богатырский народ!
Выпьем за армию нашу могучую,
Выпьем за доблестный флот!

Встанем, товарищи, выпьем за гвардию,
Равной ей в мужестве нет.
Тост наш за Сталина! Тост наш за партию!
Тост наш за знамя побед!

Лишь в этой песне, а никак не в «Волховской застольной», мы обнаруживаем здравицу И. Сталину.

Иногда среди авторов текста песни «Наш тост» указан и Арсений Тарковский (порой без инициалов, в некоторых тиражах старых пластинок даже как Парковский и Тарновский), вроде бы делавший литературную обработку текста, написанного бывшим шахтером Матвеем Евгеньевичем Косенко (1904–1964), рядовым стрелкового батальона, где служил замполитом композитор Исаак Исаакович Любан (1906–1975). Композитор тогда лежал в госпитале и написал мелодию, для которой ему было предложено 17 вариантов текста, однако выбрал он именно работу рядового Косенко.

Косенко и Тарковский указаны и на пластинке, где песня «Наш тост» исполнена в 1942 году солисткой минской оперы Ларисой Александровской (1904–1980), народной артисткой СССР, лауреатом Сталинской премии (1941) и однокашницей И. Любана, которая, к слову, до войны жила с композитором в одном доме. Сайт «Советская музыка» дает пояснение, что пластинка не пошла в тираж, и отмечает наличие дополнительного куплета, заканчивающего песню в этой версии:

Пусть пожеланием тост наш кончается —
Кончить с врагом навсегда!
С песней победы вновь возрождается
Наша родная страна!

Какое отношение имел к тексту поэт Тарковский (1907–1989), который 3 января 1942 года приказом Народного Комиссариата обороны за № 0220 был «зачислен на должность писателя армейской газеты» и с января 1942 года по декабрь 1943-го работал военным корреспондентом газеты 16-й армии «Боевая тревога», на страницах которой публиковал стихи, воспевавшие подвиги советских воинов, частушки, басни, высмеивавшие гитлеровцев? (Известно, что солдаты, как тогда водилось, вырезали его стихи из газет и носили в нагрудном кармане вместе с документами и фотографиями близких, что можно назвать самой большой наградой для поэта.)

Дочь поэта Марина Арсеньевна Тарковская, сестра режиссера Андрея Тарковского, занимавшаяся историей этого текста (и именно после ее публикации текст песни и был размещен в Интернете), в частном письме по моей просьбе сообщила: «В конце 1942 г. при 11 дивизии маршалом Баграмяном был отдан приказ о создании Ансамбля песни и пляски, для которого и была написана песня «Гвардейская застольная». Папа переделал первоначальный текст Косенко, у Тарковского было, по-моему, 4 куплета (не было никакой «чашки»)».

Поясним: в исполнении Л. Александровской пелось не про чашу, как у И. Юрьевой, а «Так и подымем полную чашку, / Выпьем за наших детей!».

Наблюдение дочери поэта точное: литературное качество последних строф весьма сомнительно. Никак невозможно предположить, что к ним приложил руку Тарковский, выдающийся мастер русского стихосложения. Похоже, этот вариант переиначен доброхотами, а нам удалось изыскать несколько более внятный вариант последнего куплета:

Пусть пожеланием тост наш кончается:
Кончить с врагом поскорей!
Пой, друг, и пей до дна — лучше сражается
Тот, кто поет веселей!

Рассказывают, что в Великом Новгороде 20 января, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, а также 9 мая теперь эта песня исполняется с таким куплетом:

Выпьем за тех, кто погиб под Синявино,
Всех, кто не сдался живьем,
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем!

Здесь уже, как видим, осуществлена попытка, литературно несовершенная, внедрения одного из изначальных посылов песни «Наш тост» (в «сталинской» части) в текст Шубина.

В. Солоненко в «Литературной газете» в начале мая 2002 года рассказал о достаточно широко известной песни «Наш тост», не только прозвучавшей в Москве в исполнении Л. Александровской: «В мае 1942 г. ...песня была впервые опубликована в

сборнике И. Любана “Пять песен”, изданном Домом Красной Армии Западного фронта. Отдельными изданиями она далее выходила ежегодно в 1943, 1944, 1945 гг. Изданная листовкой 100-тысячным тиражом в 1948 г., песня уже имела кое-какие изменения в тексте: первая строка “Если на фронте” была заменена на “Если на празднике”, число куплетов с семи сокращено до четырех».

Несомненным признаком народности, на мой взгляд, является тот факт, что помнится людьми и компилятивный вариант, с перемешанными куплетами (зачинные — от исходного варианта, а дальше — по Павлу Шубину, завершая народным куплетом), так и с досочиненными иными.

Шубинская песня была в полной мере солдатской. Известен эпизод, как во время выступления перед бойцами на фронте Шубин стал читать свою «застольную», а один старшина упрекнул его — за то, де, что «товарищ военкор» вместо своих стихов «исполняет народные песни». Н. Сотников в статье «Автор гимна двух фронтов» («Нева», 2004, № 12) отмечает, что Шубин сперва засмеялся, а потом посерьезнел и сердечно поблагодарил строгого слушателя.

Меж различных интернет-комментариев обратил на себя внимание и такой: «В замечательной «Волховской застольной» нет ни слова про партию и Сталина. Зато есть слова, которые невозможно забыть: «Наши штыки на высотах Синявина, наши полки подо Мгой». Так случилось, что наша часть была осенью 1967 г. на сплошном разминировании как раз в тех местах (Синявино, Грибное, Мойка, Теткин Ручей, Мга, Апраксин, Назия), где ранило моего отца в войну. Тогда-то я и узнал об этой песне от него. Сколько мы тогда «комплектов» перетаскали, и не вспомнить. «Комплектом» считался череп и несколько костей к нему в придачу, и собирался такой комплект, если находилась бумажка в пластмассовом футлярчике с именем, фамилией и местом призыва погибшего. «Комплекты», после того, как их немного накапливалось, сдавали в военкомат. Царство Небесное всем погибшим там».

И у младшего фронтового шубинского собрата, как считают, даже ученика, замечательного поэта Александра Межирова, ушедшего на фронт в 1941 году, с 1942 года, воевавшего заместителем командира стрелковой роты на Западном и Ленинградском фронтах и получившего под Синявино тяжелое ранение, памятны нам хрестоматийные стихи «Я сплю, положив голову на синявинские болота, / А ноги мои упираются в Ладогу и в Неву...» («Воспоминания о пехоте», 1954). Не позабудем, конечно, и другие строки, идущие оттуда же: «Мы под Колпином скопом стоим. Артиллерия бьет по своим...»

Осталось сказать, что автор «Волховской застольной», сочиненной, похоже, на мотив уже широко распространенной на тот момент песни, Павел Николаевич Шубин родился в с. Чернава Елецкого уезда Орловской губернии (ныне — Измалковского района Липецкой области) в семье мастерового. В 1929 году уехал в Ленинград, где работал слесарем, а в 1934 году поступил на филфак Ленинградского пединститута, который окончил в 1939 году.

В годы Великой Отечественной войны П. Шубин работал фронтовым корреспондентом на Волховском и Карельском направлениях, потом некоторое время на Дальнем Востоке.

Не нами сделано наблюдение: Шубин родился через сто лет после Лермонтова, в год начала Первой мировой войны, а умер в пушкинском возрасте, тридцатисемилетним, от острого сердечного приступа, на скамеечке в тихом московском переулке. Некоторые его стихи стали хрестоматийными, однако широкому читателю Шубин мало известен. А жаль. Достаточно поглядеть хотя бы на развитие в его творчестве

волховско-синявинской темы, в частности, в энергичном стихотворении «Солдат» (1945), написанном «тёркинским» хореическим размером, с неотвязчивым рукопашным образом вражеского горла:

Все, кому не приходилось
биться насмерть в зыбунах,
где зима в огонь рядилась
на Синявинских холмах,
кровью-ягодой катилась
в почерневший снежный прах;

все, кому фашиста-вора
не пришлось за горло брать
у того ль Мясного Бора,
где пришлось нам умирать,
где болотные озера
мертвецы гатили в гать;

да, у Бора у Мясного,
где горела и броня,
средь кипенья снегового,
задыхаясь и стеня,
где, убитые, мы снова
воскресали из огня;

все, кому фашиста-фрица
не пришлось дугою гнуть,
про солдата-пехотинца
вспомяните как-нибудь.
Это он сумел пробиться,
проложить сквозь гибель путь.

Мы вспомнили «Волховскую застольную» — пожалуй, самый известный шубинский текст, фактически ставший солдатской народной песней, однако за нами остается должок: следует подробно поговорить также о других сочинениях поэта-фронтовика Павла Шубина.

Путь к читателю

Ирина МОНАХОВА

«БЕЛИНСКИЙ БЫЛ ОСОБЕННО ЛЮБИМ...»

Многим памятна некрасовская строчка: «Белинский был особенно любим...» Надо признать, что и сегодня он тоже любим *особенно*. Наверное, никакая персона в истории русской литературы не вызывает столь контрастных оценок и эмоций, как он. Споры о Белинском и в наше время по накалу страстей напоминают порой его же собственные журнальные «баталии» с оппонентами. О его личности и творчестве спорят так, как будто и не проходило с тех пор многих десятилетий.

В этой *особенной* любви к Белинскому можно отметить два аспекта. Во-первых, он воспринимается очень живо и непосредственно, как современное явление. Во-вторых, любовь к нему местами соседствует с ненавистью. «Для меня Белинский не существует!» — категорически заявил мне один профессор филологии из МГУ. Некоторые исследователи в наши дни посвящают целые главы книг и диссертаций тому, чтобы доказать, что Белинский ничего (или почти ничего) хорошего не сделал для русской литературы, в которой к тому же мало что понимал.

Остается только загадкой, как ему удалось, «ничего не понимая» и «ничего не сделав», войти в историю русской литературы в качестве великого критика. И почему то же самое не повторят другие, сколько бы они ни понимали и что бы они ни сделали. Говорят, что это, мол, друзья Белинского превознесли его и сложили о нем легенды. Почему бы в таком случае друзьям и поклонникам других критиков не превознести их и не сложить о них подобные легенды? Ведь Белинский фактически один преодолел скромные границы своего жанра и стал фигурой, сравнимой по масштабу со своими великими современниками: Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым.

Нигилистические настроения в отношении Белинского особенно проявились в последнее время. Ведь «неистовый Виссарион», считавшийся раньше чуть ли не революционером, теперь как бы «вышел из моды», то есть конъюнктура изменилась. Некоторые уж так усиленно стараются соответствовать «духу времени», не найдя для этого лучшего способа, как обливать грязью Белинского. Так и хочется пожелать им наконец получить за свое усердие много разнообразных выгод, много

Ирина Рудольфовна Монахова окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг «Бог и человек: путь навстречу», М., 2000; «Небесное и земное. Статьи о художественном и духовном творчестве Н. В. Гоголя», М., 2009. Автор ряда статей, опубликованных в журналах «Вопросы литературы», «Наш современник», «Москва», «Слово», «Роман-журнал XXI век», «Культура и время», «Юность» и др. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

«серебряников» — за предательство памяти великого человека, деятельность которого стала неотъемлемой частью отечественной культуры.

Вокруг Белинского всё еще бушуют дискуссии, а любители сбросить кого-нибудь «с корабля современности» не устают «в детской резвости» раскачивать корабль русской литературы. Но, отдав дань злободневности и помня о недавнем солидном юбилее, обратимся теперь к нетленному.

* * *

Какова роль Белинского в истории русской литературы? Хотя о его жизни и творчестве написаны многотомные исследования, но для широкого круга читателей Белинский так до сих пор и остается преимущественно автором «письма к Гоголю».

Для того чтобы понять роль Белинского в литературе и общественной жизни, надо представить, на каком этапе находилось развитие русской культуры в целом в то время, когда начиналась деятельность Белинского, то есть во второй четверти XIX века. Россия к тому времени прошла огромный путь исторического развития, русский человек, русское общество — также. Сформировался русский национальный характер. За время исторического развития был накоплен огромный духовный опыт, в котором нашли отражение многие составляющие российской жизни: своеобразие природных условий и исторического пути, быт, религия, внешние влияния и т. д. В народе сформировались гигантские залежи духовного содержания, которое, накапливаясь в течение многих веков, оставалось, по существу, невысказанным, скрытым, подобно полезным ископаемым в земле. Представление русского человека (и общества) о своем месте и своей роли в мире, о самом себе, свой оригинальный, неповторимый взгляд на жизнь и в ее существе, и в разнообразных проявлениях, реакции на вызовы судьбы (исторической — в масштабах всего народа и личной — в масштабах человека), своеобразие устройства общества и взаимоотношений человека и общества — информация обо всем этом в исчерпывающем, избыточном объеме скопилась в исторической памяти, в сознании человека (и общества). Но информация эта была большей частью бесформенной, а значит, толком не освоенной и недоступной самому же ее владельцу.

Вот почему общество, объективно созревшее для самосознания, испытывало повышенную духовную жажду, стремясь освоить, осознать накопленное им же самим духовное содержание. В этом объективная причина возникновения Золотого века русской литературы. Дело не только в том, что именно в то время появились гениальные личности (в частности, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский), но и в том, что они были тогда крайне востребованными. Ведь великая литература не может создаваться в атмосфере всеобщего равнодушия к ней.

В то же время неравнодушие публики возникает именно от желания осознать имеющееся у нее же самой содержание. То есть у писателя в этот момент имеется не только усиленный интерес публики к его творчеству, но и объективно великое поприще, потому что велико неосвоенное, невысказанное духовное содержание, накопленное народом. Как подчеркивал Белинский, «поэт никогда и ничего не выдумывает, но облекает в живые формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое им, что-то *свое* собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопределенно предощущали, или о чем мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не могли найти слово, и что, следовательно, поэт умел только выразить»[1].

Литература стала в России главным путем самосознания и взяла на себя главную роль в том, чтобы показать русскому человеку его же самого и рассказать ему о нем

же самом что-то такое важное, сущностное и в то же время обобщенное, чего он сам сформулировать для себя не в силах. Для этого необходим гений, который сумеет «переплавить», «переродить» каким-то таинственным путем огромную, но бесформенную массу информации в художественные образы, которые тоже по существу представляют собой информацию, но только в особенном виде. Во-первых, в художественном образе ее огромное количество. Во-вторых, она особого качества, потому что художественные образы имеют таинственное свойство оставаться живыми, яркими, свежими, преодолевая века и даже тысячелетия. К тому же они воспринимаются читателями удивительно легко (в отличие, например, от научной информации) и запоминаются надолго. Так художественность (образность) связана с народностью искусства.

Духовная жажда, жажда самопознания русского общества начала XIX века была во многом жаждой великой литературы, которая в дальнейшем и возникла. Ее появление обществом явно предчувствовалось. Белинский в статье «Литературные мечтания», опубликованной в 1834 году, решительно заявил: «У нас нет литературы». Статья эта поразила всех смелостью суждений и «огненностью» стиля. Однако главный лозунг ее («у нас нет литературы») — это в то время была идея, «витающая в воздухе». Просто именно Белинский выразил ее наиболее четко, ярко, основательно. Хотя в этой статье он пишет и о Пушкине, и о многих выдающихся писателях: Ломоносове, Державине, Тредиаковском, Сумарокове, Карамзине, Жуковском, Грибоедове. Но тем не менее делает вывод, что «у нас нет литературы». Что имелось в виду? Литература еще не приобрела тот масштаб, который соответствовал бы ее потенциальным возможностям как выразительницы духа народа. Белинский писал о существенном разделении между *народом* (массой народа) и *обществом* (избранным кругом людей, более или менее просвещенных и свободных). Самой существенной характеристикой литературы Белинский считал народность: «Что такое наша литература: выражение общества или выражение духа народного? Решение этого вопроса будет историею нашей литературы и вместе историею постепенного хода нашего общества со времен Петра Великого»[2].

Народностью он считал верность жизни: «Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни *верно*, то и *народно*»[3] (это уже из статьи «О русской повести и повестях Гоголя»). А верность жизни, способная передать дух народа, — «необходимое условие истинно художественного произведения»[4]. Это уже поэзия новой эпохи — «поэзия *реальная*, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени»[5]. Таким образом, художественность и народность тесно взаимосвязаны. И вывод Белинского «у нас нет литературы» связан и с тем, что литература не стала пока выразительницей народного духа, и с тем, что в ней было слишком мало истинных художников: «У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то есть таких людей, для которых писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются вне искусства»[6]. Впрочем, вывод Белинского в итоге весьма оптимистичен: «У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов»[7].

Белинский не просто логическим путем пришел к своим выводам. Здесь было явное предчувствие дальнейших (вслед за Пушкиным) вершин художественного творчества и явное ощущение назревшей в обществе потребности в великой литературе как в выразительнице духа народа, как в главном пути к самопознанию. Неудивительно, что на современников «Литературные мечтания» произвели впечатление налетевшей бури — стихийного, грозного и в то же время радостного события, по-

добного весенней грозе. Дело тут не только в «огненном» стиле статьи. Белинский сумел почувствовать и убедительно передать очень важную для общества в тот момент идею, и читающая публика увидела в его словах выражение в какой-то степени своих заветных мыслей и предчувствий, которые так ярко выразить и даже просто сформулировать так четко не могла.

Таким образом, появление будущего великого критика в литературе произошло очень вовремя: для него существовало огромное поприще. Великая литература не может создаваться в «безвоздушном» пространстве — без понимания и усиленного внимания к ней публики, без той «духовной жажды», которая заставляет человека искать ответы на «вечные» вопросы. Но если «духовная жажда» — явление большей частью стихийное, безотчетное и возникает тогда, когда наступает время подняться на новую ступень духовного развития и самосознания, то с пониманием сложнее. Отчасти оно тоже «стихийно», «естественно», если встречается с истинным искусством. Но здесь не всё так просто. Если уж Лев Толстой, читая Белинского, признался в своем дневнике в 1857 году: «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина»[8], то что говорить о многих других читателях! Да, они поняли бы в какой-то степени Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других писателей того времени и без критики, но в какой степени? Что они увидели бы в этих произведениях? Например, книги молодого Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород») имели громкий успех, но что же прежде всего увидела в них публика? Комизм, причудливые сюжеты, малороссийскую экзотику. Некоторые критики называли его творения «сальными», «грязными» из-за их простонародного колорита. В общем и целом к Гоголю тогда относились несерьезно из-за того, что не видели за первым поверхностным впечатлением высокой поэзии. Таким образом, понимание публикой гоголевских произведений было (ведь они пользовались успехом) и его не было. Только Белинский увидел в его «побасенках» новую, «реальную» поэзию, «поэзию жизни действительной», а в самом Гоголе — истинного поэта, «главу литературы, главу поэтов». И в дальнейшем он отстаивал новую, реалистическую эстетику, прежде всего, в своей многолетней «борьбе за Гоголя».

Столь же важным, основополагающим делом всей жизни Белинского была борьба за художественность литературы, за высокое искусство, истинную поэзию. Один из главных тезисов, высказанных Белинским: «Искусство есть мышление в образах», стал в дальнейшем основой для понимания всей русской публикой не только классики XIX века, но и русской литературы в целом. Истинно поэтическое произведение не выдумывается автором, а создается по вдохновению, дарованному свыше. Оно рождается, как росток из зерна, и поэт тут является почвой. Поэтому образ и живет как бы своей жизнью и воспринимается как живой, — потому что он «рожден». Белинский противопоставлял такие сотворенные по вдохновению, «рожденные» произведения «сделанным», «смастеренным». Художественную литературу он отделял от риторической, то есть лишенной живой, образной основы и не имеющей отношения к искусству. Главным критерием при оценке произведения для Белинского была его художественность, и величие художника связывалось с присутствием в его творчестве истинной поэзии. (Кстати, эти «азы» нелишне было бы почаще вспоминать и сегодня в применении к современной литературе.)

Таким образом, деятельность Белинского была совершенно необходима и весьма своевременна: он создал в России основу для восприятия созидающейся тогда и грядущей великой русской литературы, расцвет которой во многом был связан с новой, «реальной» поэзией. Начало и основа высших достижений русской литературы — это пушкинское, гоголевское творчество. Начало и основа ее понимания, освоения обществом — это творчество Белинского. Поскольку, как уже говорилось,

великая литература без понимания ее обществом, не будучи необходимой ему, не может существовать, то Белинский фактически был сотворцом того высочайшего явления в отечественной культуре, которое называют теперь Золотым веком русской литературы.

Для того чтобы осуществить эту миссию, критику было недостаточно быть тонким ценителем искусства. Надо было быть еще и трибуном, надо было завладеть вниманием публики так, чтобы критическое слово стало таким же насущным, как и художественное. Надо было фактически из критики сделать общественную деятельность, неравнодушную не только к литературе, но и к жизни. Всё это было в критике Белинского, которая, конечно, далеко превзошла обычные масштабы этого жанра. Благодаря этому критика Белинского воспитывала целые поколения — и читателей, достойных великой литературы, и людей, готовых, подобно ему, жить честно, бесстрашно. Есть немало свидетельств об ошеломляющем впечатлении современников от статей Белинского, об их огромном влиянии на читателей. Наверное, сегодняшнему человеку даже трудно представить себе, чтобы литературная критика могла бы стать событием общественной жизни такого масштаба.

Вот что писал о 1840-х годах музыкальный и художественный критик В. В. Стасов: «Белинский же был — решительно нашим настоящим воспитателем. Никакие классы, курсы, писания сочинений, экзамены и все прочее не сделали столько для нашего образования и развития, как один Белинский, со своими ежемесячными статьями. Мы в этом не различались от остальной России того времени. Громадное значение Белинского относилось, конечно, никак не до одной литературной части: он прочищал всем нам глаза, он воспитывал характеры, он рубил рукою силача патриархальные предрассудки, которыми жила сплошь до него вся Россия, он издали приготавливал то здоровое и могучее интеллектуальное движение, которое окрепло и поднялось четверть века позже. Мы все — прямые его воспитанники»[9].

Провинциальный актер А. П. Толченов вспоминал: «Какое торжество бывало, когда учитель словесности, довольный учениками, приносит книжку “Отечественных записок” со статьей Белинского! Как береглась эта книжка! Сколько раз перечитывалась!.. Какую энергию и жажду к труду возбуждали рассказы о труженической, почти мученической жизни Белинского... Его неутомимая деятельность, несмотря на всевозможные препятствия, его твердость в перенесении различных невзгод, преследований и физических болезней, его страстная, гуманная, нежная душа, сквозившая в статьях, имели чарующее влияние на молодые, восприимчивые сердца... Это влияние на многих осталось на всю жизнь... Многих знаю я, которые до сих пор, уже потертые, помятые жизнью, без умиления не могут произнести имени Белинского и продолжают честно трудиться во имя его...»[10]

И. С. Аксаков свидетельствовал: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, который бы не знал наизусть письма Белинского к Гоголю. <. . .> “Мы Белинскому обязаны своим спасением”, — говорят мне везде молодые *честные* люди в провинциях. <...> И если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, — ищите таковых в провинции между последователями Белинского»[11].

Другого примера подобного масштаба литературно-критического творчества ни в русской литературе, ни в мировой не существует. О масштабе его деятельности И. С. Тургенев сказал: «Белинский любил Россию; но он также пламенно любил про-

свещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился»[12].

Уникальность деятельности Белинского еще и в том, что он был способен не только оценивать литературные произведения, но и оказывать влияние на развитие самой литературы, на ее облик. Уже говорилось о том, что критика Белинского много значила для понимания публикой произведений Гоголя. По замечанию И. А. Гончарова, «и Гоголь не был бы в глазах большинства той колоссальной фигурой, в какую он, освещенный критикой Белинского, сразу стал перед публикой»[13].

Но дело не только в том, что Белинский открыл для публики сущность гоголевского творчества («реальная поэзия») и самого Гоголя как истинного, великого поэта. Дело еще и в том, какое значение это имело для творческой судьбы самого Гоголя, а значит, и для развития русской литературы в целом. Ведь Гоголь с большим вниманием относился к мнениям читателей и критиков. Например, когда его первая книга «Ганц Кюхельгартен» получила отрицательный отзыв критики, он не только сжег почти весь тираж ее, но и отказался в дальнейшем писать в том же духе. Его последующие произведения были совершенно иными.

П. В. Анненков вспоминал об участии Белинского в творческой судьбе Гоголя: «Одною из <...> далеко озаряющих вспышек была статья Белинского “О русской повести и повестях Гоголя”, написанная вслед за выходом в свет двух книжек Гоголя: “Миргород” и “Арабески” (1835 год). Она и уполномочивает нас сказать, что настоящим восприемником Гоголя в русской литературе, давшим ему имя, был Белинский. Статья эта вдобавок пришлась очень кстати. Она подоспела к тому горькому времени для Гоголя, когда, вследствие претензии своей на профессорство и на ученость по вдохновению, он осужден был выносить самые злостные и ядовитые нападки не только на свою авторскую деятельность, но и на личный характер свой. Я близко знал Гоголя в это время и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться. <...> Руку помощи в смысле возбуждения его упавшего духа протянул ему тогда никем не прошенный, никем неожиданный и совершенно ему неизвестный Белинский, явившийся с упомянутой статьей в “Телескопе” 1835 года. И с какой статьей! Он не давал в ней советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты на основании ее сомнительной верности или необходимости для произведения, не одобрял другой, как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и на достоинстве его миросозерцания, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего великого писателя. Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он <...> был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени. <...> Решительное и восторженное слово было сказано, и сказано не наобум. Для поддержания, оправдания и укоренения его в общественном сознании Белинский издержал много энергии, таланта, ума, переломал много копий»[14].

Был бы дальнейший творческий путь Гоголя таким, каким он стал на самом деле, если бы в начале этого пути, в решительный, переломный момент, Белинский не поддержал в Гоголе «поэта жизни действительной»? И вслед за этим — было бы таким, как оно стало, дальнейшее развитие всей русской литературы, в котором творчество Гоголя — «отца натуральной школы» — сыграло решающую роль? Ведь никакой предопределенности, заданности не было, никто не гарантировал, что в России XIX века возникнет великая литература. Она создавалась общими усилиями, и не

только великих художников. Фактически Белинский был их сотворцом в ее создании.

Столь же решающее значение имела поддержка Белинского и для творческой судьбы Достоевского. Так же как и в случае с Гоголем, это была не только проницательная критическая оценка его сочинений и не только предвидение будущей великой судьбы, но и влияние на эту судьбу. Трудно рационально объяснить, подробно проанализировать, чем же была, в сущности, знаменитая встреча никому еще не известного литератора Достоевского с Белинским. Чем она была в судьбе Достоевского и в судьбе русской литературы? Если сказать, что это была беседа в восторженных тонах, благословение на новые творческие подвиги, данное самым авторитетным критиком начинающему писателю, — это еще ничего не сказать.

При первой встрече с Достоевским Белинский «передал ему вполне свой энтузиазм»[15], — писал свидетель этой встречи И. И. Панаев.

Но лучше всего, конечно, рассказал о сущности и значении этого события сам Достоевский, вспоминая о нем в конце жизни, в 1877 году, в «Дневнике писателя» о своей встрече с Белинским: «Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. <...> Я это всё думал, припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом»[16].

То, что одной «минуты блаженства» может быть достаточно «на всю жизнь человеческую», — это Достоевский в своем творчестве очень ярко показал. Но здесь-то речь идет не только о счастье, не только о восхищении: судьба великого писателя в какой-то степени была выстроена этой «самой восхитительной минутой» — судьба, составляющая, в свою очередь, часть русской культуры.

Да, такой вклад Белинского в развитие отечественной литературы трудно рационально объяснить. Это не содержится в собрании его сочинений. Это «растворилось» в самой литературе и стало ею. То же самое и с пониманием русской классики XIX века многочисленными поколениями читателей. Здесь он присутствует с тех пор, как писал об этом, до сегодняшнего дня и, наверное, будет присутствовать столько, сколько будет существовать сама эта классика. Публикации Белинского оказывали огромное влияние и на мировоззрение читателей вообще, и в частности на их литературные взгляды. А. И. Герцен писал: «Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли “Отечественные записки”; тяжелый номер рвали из рук в руки. “Есть Белинского статья?” — “Есть”, — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало»[17], «На его статьях воспитывалась вся учащаяся молодежь. Он образовал эстетический вкус публики, он придал силу мысли»[18].

Но самое интересное, что понятия Белинского о литературе так прочно усваивались публикой, что вскоре уже считались общепринятыми и само собой разумеющимися — настолько, что их источник уже порой и не помнился, как будто они сами по себе возникли в умах читателей. О его ранних статьях И. С. Тургенев заметил: «Мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми принятым, общим местом <...> Под *этот* приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей»[19]. И всё это происхо-

дило в столь широком масштабе, что удивляло даже самого Белинского. «Не знаю, что будет вперед, а пока я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось», — писал он в 1846 году А. И. Герцену.

Конечно, читающая публика — это во времена Белинского был еще далеко не весь народ. Но через несколько десятилетий эти общепринятые взгляды от узкого круга просвещенной публики с наступлением всеобщей грамотности и при довольно почтительном отношении к классике в советский период перешли к самому массовому читателю. Так что мы, сами того зачастую не подозревая, видим классику отечественной литературы во многом глазами Белинского, включая даже и тех, кто «кое-где у нас порой» пытается сбросить великого критика с «корабля современности». Эта затея, будоражащая воображение некоторых, совершенно неосуществима еще и потому, что Белинский — это не только его собрание сочинений (статей и писем). Белинский — то в какой-то степени и сама литература ее Золотого века, и наш собственный взгляд на нее. Символично, что в творчестве Белинского неразрывно соединились взгляд на литературу и взгляд на окружающую действительность, борьба за высокое искусство и за более цивилизованную жизнь. По-видимому, в столь литературоцентричной стране, как Россия, иначе и быть не могло.

Но и это еще не всё. Не только Белинский — критик, теоретик литературы, философ, публицист, трибун остался в истории русской культуры, но и Белинский — человек: необыкновенно искренний, «неистовый» в своем поиске и отстаивании истины, в своем неравнодушии ко всему, — словом, «отец русской интеллигенции». Обращая на это внимание, В. Г. Короленко подчеркнул: «Кроме той массы идей, которые он в течение своей недолгой карьеры пустил в обращение, которыми мы и за нами наши дети будут пользоваться, не всегда даже связывая их с первоисточником, — кроме стольких-то печатных томов и страниц, Белинский завещал нам еще цельный, живой образ, который останется навсегда, наряду с лучшими созданиями гениальнейших поэтов. Этот образ — он сам, с его страстною жаждой истины, с его исканиями и искренностью. <...> Это был истинный рыцарь духа, без страха и упрека, и русская литература всегда с гордостью будет обращать на него взгляды, как на своего подвижника и святого! И это — быть может, самая бессмертная доля того, что нам осталось от Белинского»[20].

* * *

Говоря о Белинском, наверное, не обойти самое «громкое» событие его жизни и сочинение, имеющее самую громкую известность, — его «зальцбруннское» письмо к Гоголю 1847 года по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» и весь тот общественный резонанс, который вызвали оба эти произведения. Традиционно многие десятилетия конфликтность этой ситуации подчеркивалась и преувеличивалась. Впрочем, для самих Гоголя и Белинского и их современников громкость этого конфликта была вполне закономерна и объяснима. И для Белинского, и вообще для всей читающей публики Гоголь был исключительно художником. Никто, кроме самых близких ему людей, не знал о его религиозных устремлениях, его духовном пути. Это нам сейчас вполне доступны многие материалы, рассказывающие о внутреннем мире Гоголя, — письма, «Авторская исповедь», «Размышления о Божественной Литургии». И мы легко можем по этим материалам увидеть Гоголя-христианина. Для современников Гоголя (за редким исключением) всё это было неизвестно, поэтому появление «Выбранных мест» было для них как «гром среди ясного неба». Поэтому и письмо Белинского стало столь громоподобным. Другое обстоятельство,

послужившее этому, заключается в том, что и Гоголь и Белинский слишком увлекались каждый своей идеей. «Как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком *разбросались*»[21], — примирительно замечал Гоголь в письме Белинскому. И это усиленное сосредоточение каждого на своей идее вполне понятно и закономерно.

Но с тех пор прошли многие десятилетия. И дело не только в том, что нам теперь известно множество материалов, рассказывающих о жизни как Гоголя, так и Белинского. Пройден с тех пор большой исторический путь, который вполне убедительно показал, что взгляды Белинского и Гоголя (проведение социально-политических реформ и духовно-нравственное преобразование человека и общества) — это две неотъемлемые части целого, то есть развития общества. Без каждой из этих частей полноценное, эффективное развитие невозможно. Не конфликт, а синтез этих направлений должен быть: совершенно необходимо и одно, и другое.

При этом до сих пор многие читатели не видят в диалоге Гоголя и Белинского ничего, кроме конфликта. До сих пор, как и во время оно, некоторые исследователи как бы с позиции стороннего наблюдателя, некоего судии раздают оценки — кто сегодня «победил», кто «проиграл». Раньше «проигравшим» считался Гоголь, «победившим» — Белинский. Сегодня иногда и Белинский уже числится в «проигравших», а Гоголь — в «победивших». Как будто речь идет не об историческом диалоге двух великих людей, а о какой-то игре, например, между футбольными командами. Конфликтность этого события преувеличивается, а сущность их произведений при этом отодвигается на второй план.

Для современников Гоголя и Белинского и, конечно, для них самих как генераторов своих идей такой подход понятен и «простителен», но не для сегодняшнего читателя, который в данной ситуации вовсе не является неким отстраненным «судией» спора классиков между собой. Его роль здесь гораздо скромнее — воспринять, по возможности, идеи Гоголя и Белинского, увидеть в них «рациональное зерно» и применить их к сегодняшней жизни. Кстати, при этом обнаружится, что в их «конфликтных» сочинениях гораздо больше сходства, чем различия. И то и другое представляет собой, по существу, проповедь гуманизма, но только Гоголь здесь выступает с христианских позиций, предлагая усовершенствовать российскую действительность путем духовно-нравственного роста каждого человека, а Белинский — с просветительских, считая самым важным просвещение народа и проведение социально-политических реформ.

Сегодняшнему читателю, особенно учитывая весь исторический опыт, произошедший со времен Гоголя и Белинского, должно было бы быть вполне понятно, что идеи, которые отстаивал каждый из них, вовсе не противоположны и не взаимоисключающи, а взаимодополняющи: это разные пути, ведущие к одной цели. Можно сколько угодно рассуждать о разнице во мнениях Гоголя и Белинского о путях развития России, но действенным может быть только сочетание их — сочетание внутреннего совершенствования и внешних преобразований.

То, что Гоголь и Белинский оказались, по-видимому, самыми неравнодушными людьми своего времени, которые с тревогой и болью задумывались о настоящем и будущем России, — это тоже сближает, а не отдаляет их точки зрения. Показательно, что оба они в конце жизни оказались в опале за свои проповедническо-публицистические сочинения. Белинского только смерть спасла от преследований. О том, что грозило ему самому, можно догадаться по судьбе петрашевцев, в том числе Достоевского, отправленных на каторгу за чтение его письма к Гоголю. Сам же Гоголь, на которого и так уже ополчилась практически вся читающая публика, впал в немилость и у властей, по-видимому, за то, что осмелился всему обществу указать на то, что живет оно далеко не по-христиански, и преподать всем свои советы как жить, в

том числе и царю. Даже после смерти Гоголя, даже в некрологе его имя запрещалось упоминать в печати. Как известно, И. С. Тургенев, нарушивший этот запрет и опубликовавший некролог Гоголю, был за это арестован и наказан ссылкой в свое имение Спасское-Лутовиново.

Сущность обоих произведений («Выбранных мест» и письма Белинского к Гоголю) — страстная проповедь гуманизма, предназначенная не столько для того, чтобы ее оценивали, сколько для того, чтобы к ней прислушались все, кто думает и сегодня, и в любую другую эпоху о том же самом, о чем в свое время думали Гоголь и Белинский, — о путях развития России. В то же время это был своего рода гражданский подвиг их обоих — во всеуслышание сказать о самых важных изъянах, язвах общества, чувствуя, какую опасность таит в себе их бесконечное замалчивание и ничегонеделание для их преодоления.

Примечания

[1] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 6. М., 1981. С. 256.
[2] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 61.
[3] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 172.
[4] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 172.
[5] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 145.
[6] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 124.
[7] В. Г. Белинский. Собр. соч. Т. 1. М., 1976. С. 125.
[8] Л. Н. Толстой. Собрание сочинений. М., 1985. Т. 21. С. 179.
[9] В. В. Стасов. <Гоголь в восприятии русской молодежи 30–40-х гг.> // Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 401.
[10] А. П. Толченов. Гоголь в Одессе. 1850–1851 гг. Из воспоминаний провинциального актера// Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 426.
[11] И. С. Аксаков. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 457.
[12] И. С. Тургенев. Собр. соч. М., 1979. Т. 11. С. 270–271.
[13] И. А. Гончаров. Очерки. Статьи. Письма. Воспоминания современников. М., 1986. С. 279.
[14] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М. 1983. С. 160–162.
[15] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 249.
[16] Ф. М. Достоевский. Собр. соч. М., 2004. Т. 9, кн. 2. С. 34.
[17] А. И. Герцен. Сочинения. Т. 2. М., 1988. С. 24.
[18] А. И. Герцен. Письма издалека. М., 1984. С. 175.
[19] И. С. Тургенев. Собр. соч. М., 1979. Т. 11. С. 254.
[20] В. Г. Короленко. Собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 8–10.
[21] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. Т. XIII. М., 1952. С. 361.

Эпоха и образы

Андрей АСТВАЦАТУРОВ

ШЕРВУД АНДЕРСОН

Несколько лет назад я впервые озаботился написать лекцию о Шервуде Андерсоне. Что я о нем знал тогда? Очень немного. Наверное, то же, что и все. Что он автор значительный. Так утверждали толстые справочники и энциклопедии. Классик американской литературы, стоявший у истоков модернизма. Его текстами вдохновлялись Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Генри Миллер. А великий американский поэт Харт Крейн даже заявил, что книгу Андерсона «Уайнсбург, Огайо» нужно читать «стоя на коленях».

Крейн был прав тысячу раз. Но тогда я этого не понимал. И следовать его совету уж точно не собирался. Но тем не менее к освоению текстов Андерсона решил подойти со свойственной всем занудам академической обстоятельностью. Я отправился в библиотеку и заказал все книги и статьи, посвященные Андерсону. Их, кстати, оказалось, не так уж и мало. Целых две недели я только и делал, что читал и старательно конспектировал чужие идеи. А затем, уже уединившись дома, приступил к работе над своей лекцией. И тут я вдруг поймал себя на мысли, что вместо того, чтобы начать разбирать тексты Шервуда Андерсона как полагается, я хочу сочинить свой собственный литературный манифест.

Вообще-то профессиональные филологи редко придают значение своей читательской реакции и стараются изо всех сил сохранить беспристрастность аналитиков. Иначе науки никакой не получится. Но они забывают один важный момент — непосредственная реакция на текст, будь то смех, скука, узнавание в герое самого себя, возможно, важная и едва ли не самая главная часть писательского замысла. И, наверное, было бы не таким уж глупым занятием над ней как следует поразмыслить.

Почему мне захотелось написать свой собственный литературный манифест? Мало ли что кому захотелось... Так ли уж это важно? Значит, все-таки важно, раз в других случаях, когда я открывал книги, мне ничего подобного не хотелось.

Шервуд Андерсон, по-видимому, заставляет меня приобщиться к истокам всякого творчества. Он открывает и делает зримой и тянущейся саму стадию пробуждения художественного сознания. Момент, когда образ едва только выкристаллизо-

---

Андрей Алексеевич Аствацатуров родился в 1969 году в Ленинграде. Российский филолог и писатель. Доцент кафедры Истории зарубежных литератур и руководитель программы «Литература» в Смольном институте свободных искусств и наук. Лауреат ежегодной петербургской премии «Топ-50» (2010), лауреат премии «За преподавательское мастерство» (2008). Автор около 100 научных статей, посвященных проблемам английской и американской литературы XIX—XX вв. Автор многочисленных предисловий, комментариев к изданиям англоязычной классики на русском языке (О. Уайльд, В. Вулф, Г. Миллер, Дж. Сэлинджер, К. Воннегут, Дж. Чивер, Дж. Апдайк).

вался из смутной фантазии. Когда речь еще не вполне сформировалась и не преодолела стадии какого-то священного косноязычия. Когда вместо сюжета в голове еще только скрюченный зародыш действия, а в персонажах еще не проснулась душа. Это — литература, которая делает вид, что не знает обязательств жанра и правил игры. Она не пользуется готовыми приемами, а мучительно пытается сформулировать свои собственные, вернуться к началу творчества.

Андерсон сам говорил, что писатель должен уподобиться евангелисту. То есть должен создавать литературу с чистого листа, не оглядываясь на вековую мудрость, новым способом передавать нарождающуюся новую жизнь своей земли. В случае Андерсона такой землей был Средний Запад Соединенных Штатов, а новой жизнью — индустриальный мир с его законами, пришедший на смену патриархально-пасторальному.

Шервуд Андерсон (1876–1941) родился в небольшом городке Камден, штат Огайо, в семье небогатого ремесленника. С детства был вынужден зарабатывать на жизнь и систематического образования не получил. Сменил множество профессий: работал рассыльным, разносчиком газет, рекламным агентом. В 1898 году отправился добровольцем на американо-испанскую войну, но в боевых действиях участия не принимал. С 1900 года Андерсон работает преимущественно в рекламном бизнесе и постепенно превращается в среднестатистического преуспевающего джентльмена. Впрочем, и реклама, и бизнес, эти две неотменимые составляющие успеха по-американски, довольно скоро начинают его утомлять своей безликостью, рутиной, однообразием. И Андерсон обращается к литературному творчеству, надеясь с его помощью соприкоснуться внутри себя с подлинным биением жизни.

Писать и публиковаться он начинает относительно поздно, в Чикаго, куда, пережив нервный срыв, перебирается в 1912 году. Творчество Андерсон совмещает с бизнесом: днем работает, а по ночам сочиняет. Знакомится с известными чикагскими писателями. Его первые рассказы и очерки появляются в литературных журналах 1914 года, а в 1916 году выходит его первый роман «Сын Уинди Макферсона». Спустя год, Андерсон опубликует свой второй роман «В ногу!», а в 1920-м — роман «Белый бедняк». Однако подлинную славу Андерсону приносят его сборники новелл «Уайнсбург, Огайо» (1919), «Триумф яйца» (1921), «Кони и люди» (1923). Он получает признание как писатель, становится модной фигурой в литературных кругах. В 1921 году журнал «Dial» присуждает Андерсону престижную премию. В 1920-е и в 1930-е Андерсон продолжает напряженно работать: он публикует романы, мемуары, автобиографическую прозу, выступает с публичными лекциями, принимает активное участие в общественной жизни. Литераторы нового поколения видят в нем мэтра, учителя, живую легенду. Но настоящий успех Андерсона уже в прошлом: из всех написанных им книг «Уайнсбург, Огайо» так и осталась непревзойденной, единственно по-настоящему вдохновенной, мощной, сделавшей Андерсона классиком мировой литературы.

Итак, **«Уайнсбург, Огайо»**...

Признаюсь, мне трудно определить жанр этой книги. Хотя на первый взгляд все вроде бы нехитро: сборник рассказов, объединенный общим местом действия — городок Уайнсбург и общим героем — молодой репортер Джордж Уиллард. Но есть еще один момент, не позволяющий мне отделаться словами «сборник рассказов». Это — история города, сводящая мир Андерсона в единое целое, фон, на котором разворачиваются отдельные события. Самое интересное, что она скрыта от нас, не рассказана, превращена в смутный миф. Но тем не менее ее присутствие странно ощущается в каждом событии. Судьбы персонажей, их слова, их поступки — всегда отголоски, какие внешние иллюстрации этой общей невидимой истории. Шервуд

Андерсон постоянно дает нам понять, что в его мире всё закономерно, взаимообусловлено и, главное, реально. За частным и единичным стоит некая общая панорама, которую нельзя увидеть, но можно почувствовать. Такой прием сокрытия общей панорамы вслед за Андерсоном будут использовать Фолкнер, Хемингуэй и Сэлинджер. Именно этот эффект присутствия общей истории, пусть даже скрытой, в которой укоренен каждый рассказ, и не дает нам права называть «Уайнсбург, Огайо» просто «сборником». Перед нам скорее попытка написать современный эпос (эпос Среднего Запада) в новом жанре — жанре романа-сборки, романа в новеллах, где нет единого сюжета, но зато есть общий едва ли рассказанный миф.

В этом эссе я не буду останавливаться на всех рассказах сборника «Уайнсбург, Огайо». Я попробую разобраться лишь с одним и на его примере показать некоторые особенности мастерства Шервуда Андерсона.

«Руки» — один из самых сильных фрагментов этого романа в новеллах. Перед нами история Адольфа Майерса, бывшего школьного учителя. Он был обвинен родителями своих учеников а развратных намерениях, опозорен и изгнан. Вот уже много лет он живет в Уайнсбурге под чужим именем (Уинг Бидлбом), об учительстве не помышляет и зарабатывает на хлеб поденной работой. В начале рассказа этот запуганный, преждевременно состарившийся человечек ходит по веранде своего дома, поджидая молодого репортера Джорджа Уилларда, единственного обитателя Уайнсбурга, с кем он решается говорить и кому он готов излить душу. Уиллард не придет, и разговор не состоится. Но зато нам обстоятельно расскажут о выразительных руках главного героя.

Этим, собственно, и исчерпывается содержание новеллы. В ней на первый взгляд как будто бы ничего не происходит. Маленькая трагедия маленького человека... Рассказанная как-то коряво, нарочито неумело, почти по-детски.

Почему именно так? Что американцы еще не научились писать рассказы? Глупости... Научились, и еще как. Вспомним Эдгара По, или Брет-Гарта, или О'Генри, ближайшего предшественника Андерсона. Все они были великолепными рассказчиками, не хуже европейцев, и оставили после себя блестящие, мастерски выстроенные новеллы, которые Андерсон уж наверняка читал. Значит, он сознательно искажал традицию. Сознательно писал свои тексты вопреки правилам, открывая в старом добром жанре новые, невиданные возможности. И это сработало. Причем так эффектно, что тексты Андерсона выглядят молодыми и новаторскими даже сейчас, спустя почти сто лет.

Когда мы открываем рассказ «Руки» или любой другой рассказ из сборника «Уайнсбург, Огайо», то сразу обращаем внимание, что материал, то есть фабульный материал, распределен как-то очень уж непривычно. Рассказчик начинает говорить на одну тему, недоговорив, бросает ее, чтобы тут же схватиться за вторую и, едва приступив к ней, бросить ее уже ради третьей, а затем преспокойно вернуться к первой. Впрочем, если чуть внимательнее присмотреться, мы увидим, что рассказ разбит на отдельные, неразвитые истории, каждая из которых организована вокруг какого-нибудь, казалось бы, незначительного предмета, или внешней черты персонажа, или жеста. Вообще-то обычно в профессиональной художественной прозе все бывает с точностью наоборот. Там предмет, деталь подчиняется сюжету, встраивается в его движение. Сюжетная линия, движение событий задает вещи определенную роль, наделяет ее единственным возможным смыслом, отводит ей точное место в цепи причин и следствий.

Шервуд Андерсон этим правилом демонстративно пренебрегает. Предмет в его тексте не встраивается в контекст, не умирает под гнетом сюжетной линии. Напротив, он как будто бы только рождается на глазах у читателя, обретает материаль-

ность, плотность и сам создает вокруг себя разные силовые поля, смыслы и сюжеты. Вот, например, рассказчик начинает говорить о том, как Уинг Бидлбом обычно ораторствовал, и неожиданно упоминает о его руках: «*Встрепенувшись, как рыбка, брошенная рыбаком обратно в пруд, он, вечно молчаливый, начинал без умолку говорить, стремясь выразить словами мысли, скопившиеся в его мозгу за долгие годы отчаяния.*

Многое Уинг Бидлбом говорил с помощью рук. Тонкие выразительные пальцы, всегда деятельные, всегда стремившиеся скрыться в кармане или за спиной, выходили на сцену и становились как бы шатунами в сложном механизме его речи.

Рассказ о Уинге Бидлбоме — это рассказ о его руках».

В повествовании возникает новая линия, которая станет теперь главной. Ее источником будет новая деталь — руки.

Важно, что каждая такая деталь выглядит у Андерсона первозданной, предельно материальной, объемной. Рассказчик наделен потрясающей способностью смотреть на привычный предмет как на незнакомый. Не узнавать его. Точнее, воспринимать его не так, как его учили этот предмет воспринимать. Рассказчик как будто останавливает в себе культуру, всегда торопящуюся предложить готовую истину. Его взгляд не различает в вещи ее функцию, ее назначение. Он направлен на ее поверхность, на материальную оболочку, которая несет в себе мощный заряд энергии и новые скрытые смыслы.

Такого типа творческое сознание, затерявшееся среди вещей, пробуждающее их и пробуждающееся вместе с ними, можно уподобить сознанию ребенка, создающего из ничего свой собственный яркий мир. Или сознанию пророка...

В самом деле. Рассказчик у Андерсона нарочито наивен, как ребенок, и столь же мудр, как пророк. Ребенок еще не пережил грехопадения, еще не искусился рассудком и не готов вместо предмета видеть схему. В его голове пока не сложилась целостная система, твердое понимание пропорций, понимание того, какое место предметы занимают относительно друг друга. Он рисует картинку, и какие-то вещи, большие, громоздкие, показавшиеся ему неважными, скукоживаются на этой картинке или вообще исчезают. Зато другие, маленькие по размеру, но важные лично для него, неожиданно укрупняются, вырастают, заслоняя собой все остальное. Подобное искажение пропорций возникает в рассказах Андерсона постоянно. Деталь, которую подмечает его рассказчик, часто норовит разрастись до вселенских масштабов, как, например, руки Уинга Бидлбома или руки доктора Рифи за рассказа «Шарики из бумаги»: «*Целую книгу можно было бы написать о руках Уинга Бидлбома. В Уайнсбурге руки Уинга Бидлбома привлекли к себе внимание лишь благодаря их подвижности. Ими Бидлбом собирал в день сто сорок кварт земляники. После этого руки стали его отличительной чертой, принесли ему славу. Кроме того, они придавали загадочной, причудливой личности Уинга ореол еще большей причудливости. Уайнсбург стал гордиться руками Уинга Бидлбома точно так же, как гордился новым каменным домом банкира Уайта или Тони Типом, гнедым жеребцом Уэсли Мойера, победителем на осенних скачках (дистанция в две и пятнидцать сотых мили) в Кливленде*» («Руки»).

«*Руки доктора Рифи были непомерно велики. Когда они были сжаты, суставы пальцев казались некрашеными деревянными шариками величиной с грецкий орех, насаженными на стальные стержни*» («Шарики из бумаги»).

Сознание пророка тоже причастно вещам. Оно чувствует их исток и прозревает в них скрытый священный смысл. В рассказах Андерсона предметы или жесты, обычно освобожденные от привычного, навязываемого им значения, рождают новые, потаенные смыслы, которыми они на самом деле изначально обладают. В финале рассказа «Руки» герой подбирает с пола крошки, и суетливые, казалось бы, жалкие

движения его рук наделяются неожиданным смыслом, уподобляясь священнодействию: «*Руки его действовали с непостижимой быстротой. В ярком кругу света под столом коленопреклоненная фигура казалась фигурой священнослужителя, совершавшего какое-то таинство. Нервные, выразительные пальцы, быстро мелькавшие над освещенным полом, напоминали пальцы отшельника, торопливо перебирающего четки*».

Рассказчик у Андерсона, не искушенный мудростью и удивляющийся простым вещам, косноязычен. Его речь удивительно лаконична, скупа на всякие стилистические эффекты и едва ли литературна. Она словно готова в любой момент превратиться в первозданный лепет ребенка, раствориться среди предметов. Она выглядит удивительно пластичной, материально-упругой, словно рассказчик говорит не словами, а вещами. Этот эффект в рассказе «Руки» оказывается не только методом, но и ключевой темой. Уинг Бидлбом, ведя беседу, всегда энергично жестикулирует: «*Беседуя с Джорджем Уиллардом, Уинг Бидлбом сжимал кулаки и стучал ими по столу или по стенам своего жилища. Это успокаивало его. Если желание излить свою душу появлялось у него, когда они вдвоем бродили по полям, он выискивал пень или ограду и, барабаня по ним рукой, выражал свои мысли полнее и более непринужденно*». Жест здесь не просто дополняет слово. Он фактически с ним совпадает. Повседневное, поверхностное слово, произнесенное просто так, всегда лживо. Оно лишь отсылает к реальности, искажая ее облик. Жест уже сам по себе реален. Он открывает жизнь во всем ее многообразии. Именно поэтому жест необходим в подлинном общении, которое у персонажей Андерсона происходит по ту сторону слов. Только жест способен передать истину. Только телесный контакт заключает в себе настоящее общение. К такому контакту, к атлетическому братству с другими людьми, и стремится Уинг Бидлбом. Открывая своим собеседникам самое сокровенное, он прикасается к ним, и речь, обретая мощь и силу, дополняется братским. Почти эротизированным жестом: «*Голос наставника становился мягче и певучее, в нем тоже слышалась ласка. Мягкость и нежность голоса, ласка рук, касавшихся плеч и волос детей, — все это способствовало тому, чтобы вселять мечты в молодые умы. Ласкающее прикосновение пальцев учителя было его способом выражения*».

Если постоянно устремляться к вещи, к истоку говорения, то связный рассказ написать не получится. Собственно, Шервуд Андерсон к этому и не стремился. Он вполне сознательно отвергал идею «хорошо сделанной новеллы». А сюжет объявлял «ядовитым», убивающим жизнь, превращающим ее в умозрительную схему. В его текстах и пространство, и время рвутся. Достаточно вспомнить композицию рассказа «Руки», которая выглядит подчеркнуто фрагментарной.

Вместо одной-единой линии — здесь их множество. Правда, они объединены общей темой и переживанием рассказчика. Но все равно у нас создается впечатление, что Андерсон с каждым новым абзацем заново начинает свое повествование. Он постоянно открывает новый ракурс, новую перспективу развития темы, словно смотрит на реальность из множества лиц. В результате возникает потрясающий эффект многоголосия, и жизнь выглядит многовекторной, многосоставной. В реальности открывается множество историй, развивающихся одновременно, иногда идущих параллельно, иногда пересекающихся. Этот прием во многом напоминает технику кинематографического монтажа и будет активно разрабатываться модернистской литературой XX века.

Теперь обратимся к герою рассказа. Собственно, «героем» его назвать трудно. Эвримен. Один из многих. Обычный, среднестатистический житель Среднего Запада. Бывший учитель — впрочем, об этом в Уайнсбурге, слава Богу, никто не догадывается, а теперь поденщик, известный разве что тем, что ловко управляется с земляни-

кой. Сломленный, запуганный, преждевременно состарившийся. Одним словом — неудачник.

С таким не получится ни героического интригующего сюжета, ни морального урока для перманентно энергичных и работящих американцев, чей девиз «Добивайся и преуспевай». Очередной «маленький человек», вроде Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели», откуда, как известно, все мы родом. Кстати, если уж говорить о «маленьком человеке», то у американцев есть свой Акакий Акакиевич — писец Бартлби из одноименного рассказа Германа Мелвилла. Человек-загадка. Человек-секрет. Секретарь, переписывающий за секретером канцелярские бумаги. И еще есть целая вереница «маленьких человечков», персонажей великолепного поэта Эдгара Ли Мастерса, автора сборника «Антология Спун-Ривер». Все эти авторы, и наш Гоголь, да и американцы душераздирающе сочувствуют своим маленьким персонажам и добиваются от нас такого же сочувствия, сострадания, прощающего всех и вся, даже природную бездарность.

В «Уайнсбурге» мы видим немного другое. Здесь сопереживание отодвигается на второй план, уступая место исследовательскому интересу, хирургическому препарированию тяжелой психологической травмы. Рассказчик Андерсона напоминает доктора, стоящего с указкой возле стенда перед будущими пациентами из группы риска и настойчиво предостерегает от подобных травм и переживаний. Впрочем, готовых рецептов он не дает. Медицина и литература гораздо лучше ставят диагноз, нежели излечивают. И все же урок надлежит усвоить. Иначе у нас все шансы повторить судьбу «маленького человечка», застывшего в своей кошмарной травме и так и не сумевшего стать ЧЕЛОВЕКОМ.

В странном предисловии к сборнику («Книга о гротескных людях»), которое скорее больше напоминает бессюжетную новеллу, чем предисловие, Андерсон притчеобразно формулирует свой замысел, суть своих будущих этических уроков. Он рассказывает о старом писателе, сочинившем «книгу гротесков». Писатель открыл, что на заре человечества существовало множество смутных мыслей, из которых люди стали выводить сотни и тысячи истин: «*Эти истины и превращали людей в гротески. Старый писатель разработал целую теорию о том, как это происходило. Он считал, что стоило человеку схватить какую-нибудь истину, объявить ее своей и сообразовать с ней свою жизнь, как сам он превращался в гротеск, а истина, которую он превозносил, превращалась в ложь*».

Теория старого писателя кажется на первый взгляд наивной и маловразумительной. Но лишь на первый. Пока мы не увидим ее иллюстрацию в рассказе «Руки».

Уинг Бидлбом, точнее, Адольф Майерс (таково его настоящее имя) — натура избранная, отнюдь не обделенная талантом. Он — подлинный наставник, учитель по призванию, даже не американец, не Бенджамин Франклин или Ральф Уолдо Эмерсон, а скорее какой-нибудь древний грек — Платон или Сократ. Пенсильванским недорослям он открывает мир творчества, воображения, потрясающее великолепие подлинной жизни, исполненной многообразия, жизни целостной, по-античному не знающей фатального разделения души и тела. Мы узнаем об этом из тех разговоров, которые он уже в Уайнсбурге будет вести со своим единственным слушателем — Джорджем Уиллардом: «*Уйдя в свои грезы, Уинг Бидлбом рисовал перед своим другом великолепную картину. На этой картине люди вновь жили в идиллическом золотом веке. По широкой зеленеющей долине двигались стройные юноши; одни шли пешком, другие скакали на конях. Все они собирались гурьбой у ног старика, который сидел под деревом в маленьком саду и вел с ними беседу*».

Однако попытка Адольфа Майерса открыть людям истину оборачивается катастрофой. Тупоголовые американские фермеры убеждены, что их учитель — растлитель малолетних. Его жестоко избивают, даже хотят повесить, но в конце концов просто прогоняют. Адольф Майерс бежит в Огайо и, сменив имя, поселяется в доме своей тетки. Больше он уже не будет пытаться учить людей мечтать.

Перед читателем разворачивается старый, надоевший литературный конфликт, знакомый по текстам позднего романтизма и реализма: столкновение мечты и действительности, индивидуума и окружающего мира. Такой конфликт решается поразному. Здесь возможны два варианта. Первый — поражение. Окружающая действительность, среда беспардонно вторгается в мир героя, побеждает яркую индивидуальность, заставляя ее приспособиться, деградировать или погибнуть. Вспомним героев Бальзака. Возможен и второй вариант — победа. Когда личность героически переламывает обстоятельства, навязывает миру свою волю и даже изменяет его силой воображения. Но такое в литературе случается редко, а если и случается, то, как правило, в аллегорических фантазиях представителей романтических школ.

Шервуд Андерсон осмысляет этот конфликт совершенно по-новому. Его герой Уинг Бидлбом, столкнувшись с агрессивным миром, остается верен своей истине. Но теперь его насущная задача — отгородиться от людей, сохранить истину в тайне, оставить ее в себе и ни в коем случае не пытаться с кем-нибудь ее разделить. Бремя истины, наполненность потаенным жизненным чувством как будто бы делает его особенным. Но в результате возникает парадоксальная ситуация: страсть, которая по идее должна возвращать человека к самому себе, приобщать его к миру, к людям, наборот, становится причиной отчуждения. Неразделенная, неартикулированная, субъективная, она оказывается для личности тюрьмой. Уинг Бидлбом застывает в своей травме. В его потаенном чувстве нет движения, развития. Оно обращено к себе, оно не динамично. Оно перерастает в патологию и замыкает героя на себе, превращая его в застывший, искореженный образ, в гротеск. Уинг Бидлбом, запертый в тюрьме собственного «я», отчужден от самого себя, от природы, от людей, от истоков мира. Он скрывается по чужим именем, живет в чужом городе, в чужом доме, чужой жизнью, выполняет чужую работу. То же самое происходит и с другими персонажами-гротесками, населяющими «Уайнсбург». Тихое, почти пасторальное место ощетинивается совершенно непасторальными конфликтами, которые не имеют решения. Это — конфликты другого, еще только нарождающегося мира, мегаполисного, индустриального, постиндустриального. И персонаж Шервуда Андерсона — прообраз будущего городского невротика, обитателя искусственного, отчужденного от подлинной жизни рационального мира.

Кто мы такие? Как мы такими стали? Откуда мы родом? Чтобы узнать это, перечитайте «Уайнсбург, Огайо».

Пилигрим

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

«ИДТИ В КАНОССУ»

Каносса (*лат.* Canusia, *итал.* Canossa) — замок в Северной Италии (область Эмилия-Романья), известный тем, что у его ворот германский король и император Священной Римской империи Генрих IV (1050–1106), потерпевший поражение в борьбе за инвеституру с папой Григорием VII, низложенный и отлученный от Церкви, униженно просил у папы прощения. В течение трех зимних дней в январе 1077 года Генрих IV, босой, в рубище, вымаливал прощение у папы Григория VII. (Выражение «идти в Каноссу» получило переносное значение: согласиться на позорную капитуляцию.)

Каносса находится в 20 км от города Реджо-нель-Эмилия. Это местечко сегодня — несколько домиков и асфальтовая площадка у подножия высокого холма; на холме — развалины замка. По широкой каменной лестнице, опоясывающей зигзагами холм, можно подняться на вершину. На двери одноэтажного дома надпись: «Музей Каноссы». В музее сохранились материальные свидетельства истории замка Каносса: горки каменных и чугунных ядер, обломки колонн и куски плит с барельефами, когда-то украшавшими замок.

Самого замка не существует. Развалины с глубокими подвалами — это остатки церкви. Ее вместе с замком заложил, как свидетельствует хроника, в 940 году граф Аццо Адальберто, облюбовавший господствующий над обширным районом скалистый холм. Он же выстроил церковь Св. Аполлония, ставшую семейной усыпальницей первых владельцев Каноссы. По преданию, в 951 году здесь была осаждена Беренгаром, маркграфом Ивреи, бежавшая от него вдовствующая королева Адельгейда; ее спас и женился на ней германский король Отгон I, который для этого предпринял поход в Италию[1].

Адальберт обнес замок прочной стеной, а церковные подвалы превратил в просторные склады для провианта и камеры для узников. Замок-крепость выдержал не одну многомесячную осаду. Позже его не раз перестраивали, дополнительно укрепля-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт-Петербургской Духовной академии.

ли. Основательной реконструкции замок подвергся при графине Матильде, гостем которой и был папа Григорий VII в те самые дни, когда к нему пришел вымаливать прощение опальный Генрих IV.

Реформы папы Григория VII

С первых дней своего понтификата папа Григорий начал принимать решительные меры по реформе Церкви и освобождению ее от светской власти. В 1074 году он опубликовал свой программный документ — Dictatus Papae. Противники реформ, начиная с женатого духовенства и кончая клириками, купившими церковные должности, объединились вокруг императора Генриха IV, для которого утрата прав на инвеституру означала утрату власти над Церковью.

Устремления Григория VII представляли собой угрозу самостоятельности светских государей. Папа противопоставил себя не только германскому королю, но и другим, например, французскому королю Филиппу I. Но если во Франции отказались поддерживать римскую верховную власть и стали на сторону своего короля, то в Германии феодалы, боровшиеся с центральной властью, вошли в союз, направленный против короля. Генриху уже пришлось сражаться не с папой за власть над немецкой Церковью, а за свои собственные права как главы государства. Григорий VII хорошо рассчитал время проведения своих реформ: король Генрих IV еще не был коронован как император и мог получить корону лишь из рук папы. С другой стороны, папа старался использовать также распри, существовавшие между норманнами, саксонцами и императором.

Открытая борьба между папством и императорской властью вспыхнула в результате опубликования декретов Латеранского собора 1075 года. В них предписывалось, что церковные должности, полученные путем симонии, ликвидируются. Папа Григорий VII обратился к народам, призвав их не повиноваться епископам, которые терпят на должностях священников, пребывающих в браке (concubinatus). Таким образом, собор возбудил верующих против духовенства, использующего симонию и пребывающего в браке[2].

Одновременно папа на соборе 1075 года запретил и светскую инвеституру. «Если кто-либо получит из рук какого-либо светского лица епископство или аббатское достоинство, — говорится в решении, — тот ни в коем случае не может быть причислен к епископам, и ему не положено отдавать никаких почестей как епископу и как аббату. Кроме того, мы отнимаем у него милость Святого Петра и запрещаем входить в церковь, пока он, образумившись, не оставит свою должность, заполученную греховным путем тщеславия, честолюбия и неповиновения, что является не чем иным, как грехом идолопоклонства. Если кто-либо из императоров, королей, князей или представителей каких-либо светских (мирских) властей или лиц назначит епископа или осмелится предоставить церковную должность, тот не уйдет от соответствующего наказания»[3].

В том, что священник не может принять назначение на церковную должность от мирянина (государя или феодала-сюзерена), Генрих усмотрел опасность для своей собственной власти, ведь таким образом из его рук ускользало право распоряжаться церковными вассальными владениями, и он терял влияние на церковную иерархию, на которую ему приходилось опираться в ходе борьбы со светскими феодалами. Вот почему теперь император резко выступил против папы[4]. Генрих сам занимался назначением на высшие церковные должности, в том числе и в Италии. Он располагал по своему усмотрению церковными должностями, хотя тщательно выбирал своих кандидатов. Он давал им инвеституру на их должности, по обычаю, посохом и кольцом. Таким образом, нарушался декрет папы[5].

Из-за этого папа в 1075 году пригрозил ему отлучением. Однако ультиматум привел к результатам, прямо противоположным ожидаемым: он не только не запугал Генриха и верных ему епископов, которые и так были недовольны из-за целибата, а даже подбил их выступить против притязаний папы. Высшее духовенство было верной опорой Генриха, ибо теперь видело угрозу своей независимости скорее со стороны папы, чем короля. Власть епископа нуждалась в союзе с королем. В то же время союзниками номер один у папы стали феодалы, восставшие против Генриха. Генрих IV и его епископы в январе 1076 года в Вормсе созвали имперский собор, и здесь германские епископы — под руководством противника папы Гуго Кандида — отказались принести присягу на верность папе.[6]

На соборе немецких епископов в Вормсе (24 января 1076 г.) против папы, обвиненного в зловредном честолюбии, была произнесена резкая обвинительная речь. Григорий VII был «низложен», и в Рим отправлены королевские посланцы, чтобы побудить духовенство и народ выбрать ему преемника.

Отлучение Генриха IV (1076 г.). Папа Григорий VII ответил на это открытием в Латеранской базилике (24 февраля) собора итальянских и французских епископов. На нем, по его приказанию, было публично прочитано оскорбительное послание Генриха IV. Затем папа предал анафеме своих противников, запретил Генриху IV править немецким и итальянским королевствами и освободил всех христиан от присяги на верность королю[7].

«Святой Петр, князь апостолов, преклонись ко мне ухом своим, молю выслушать твоего слугу — таково было начало вердикта Григория VII, содержавшего анафему королю, — во имя чести Церкви твоей и в защиту ее, опираясь на могущество твое и авторитет, я запрещаю королю Генриху, сыну императора Генриха, который с неслыханным высокомерием напал на Церковь твою, править Германией и всей Италией, и запрещаю каждому, кто бы то ни был, служить ему как королю. И тот, кто хочет нанести ущерб чести Церкви, заслуживает того, чтобы и самому потерять престол, который, как он считает, принадлежит ему. И поскольку он, будучи христианином, не желает повиноваться что грозит отлучением, а моими увещеваниями пренебрегает, то, желая вызвать в Церкви раскол, сам себя отторгнул от нее. Я же, твой наместник, предаю его анафеме и, доверяясь тебе, отлучаю его от Церкви, чтобы народы знали и подтверждали: ты есть Петр, и Бог сущий воздвиг Церковь Сына Своего на каменной скале, и врата ада не имеют над ней силы»[8].

На это последовал ответ Генриха: «Сойди с престола Святого Петра». На Пасху 1076 года епископ Утрехта «отлучил» папу Григория от Церкви.

Отлучение короля было совершенно новым явлением в истории, и это усиливало опасность того, что папа, освободив подданных монарха от ленной присяги, лишит церковной святости королевскую власть, весь строй. В марте 1076 года Григорий VII в специальном письме обратился к германским феодалам, в котором развеял все возможные сомнения относительно правомерности отлучения короля от Церкви и вновь призвал их выступить против Генриха.

Это не слыханное до тех пор постановление произвело большое впечатление не только во Франции, Бургундии, Италии, но даже в Германии, где некоторые аббаты и епископы, сторонники реформы, оказали папе моральную поддержку. Что еще важнее, политические враги Генриха IV подняли голову. В результате этого летом 1076 года феодалы сплотились против Генриха и начали борьбу с ним в Саксонии. На собрании прелатов и князей в Трибуре было признано, что папа имел основания для отлучения короля и что последний не должен больше царствовать (16 октября).

Оппозиция Генриху IV формировалась под руководством родственника короля — швабского герцога Рудольфа. Саксонские и южнонемецкие герцоги использовали

кризис для того, чтобы освободиться от Генриха, применявшего абсолютистские методы правления. Однако значительная часть епископов держала сторону Генриха. Мятежные феодалы вызвали Григория на рейхстаг, назначенный на начало февраля 1077 года в Аугсбурге, чтобы там провести суд над королем. Генрих понял, что ему удастся спасти свой трон только в том случае, если он опередит события и получит от папы отпущение грехов.

Покинутый большинством своих советников и приверженцев, отвергнутый папой, отказывавшимся принять его даже с изъявлением раскаяния, опасаясь нового собора, который должен был собраться в присутствии Григория VII в Аугсбурге, Генрих тайно среди зимы покинул Шпейер, чтобы броситься к ногам первосвященника[9].

В конце 1076 года Генрих вместе с женой, ребенком и своими епископами переправился через Альпы. В это время Григорий VII готовился к поездке в Германию, чтобы на заседании рейхстага принять участие в переговорах с курфюрстами. Генриху удалось воспрепятствовать этому, разыграв спектакль «хождения в Каноссу»[10].

Переход через Альпы в прошлом был тяжел и опасен. Так, многое пришлось преодолевать членам шереметьевского посольства на тех горных кручах, мимо которых сейчас несутся потоки машин. Зимой 1698 года автор посольского дневника сообщал об одном таком эпизоде: «27 января всякую рухлядь понесли было наемные люди на себе пеши, отошли было с версту, и с гор великие снега опали, и дорогу завалило, и людей три человека едва не до смерти подавило... Боярин (Шереметьев) же пошел пеш чрез те великие горы и чрез те великие опалые с гор сугробы, и шли они с великою трудностью и опасностью от снега верст с семь».

Генрих IV в Каноссе (1077 г.). Григорий VII находился в Каноссе — укрепленном замке своей преданной сторонницы, маркграфини тосканской Матильды. (Он не был в безопасности в Ломбардии, где его декреты против симонии вызвали большой ропот.)

Матильда Тосканская (Матильда Каносская) (род. ок. 1046 г., ум. 24 июля 1115 г.) была дочерью маркиза Бонифация III Тосканского и Беатриче Лотарингской. В обширные владения Матильды входила Тосканская марка, дукаты Модена, Реджо и Мантуя, а также Брешиа, Парма и другие города. Таким образом, Матильда была главой наиболее могущественного государственного образования в Италии того времени. Матильда была выдана замуж за своего сводного брага Готфрида, герцога Лотарингского (убит в 1076 г.). В 1089 году с целью усиления антиимператорской коалиции вышла замуж за герцога Вельфа Баварского, с которым впоследствии разошлась, потому что Вельф перешел на сторону главного политического противника Матильды — императора Генриха IV. Матильтда активно помогала Гильдебранду в реализации церковной реформы, а когда он стал папой Григорием VII, поддержала его в борьбе с германским императором Генрихом IV за инвеституру. За приверженность Матильды римскому престолу папа Григорий VII называл Матильду dilecta filia Petri («возлюбленная дочь апостола Петра»)[11].

Генрих прибыл к неприступной крепости почти без всякого конвоя; ворота остались запертыми перед ним. «Он простоял там 3 дня, — как писал потом сам папа, — лишенный знаков королевской власти, разутый, одетый в шерстяную рубаху, слезно умоляя об апостольской милости и утешении». Наконец, уступая просьбам окружающих, папа допустил к себе короля. Глазам присутствовавших предстала потрясающая картина. Гордый преемник Оттонов, полный сил молодой король, «с осанкой и красотой, достойными императора», пал к ногам маленького, хрупкого человека, поднятого на недосягаемую высоту титулом князя апостолов и наместника св. Петра. Григорий VII, тронутый до слез, поднял короля, дал ему отпущение и поцелуй

мира (28 января 1077 г.), но не снял угрозу отлучения, продолжавшую висеть над его головой[12].

Столько раз упоминавшаяся историографами, поэтами и драматургами сцена трехдневного стояния Генриха в одежде кающегося грешника перед крепостными воротами означала в действительности победу униженного короля над папой; Генрих, без оружия, с женой и ребенком, в сопровождении нескольких епископов появился у стен крепости. После трехдневного покаяния, которое, вопреки общему мнению, Генрих совершал вовсе не босиком и в рубище, а в одежде кающегося грешника, накинутой поверх королевского одеяния, папа, главным образом по настоянию аббата из Клюни Гуго и Матильды, вынужден был отпустить грехи Генриху и ввести короля вместе с его епископами в церковь. Григорий действительно не мог не признать соответствующее канонам покаяние и отказать королю в отпущении грехов. Возвращение Генриха в лоно Церкви означало и то, что он вернул себе свое королевское достоинство[13].

Борьба Генриха и папы. Однако германские герцоги не стали ждать папу, их не заботило происшедшее в Каноссе. В марте 1077 года они на сейме в Форхгейме, в присутствии двух папских легатов, постановили лишить Генриха престола и назначили ему преемником его зятя — Рудольфа Рейнфельдена, герцога швабского и правителя Бургундии (март 1078 г.)[14].

Рудольф обещал сохранить выборный характер королевской власти и не делать ее наследственной. Сепаратистские силы Германии сплотились вокруг идеи выборной королевской власти против Генриха, отстаивавшего абсолютизм. Возвращенный в лоно Церкви Генрих, не слишком заботясь о клятве в Каноссе, сразу же привлек на свою сторону ломбардских епископов, быстро преодолев Альпы, возвратился домой и начал борьбу с Рудольфом. Генрих в Каноссе вновь получил свободу рук, чтобы расправиться с внутренней оппозицией. Общество в Германии и Италии раскололось на две партии: на партию папы и партию императора. Население городов в Германии поддерживало Генриха, ожидая, что он сможет обуздать феодалов. В Италии же поддерживали Григория VII против немцев. Высшее германское духовенство разделилось в зависимости от того, где они могли получить больше владений. Борьба между двумя лагерями проходила с переменным успехом.

Вначале папа Григорий не определял своей позиции и не поддерживал ни одну из сторон, ибо он был заинтересован в ослаблении королевской власти. Но когда в 1080 году стало ясно, что победа за Генрихом, папа вновь вмешался. На соборе, собравшемся в марте, была окончательно запрещена светская инвеститура. После того как Генрих не утвердил этого решения, он вновь был отлучен от Церкви. Папа, извлекший урок из Каноссы, признал Рудольфа законным королем и направил ему корону с надписью «Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolfo» («Скала дала Петру, Петр — корону Рудольфу»). Генрих с приближенными к нему епископами созвал в Бриксене собор, на котором Григорий VII был вновь низложен и отлучен от Церкви. Генрих приказал объявить Григория VII «вероломным монахом и разорителем церквей» и провозгласить папой архиепископа равеннского Гиберта (Вибера), принявшего имя Климента III (1080–1110)[15]. (Архиепископ Вибер был руководителем ломбардских епископов, выступавших против Григория VII.)

Германский король встретил неожиданно мощную поддержку среди епископов Ломбардии, которые, как и германские епископы, не без причины опасались того, что григорианское папство низведет их до уровня своих заурядных служителей. В то же время самый крупный светский князь Северной Италии вновь был на стороне папы. Главной опорой Григория VII и его преемников в Италии была тосканская маркграфиня Матильда (родственница Генриха), независимости которой угрожала

императорская власть. Матильда поддерживала папство, помогая ему деньгами, войском и, наконец, уступив Тоскану. Тоскана в то время составляла почти 1/4 часть всей Италии (Модена, Реджо, Феррара, Мантуя, Брешия и Парма). Эти владения отец Матильды получил как вассальные от императора. Матильда и Григорий создали свою партию, и, как утверждают многие авторы, их связь носила не только политический характер[16].

В ходе вооруженной борьбы в 1080 году антикороль Рудольф был смертельно ранен и вскоре скончался. Генрих снова обратил свой взор в сторону Италии. В течение 1081–1083 годов германский король предпринял несколько походов на Рим, но папе удавалось успешно обороняться, опираясь главным образом на вооруженные силы Матильды. Однако в 1084 году Генрих IV вторгся в Италию, захватил в Милане железную корону и двинулся со своим «папой» в Рим, чтобы венчаться там императорской короной[17].

Бегство папы (1084 г.). Григорий VII с несколькими своими верными приверженцами бежал в замок Святого Ангела. Противника короля-победителя вновь низложили, а антипапу торжественно возвели на папский престол, и из его рук Генрих принял императорскую корону. Наконец в конце мая 1084 года Роберт Гюискар, норманнский вассал папы Григория, освободил замок Святого Ангела (норманны для укрепления своих позиций в Южной Италии хотели использовать папство). Генрих и антипапа вынуждены были оставить Рим. В ходе беспощадных боев норманнские воины подвергли Рим разграблению. Гнев римлян обратился против призвавшего норманнов Григория, который вместе со своими спасителями бежал из города. Больше он уже не смог туда вернуться и 25 мая 1085 года скончался в изгнании, в Салерно, среди норманнов[18].

В начале 1850-х годов Салерно побывал отечественный писатель Владимир Яковлев; здесь он посетил кафедральный собор. В его записках читаем: «Подвели меня к гробнице знаменитого папы Григория Седьмого, папы, пытавшегося провозгласить себя главой христианских государей и встретившего сильного соперника в германском императоре. На могиле Григория Седьмого невольно припоминаю всю эту любопытную борьбу: вижу злополучного Генриха Четвертого, отлученного от Церкви, в власянице, опоясанной веревкой, и на коленях вымаливающего у папы прощение; потом является передо мной Генрих, осаждающий Рим и противопоставивший Гильдебранду антипапу Климента Третьего.

Известно, чем кончилась эта борьба, нанесшая столько ударов католицизму: Григорий призвал к себе на помощь нормандца Роберта Гвискара, герцога Калабрийского, который восстановил папу на Ватиканском троне, но не без кровопролития. Это произвело на римлян невыгодное впечатление, и Григорий Седьмой последовал за своими освободителями, когда они отправлялись в Салерно. Он скончался здесь в 1085 году. На гробнице, кажется, по его желанию, вырезана эпитафия: „Я любил правосудие и ненавидел несправедливость: за это умираю в изгнании"» (Delexi justitiam, et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio)»[19].

Бескомпромиссный борец за идею, папа Григорий VII был беспощаден к врагам и готов был идти любые жертвы ради торжества Церкви. Григорий VII был канонизирован папой Павлом V в 1606 году. Память Григория VII в Католической церкви — 25 мая.

Деятельность папы Григория VII оказала влияние на Древнюю Русь. В 1075 году за помощью к папе обратился изгнанный братьями великий князь Киевский Изяслав, направивший в Рим своего сына Ярополка. Папа Григорий, на основании § 12 *Dictatus Papae* о праве папы решать споры светских властителей в качестве судьи высшей инстанции, добился восстановления Изяслава на великокняжеском престоле[20].

Судьба Матильды. После смерти Григория VII (1085) Матильда продолжала враждовать с Генрихом IV, поддержав в конце 1104 года восстание против него, поднятое его сыновьями Конрадом и Генрихом (будущим императором Генрихом V). Торжественным актом 1077 года (подтвержденным в 1102 году) Матильда завещала свои владения римскому престолу. Матильда много занималась совершенствованием системы образования на подвластных ей территориях. Так, поддерживая знаменитого юриста и исследователя римского права Ирнерия, она способствовала превращению действовавшей ранее в Болонье школы свободных искусств в юридическое учебное заведение, ставшее позднее Болонским университетом.

Матильда приняла участие в судьбе жены императора Генриха IV Евпраксии-Адельгейды, находившейся в заточении в Вероне. После успешного бегства в конце 1093 года Евпраксия-Адельгейда благополучно добралась до Каноссы, где ее ожидала Матильда, которая впоследствии представила ее папе Урбану II[21].

Матильда была похоронена в аббатстве Св. Бенедикта в Полирне около Мантуи. В 1632 году по распоряжению папы Урбана VIII ее останки были перенесены в собор Св. Петра в Риме, где Дж. Л. Бернини воздвиг над ее гробницей величественный монумент[22].

Судьба замка. В 1092 году замок Каносса выдержал осаду императора Генриха IV; некоторое время он был местопребыванием рыцарского братства; в 1225 году в ходе одной из локальных войн разрушен жителями г. Реджо. В 1409 году замок стал владением феррарской династии д'Эсте. Позже у д'Эсте замок Каносса оспаривала династия Фарнезе, владевшая Пармой. В XVI веке он стал резиденцией феодальной семьи деи Руджери[23].

...В музее Каноссы в глаза бросается огромный прямоугольный гобелен. На нем Генрих IV изображен босым на холодных ступеньках замка в монашеском одеянии. Но во взгляде императора нет раскаяния. В нем угадывается намерение отомстить обидчику. В магазине сувениров Каноссы торгуют плетеными корзинками, деревянными статуэтками и другими изделиями местных ремесленников. Но наибольшим спросом пользуются открытки с видами... несуществующего замка, воссозданного фантазией художника.

Примечания

[1] Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005, с. 764.
[2] Гергей Е. История папства. М., 1996, с. 104.
[3] Там же, с. 104.
[4] Там же, с. 194.
[5] Бемон Ш., Моно Г. История Европы в средние века (395–1270). Пг., 1915, с. 220.
[6] Гергей Е. Указ. соч., с. 105.
[7] Бемон Ш., Моно Г. Указ. соч., с. 220.
[8] Гергей Е. Указ. соч., с. 105.
[9] Бемон Ш., Моно Г. Указ. соч., с. 220–221.
[10] Гергей Е. Указ. соч., с. 106.
[11] Католическая энциклопедия. Т. 3. М., 2007, с. 256.
[12] Бемон Ш., Моно Г. Указ. соч., с. 221.
[13] Гергей Е. Указ. соч., с. 106.
[14] Бемон Ш., Моно Г. Указ. соч., с. 221.
[15] Гергей Е. Указ. соч., с. 106–107.
[16] Там же, с. 107.
[17] Бемон Ш., Моно Г. Указ. соч., с. 221.
[18] Гергей Е., Указ. соч., с. 108.
[19] Яковлев Владимир. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. СПб., 1855, с. 119–120.

[20] Католическая энциклопедия. Т. 1. М., 2002, с. 1449. Литература: Вязигин А.С. Григорий VII, его жизнь и общественная деятельность. СПб., 1891; Он же. Очерки из истории папства в XI веке, 1898; Трубецкой Е. Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. М., 1897; Рапов О. М., Ткаченко Н. Г. Документы о взаимоотношениях папской курии с великим князем Изяславом Ярославичем и польским князем Болеславом II Смелым в 1075 г. // Вестник МГУ: История 5 (1975), с. 83–91.

[21] Розанов С. П. Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна (1071–1109) // Известия АН СССР (Отделение гуманитарных наук) (1929), с. 617–646.

[22] Католическая энциклопедия. Т. 3. М., 2007, с. 256–257.

[23] Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005, с. 764.

Рецензии

Марина МИХАЙЛОВА

«СВЕТ ЛУЧЕЙ ОТТУДА»

***Лишаев С. А.* Старое и ветхое: Опыт философского истолкования. СПб.: Алетейя, 2010**

Когда праздновался миллениум, одного умного, жизнерадостного и наделенного чувством юмора человека спросили: «Скажите, пожалуйста, каковы ваши планы на третье тысячелетие?» Он ответил: «Большую часть третьего тысячелетия я рассчитываю провести в гробу». Этот симпатичный анекдот как нельзя лучше позволяет почувствовать, сколь склонны наши современники к иллюзиям и сколь прекрасен трезвый реализм. Не только незадачливый журналист, задавший смешной вопрос, но и все мы в той или иной мере очарованы цивилизацией, предлагающей нам быть вечно новыми, молодыми и живыми *здесь*. Тем не менее, что бы нам ни сулили фитнес-клубы, салоны красоты и фармацевтические фирмы, нас всех ждут болезнь, старость и смерть. Со времен Будды Татхагаты природа человеческая не изменилась, и три вещи, что некогда поразили юного царя, предстоят и каждому из нас во всей своей неустранимой реальности. Именно поэтому так хорош ответ достойного весельчака, который не имеет никаких иллюзий по поводу того, где именно и как предстоит провести большую часть нынешнего тысячелетия его бренному телу и при этом не испытывает ни страха, ни уныния, а спокойно и радостно готовится быть новым, молодым и живым *там*.

Тем же реализмом дышит и книжечка самарского философа Сергея Александровича Лишаева «Старое и ветхое». Поскольку я знакома не только с книгой, но и с ее автором, участником многих философских конференций в Петербурге и гостем моих передач на радио «Град Петров», смело могу отрекомендовать его как человека умного, спокойного и веселого. Названные свойства автора вполне отражены в его тексте, так что того отважного читателя, кто вопреки распространенному увлечению молодым и новым решится прочесть сочинение, посвященное старому и ветхому, ждет встреча с хорошим человеком, что уже немало. Профессиональный философ, вероятно, начнет чтение книги с начала, где в хайдеггеровском духе проводится анализ влечения к ветхому и рассматриваются ключевые проблемы эстетики. Непро-

фессиональному философу, каковым в той или иной мере является каждый человек, я бы посоветовала начать с конца и познакомиться сначала с главой «Молот старости». Именно там просто и убедительно ставятся вопросы, которые имеют для нас не только умозрительный интерес, но и самый что ни на есть практический. Философия — это теория (созерцание), которое лежит в основе практики (делания), а как-то иметь дело с собственной старостью при хорошем раскладе придется каждому из нас.

Автор сумел сказать не только о старости людей. Старые фотографии, старые вещи, старые деревья — все под его внимательным взглядом оказывается значительным и интересным. Созерцание старого эстетически открывает реальность *времени*. Именно тогда, когда мы оказываемся способны прочувствовать, осознать и пережить благодаря старому «реку времен», в которую не только нельзя войти дважды, но и выйти-то из нее нам затруднительно, автор совершает принципиальное различение старого и ветхого. Ветхое — тот смысловой предел старого, где совершается отрыв от временности и откровение *вечности*. В этой точке сходятся чувственно данное и метафизическое. В просвет, разверзающийся в созерцании ветхого, врывается нездешнее сияние.

Философствование Сергея Лишаева привлекательно и интересно тем, что он умеет восходить от физики к метафизике, от эстетической аналитики чувственного восприятия к созерцанию умных реальностей. В этом и заключена философия простых вещей: увидеть мир во всей его плотной реальности как полноту Присутствия. Собственно, именно об этом и говорили все мудрые во все времена, но истина не только не тускнеет от повторения, более того — она неповторима. Всякий раз, когда мы даем себе труд осознать опыт и выразить его в слове, истина рождается заново и рождает новый язык, на котором она произнесена. Не могу не выразить восхищение мужеством автора, который решился написать не на тему «То-то в философии Того-то», комментируя высказывания великих предшественников, а сказать собственное слово о предметах, его живо задевающих. При этом, конечно же, текст не изолирован от философской традиции и ясно очерчивает круг, являет интеллектуальное сообщество, значимое для автора. Это и Платон, и Хайдеггер, и прот. А. Шмеман, и В. В. Бибихин…

Сколько я поняла, цель книги состоит в том, чтобы способствовать нашему переходу, говоря словами Сергея, «из деятельного регистра в бездеятельный, созерцательный регистр, попадая в который мы выпадаем из мира и впадаем в Мир». Автор смиренно и дерзновенно предлагает нам, не производя лишних телодвижений и не неся дополнительных расходов, здесь и сейчас совершить переход из мира в Мир. Как важно это для нас, замотанных и опечаленных бешеной интенсивностью — не жизни, но, увы, суеты. Как целительно для души прикосновение к Реальнейшему, присутствующему всегда и везде. Нам надо только немного подстроить свое видение — и мы можем стать источниками воды живой, не покидая при этом — заметьте! — реку времен, но реку эту в ее стремлении к Альфе и Омеге, Истоку и Концу очищая и питая, к чему, собственно говоря, и призван человек. В книжке все это сказано, но много прикровенней, чем я говорю это сейчас, приглашая к чтению этого сдержанного по интонации и в высшей степени значительного текста.

Тот, кто совершил переход из мира в Мир, обретает свободу. Исследуя этос старости под знаком ветхого, Сергей Лишаев подчеркивает, что совершивший открытие ветхого старец («настоящий старик», в терминологии К. С. Пигрова) свободно и спокойно созерцает мир, ближнего, Бога, открывает в себе волю к добру и готовится к Переходу. Очевидная связь такого образа жизни с христианством приводит автора к постановке вопроса: является ли в таком случае этос ветхого исключительным достоянием старых людей, или ему в той или иной мере все возрасты покорны? Сергей выбирает второй вариант ответа, и как радостно и в этом с автором согласиться. Не могу не вспомнить один любимый текст: «Человек должен прежде

всего постоянно помнить — помнить днем и ночью, с того утра, когда он собирается вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, — что он должен умереть. Вот его главное дело. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой жизнью. Он будет исключительной личностью, наделенной прекрасными качествами». В источнике у Юдзана Дайдодзи первое слово, правда, не «человек», а «самурай», но сути дела это не меняет: именно память смертная дает нам свободу и радость, и в этом согласны многие великие традиции.

Главное достоинство книги Сергея Лишаева, с моей точки зрения, состоит в том, что автор, сохраняя научную объективность и не согрешая против строгого ученого слога, свидетельствует о своем опыте Другого. В наши дни, как и в начале прошлого века, одна из самых болезненных проблем русского общества — разрыв между церковью и обществом. Наша страна по-прежнему крещена, но не просвещена, и положение дел в чем-то даже хуже, чем сто лет назад, так как разнообразнейшая болтовня вокруг христианства привела к тому, что люди уже не хотят слышать о Христе и Евангелии: «Спасибо, не надо, слышали, по телевизору видели, знаем». В этой ситуации важно научиться говорить о фундаментальных вопросах веры и духовного опыта на языке, внятном нашему современнику, опираясь на материал, свободный от заведомого религиозного колорита. Автор «Старого и ветхого» сумел это сделать.

Замечательный музыкант и мудрый человек Андрей Решетин рассказал такую историю. Маленькая девочка нарисовала пейзаж, где фигурировала тень от солнца. Когда ее спросили, почему она так сделала, разве можно увидеть такое, девочка ответила: «Неужели ты не понимаешь? Это светит другой свет, потому и тень от солнышка видна». Трудно заподозрить, что дитя знало тексты Блаженного Августина, свидетельствовавшего о любви Божией, что сияет и горит, словно вечный полдень, и спасает этот мир от мрака и холода, которым окутывает его неумолимое время. Остается предположить, что маленькой художнице опытно открывался сверхчувственный животворящий свет. Отблеском этого «света лучей оттуда», доступного мудрецам и детям, драгоценна и книга Сергея Лишаева.

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ: РУССКАЯ ЛИРА В АМЕРИКЕ

Нетолстая эта книжка в скором времени должна стать раритетом, ибо ее тема «Русская литература Америки» — область незнаемого для большей части российских читателей и критиков. К тому же пишет о «своих встречах» на американской земле «сама» Валентина Синкевич, старейшина зарубежного цеха поэтов, многолетний издатель поэтического альманаха «Встречи» (Филадельфия), деятельная участница культурной жизни зарубежья, хорошо знавшая всех персонажей этой книги, изданной, увы, крошечным тиражом — 500 экземпляров. Не хочется вспоминать о том, какой извилистый и затянувшийся на годы путь прошла рукопись: книга шла к читателю так долго, что автор уже и не чаяла ее увидеть... Верю, что судьба

книги сложится счастливо (стучу по дереву) и что Валентина Алексеевна Синкевич порадуется успеху своего детища.

Первое, что приходит в голову по прочтении: книга обладает особой аурой, от нее исходят какие-то добрые токи, что, по-видимому, связано с личностью ее автора. Доброжелательность, простодушие, отсутствие жеманства и рисовки, юмор без язвительности, чувство соразмерности, когда говорится именно то и так, что и как должно быть сказано, — отличительные черты «образа автора», возникающего по ходу чтения. У всех очерков примерно одинаковая структура: после небольшого вступления, как правило, дающего запоминающиеся «штрихи к портрету» и основанного на личных впечатлениях, рассказывается биография писателя и анализируются его произведения. Очерк неизменно включает описание внешности, манеры поведения и характерных особенностей «героев».

О чем же и о ком рассказывает нам Валентина Синкевич? Книга членится на пять разделов. В первых трех последовательно говорится о виднейших литераторах трех волн эмиграции, с которыми автора связывали «чисто личные чувства дружбы и глубокого уважения», в следующем — о писателях Америки, по чьим следам любознательная «неофитка» совершала путешествия, и в последнем (приложении) собраны некоторые рецензии. В коротеньком предисловии писательница сообщает нам, как попала в Америку. Путь пролег из Киева, места рождения, через город детства и отрочества Остер Черниговской области, военную Германию, куда Валентина Синкевич была угнана на работы 16-летней девчонкой, затем через послевоенные лагеря для перемещенных лиц... конечным пунктом стала Филадельфия (штат Пенсильвания), сюда в 1950 году «военное транспортное суденышко «Генерал Балу» привезло тогда еще не начавшую писать молодую женщину с мужем и ребенком. Здесь, в Филадельфии, Валентина Синкевич живет уже более 60 лет.

Примерно тем же путем добирались до Америки и «герои» «Моих встреч...», те, кого причисляют ко второй эмиграции: Ольга Анстей и Иван Елагин, Сергей Голлербах и Борис Филиппов, Вячеслав Завалишин и Леонид Ржевский. Мало того, Анстей и Елагин плыли в Америку на том же «Генерале Балу», что и семья Валентины Синкевич, обе женщины во время многодневного плавания были заняты своими маленькими дочурками. Возможно, тогда и выяснилось, что обе — Анстей и Синкевич — киевлянки, а Иван Елагин, родившийся во Владивостоке, из Киева начинал свой путь в эмиграцию. Да и любовь к поэзии была у них общая: Валентина везла с собой накопленные за годы скитаний «сокровища» — тоненькие книжечки «дипийских» поэтов, Анстей и Елагин имели к тому времени собственные сборники стихов.

О Елагине — «первом поэте второй эмиграции» — напишет Валентина Алексеевна по-родственному пронзительно. В доме ее друга художника Владимира Шаталова поэт умирал от рака поджелудочной железы, там он написал последнее в своей жизни стихотворение, посвященное Шаталову, вдохновившись шаталовским портретом Гоголя.

И Гоголь тут — такой как есть,
Извечный Гоголь, подлинный,
Как птица, насторожен весь,
Как птица, весь нахохленный.

Портрет «нахохленного, как птица», Гоголя сейчас висит в доме Валентины Алексеевны Синкевич.

Напишет Валентина Синкевич и об Ольге Анстей, назвав ее «самой русской поэтессой зарубежья». А ведь по отцу была Ольга немкой (настоящая фамилия

Штейнберг) и внешне походила на татарку: «монгольский разрез карих глаз, высокие скулы, смуглый цвет кожи»... Но от этого ли зависит «русский дух» стихов?

Рассказ о судьбах «самой трагической» второй эмиграции, к которой автор принадлежала сама, как кажется, составляет основное ядро книги. Почему «вторая эмиграция» названа «самой трагической»? Возможно, не все россияне знают, что оказавшиеся после войны на территории Германии «советские» (до 1939 года проживающие на территории СССР) по Ялтинскому соглашению глав победивших государств насильно репатриировались «на родину». Родина же встречала их тюрьмами, лагерями, бессудными расправами... Зная об ожидавшей их в епархии Сталина неминуемой гибели, беженцы кончали с собой, подкидывали детей «счастливчикам», сумевшим избежать репатриации, пускались на всевозможные хитрости, выдумывая себе другие биографии и фамилии. Почти все поэты второй волны, оставшиеся за рубежом, жили и писали под псевдонимами, у всех была своя «легенда» — в книге указаны их настоящие фамилии и рассказаны реальные судьбы.

В смысле точности и дотошности в изложении фактов на Валентину Синкевич можно положиться (такою же была Лидия Чуковская, комментарии которой к «Запискам об Анне Ахматовой» служат для меня источником точных дат, имен и фамилий). По одной из версий, Иван Елагин (Матвеев) взял себе псевдоним, увидев на стене фотографию Елагина моста, Ольга Анстей (Штейнберг, затем Матвеева) позаимствовала псевдоним у любимого с детства английского писателя Франка Анстея (Энсти?), Леонид Суражевский стал Л. Ржевским, так как родился под Ржевом, Бориса Филиппова считали потомком «тех самых булочников Филипповых», на самом деле фамилию эту он «присвоил», спасаясь от сталинских лагерей.

Ужас перед возможной репатриацией постепенно уходил, и некоторые эмигранты второй волны в «тучной Америке» заскучали по далекой родине, чей образ поневоле идеализировался. Почему-то среди знакомцев Валентины Синкевич, людей одной с ней судьбы, оказалось много киевлян (к уже названным добавлю Сергея Бонгарта, Николая Моршена, Татьяну Фесенко). И вот для художника и поэта Бонгарта, обосновавшегося в Калифорнии, по-прежнему «Киев — самый красивый город мира», мучительна разлука с «родной стороной» для Л. Ржевского, потерю родины с особой силой переживает Владимир Шаталов, о котором жившая рядом с ним много лет Валентина Синкевич скажет: «А постоянно жить он хотел только в России».

В разделе «вторая эмиграция» трудно назвать какой-то особенно выдающийся очерк, все они написаны в эмоциональном ключе, с нескрываемой лирической нотой, ибо посвящены друзьям и коллегам, с которыми Валентина Синкевич общалась, переписывалась, на чьи книги писала рецензии и чьи рецензии получала на собственные стихи.

Но для себя я выделила очерк о Вячеславе Завалишине, чей портрет на красивой твердой серо-белой обложке книги помещен в самой середине — между Борисом Филипповым и Л. Ржевским по горизонтали и Андреем Седых и Наумом Коржавиным по вертикали. На обложке опущенное долу классической лепки лицо, огромный лоб... А вот портрет писателя в книге: «...один из них производил весьма импозантное впечатление: гордая посадка головы в густой шевелюре темных волнистых волос и внушительная, даже несколько артистичная осанка всей фигуры...»

Парадоксальным образом человек, обладавший такой неординарной внешностью, болел привычной «русской болезнью», то есть сильно пил, и посему жил на грани бедности и нищеты. Это, однако, не помешало ему стать «летописцем» русского Нью-Йорка, откликаться на все культурные события, писать «готическим почерком» книжные рецензии и обзоры выставок и даже сделать перевод «Центурий Нострадамуса», выпущенных одним российским издательством астрономическим

тиражом 150 000 экземпляров. С большим юмором пишет Валентина Синкевич о презентации сей книги в одном из нью-йоркских ресторанов: найти пирующих можно было только чудом, ибо ни улица, ни номер дома в приглашении не соответствовали действительности. Но и обнаружив ресторан, где Завалишин и несколько его друзей уже приступили к празднованию, присоединиться к ним не удалось: «Постепенно становилось ясно, что горячительных напитков было слишком много, а закусок не оказалось вовсе...» Историю эту я слышала от Валентины Алексеевны в устной редакции и помню интонацию неподдельного сочувствия и веселого удивления, с которой она рассказывалась. Автор — истинно русская женщина — жалела Завалишина и восхищалась его жизнестойкостью, позволившей при его «своеобразном» образе жизни прожить почти до восьмидесяти лет, жениться за пять лет до смерти на петербургской пианистке и пронести через жизнь «интуитивное тяготение к счастью».

В непростой для поэтов и художников жизни в Америке помогала взаимовыручка. И сколько же мы встретим в очерках Валентины Синкевич примеров самопожертвования, верности дружбе! Составляя и редактируя книгу умирающего Елагина «Тяжелые звезды», издаваемую на деньги друзей (Татьяны и Андрея Фесенко), Леонид Ржевский надорвался и умер от инфаркта буквально накануне выхода сборника. Друг Елагина, прекрасный художник Сергей Голлербах дважды летал к больному поэту в Питтсбург с эскизами обложки... Друзья спешили, зная елагинский диагноз: Елагин таки успел подержать в руках свою последнюю книгу.

К лучшим очеркам о первой эмиграции я бы отнесла рассказ об Андрее Седых и о Лидии Алексеевой. Под «первой эмиграцией» подразумеваются те, кто бежал за границу после революции. И отношение этих «старичков» к эмигрантам второй волны, беженцам, получившим статус DP и осевшим в зарубежье, в частности в Америке, было не всегда дружелюбным. Впоследствии так же сложно складывались отношения между второй и третьей эмиграцией. И Валентина Синкевич без утайки об этом пишет. «Первые» обвиняли «вторую» в практицизме, в недостатке культуры, в преувеличенной любви к благам цивилизации. Ровно то же «вторые» ставили потом в вину «третьим», оказавшимся за рубежом на волне «диссидентско-еврейской» эмиграции 70-х годов.

При всем при том отношения Валентины Синкевич с представителями «старшего поколения» эмигрантов были дружескими и доверительными. Годившийся Валентине по возрасту в отцы, Яков Моисеевич Цвибак (подлинное имя Андрея Седых), как кажется, и осуществлял эту отцовскую роль при начинающем литераторе, за плечами которого была работа «остарбайтера» у немцев, затем беженство, — памятуя о своем таком же быстром и неожиданном преображении из феодосийского гимназиста в парижского журналиста и газетчика, позднее — секретаря самого Бунина. Валентина Синкевич пронесла через годы благодарную память о литературном наставнике, первым опубликовавшем ее стихотворение в своей газете.

Читая очерк об Андрее Седых, известнейшем многолетнем редакторе «Нового русского слова» — единственной ежедневной эмигрантской газеты Нью-Йорка, — я думала и о том, сколько любопытных подробностей осталось «за кадром». По своей натуре Валентина Синкевич не склонна все выносить на публику, делиться тайнами закулисья... Говорит она немного, но со значением. Знаю из ее рассказов, что в одной из современных книг Андрея Седых назвали «выкрестом». В очерке нет прямого опровержения этого домысла, но есть такой фрагмент: «Как-то в шутку спросила Якова Моисеевича, не пытались ли обратить его в православную веру в каком-ни-

будь Псковско-Печерском монастыре? Он серьезно ответил: «Пытались. Но быть евреем — судьба, и нередко тяжелая. Мы не любим тех, кто от нее уходит». И все, домыслы сами собой отпадают, а Валентина Синкевич все с тем же умным простодушием продолжает свой рассказ.

Как и Андрей Седых, Лидия Алексеева была намного старше Валентины Синкевич и в отличие от нее, не успевшей из-за войны даже закончить школу, получила филологическое образование в Белградском университете. Это не мешало, однако, взаимной симпатии и сотрудничеству. Одинокая, неяркая и старомодная, Алексеева скрывала от всех, что является «племянницей Ахматовой» (ее мать была двоюродной сестрой Анны Андреевны). И верно, в характере Алексеевой — такой, какой ее изобразила Валентина Синкевич, — можно легко найти ахматовские черты: безбытность, неумение сварить даже яйцо, поразительную доброту. Ахматова, по воспоминанию Чуковского, в голодные 20-е отдала для его «Мурочки» принесенную поклонником бутылку молока. Алексеева, уходя по утрам из дома, расположенного в квартале бедноты, оставляла на столе несколько долларов для нью-йоркских мальчишек, забиравшихся в квартиру в ее отсутствие...

Мало знакомая россиянам поэтесса, судя по приведенным стихам, действительно обладала «удивительно чистым поэтическим голосом». Процитирую четверостишие Лидии Алексеевой, неоднократно мною слышанное от автора книги:

Не спрашивай, что будет там, потом,
Когда настанет миг прощанья и свободы, —
Ведь если что-то есть — какое чудо в том!
В если ничего... Какой великий отдых!

В разделе о поэтах третьей эмиграции встретим Бродского и Бобышева, Коржавина и Лосева, Ирину Машинскую и Игоря Михалевича-Каплана. Обращаю внимание читателей на фигуру поэта, названного автором «мастером палиндрома», — Михаила Крепса. Поэт этот, родившийся в Питере и живший в Бостоне, ушедший в 54 года, как-то незаслуженно забыт и в общем неизвестен российскому читателю. Между тем писал он прекрасные стихи (не только палиндромы), ему принадлежит и первая монография о Бродском (1984 год). Вообще для Валентины Синкевич характерно стремление «восстановить историческую справедливость». В этой же книге она воздает должное переводчику Бродского в Америке Джорджу Клайну, которому нобелевский лауреат (не отличавшийся гипертрофированным чувством благодарности) многим обязан...

По-особому пишет Валентина Синкевич о Марине Гарбер, поэтессе, ею открытой и формировавшейся на ее глазах. В судьбе Марины, тоже киевлянки по рождению, сумевшей преодолеть инерцию нищей семьи с пьющим отцом, целенаправленно стремящейся к образованию и культуре, видит Валентина Алексеевна сходство с собственной судьбой. По всему тону очерка чувствуется, что отношение у автора к этому «герою» любовно материнское.

Не могу не сказать несколько слов и о собирателе эмигрантской поэзии Эммануиле (Эдуарде) Штейне, чьим именем завершается этот раздел. Его судьба просится в приключенческий роман: из варшавского гетто Штейны уходили вместе с Вольфом Мессингом по канализационным стокам, затем Советский Союз, где беглецам безопаснее было поселиться в захолустной Шуе, снова Польша, в которой в послевоенные годы набирал обороты антисемитизм, обвинение в создании «террористиче-

ской группы с целью оторвать Польшу от Советского Союза и присоединить к Западной Германии» (1968), и последующая эмиграция в Америку. Здесь Эдуард Штейн становится коллекционером русских поэтов зарубежья, знатоком литературы «русского Китая», журналистом и издателем, лектором и пропагандистом, и еще — шахматистом (находился при Викторе Корчном в Мерано в 1981 году). Этот талантливый и красивый человек ушел из жизни в 1999 году, но публикации из его бесценного архива продолжают появляться.

Издатели книги Валентины Синкевич не хотели в нее включать раздел об американских писателях. «Нельзя не включить! Америка — это моя жизнь, моя судьба!» — настаивала автор. В отличие от многих эмигрантов из России, писательница не считает, что американская земля бедна талантами. Приехав в Америку в 24 года, Валентина Синкевич — в книгах ли (а она 27 лет проработала библиографом в библиотеке Пенсильванского университета), в своих ли целенаправленных путешествиях — с рюкзаком, в котором лежали баночки детского питания (недорого и сытно), — последовательно искала материалы о «литературных сокровищах» Америки. Результат этих изысканий — главы о Натаниеле Готорне, Вашингтоне Ирвинге, Фениморе Купере, Генри Лонгфелло, Джеке Лондоне, Маргарет Митчелл, о современных авторах книг о России Роберте и Сюзэн Масси... Чтобы написать о Лонгфелло, писательница посетила его музей в Бостоне, где поэт долго жил и преподавал, о Готорне — место его рождения Сейлем, прославившийся своими процессами над «ведьмами», а вот для очерка об Эдгаре По не нужно было далеко ездить: поэт долго жил в Филадельфии, где сохраняется его Дом-музей. Очерк о поэте-романтике, прожившем жизнь в нищете и безвестности и умершем «при невыясненных обстоятельствах», получился насыщенным, интересным, но грустным. А вот в эссе об Уолте Уитмене, который, как и По, не встретил понимания на родине, тон совсем другой — ведь и сам поэт куража не терял «и свято верил в значительность своего творчества и своего места в будущем американской литературы». Возле Поэтического центра имени Уитмена Валентину Синкевич спросили: «Можете ли читать стихи прямо на улице случайным прохожим?» И — совершенно в духе автора «Листьев травы» — отважная «русская» ответила: «Могу». И читала — под дождем — для случайных пешеходов, как делал это когда-то Уолт Уитмен...

В последнем разделе книги позабавил материл об американских славистах. Есть среди них «изучатели» (точное словечко Наума Коржавина), которых хлебом не корми, а дай развить «научную теорию». Нельзя без смеха читать выдержки из «научного» труда некоего Алекса Александера из Хантер-колледжа на тему « Сексуальная подоплека двух Иванов». В героях гоголевской повести многоумный профессор видит гомосексуалиста (Иван Иванович) и гермафродита (Иван Никифорович). С лукавым простодушием Валентина Синкевич цитирует Гоголя: «Детей у него (у Ивана Ивановича. — *В. С.*) не было. У Гапки есть дети...» Нет, невдомек американцу, что опровергает эта цитата его головную теорию. Так что вслед за автором «Моих встреч...» хочется воскликнуть: «Весело на этом свете, господа!»

Очень многих сверстников Валентины Синкевич, героев ее талантливой книги, нет уже в живых. Далеко не все из них «пришли в Россию стихами», как мечталось Георгию Иванову. Многолетний труд Валентины Синкевич — уверена — будет способствовать этому процессу. Автор «Моих встреч...» достойно представительствует не только за свое поколение, но и за всю российскую литературу в Америке.

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«ПРИ ВЕЧЕРНЕМ СВЕТЕ ВСЕ ВИДНЕЙ СТАНОВИТСЯ ВОКРУГ...»

Александр Городницкий. Время в пути. СПб.: Издательство Фонда русской поэзии при участии издательства «Реноме», 2011

Новая книга Александра Городницкого «Время в пути» вызывает удивление. Прежде всего потому, что стихи поэта, который у большинства обывателей ассоциируется с бардовской песней, оказываются стихами огромной глубины и мастерства, стихами, а не куплетами, поэзией самого высокого класса. Счастливо для русской поэзии Александр Городницкий живет долгую жизнь, и его стихи проникнуты мудрым осознанием смысла жизни, восприятием России и нашего времени, воспоминаниями о детстве, юности, войне. Стихотворная строка Городницкого впитала «печаль и радость, войны и амуры». В стихах Городницкого оживают дорогой для него Петербург, и Царское Село, и Дворцовый мост. Но поэт осознает свою трагическую непохожесть на сегодняшних петербуржцев и родство с тем, что неизменчиво:

С Дворцового моста все тот же вид —
Мерцают шпили в красноватом дыме,
А город населен уже другими
И мне как будто не принадлежит.

Поэт критически осмысливает нынешнюю жизнь, с болью отмечает наше неумение стать похожими на счастливых европейцев:

Мы не сдвинем назад свое азиатское небо
И не сможем, увы, никогда европейцами стать.

Как подлинный интеллигент и поэт Городницкий умеет ощущать чувство вины перед Богом (интересно то, что Бог у Городницкого тоже очень искренний, Бог как Незнакомец):

За все мои земные прегрешенья
Прости меня, мой неизвестный Бог...

В этом обращении к Богу есть что-то библейское, идущее от тех времен, когда с Богом разговаривали Авраам и Исаак. Поэт по-настоящему счастлив только в воздухе, в минуты между небом и землей, от взлета до посадки, «когда земля уходит под крыло».

Есть в книге Городницкого и прекрасные стихи о любви, например, «Молитва»:

Светлый Господь мой,
Добрый мой царь,
Следом за плотью
Душу состарь.
Не посылай мне
Смуту в крови,
Темное пламя
Поздней любви.

Но старения, о котором просит поэт, все не наступает, несмотря на преклонный возраст, его душа по-прежнему открыта для чувств, для всего того, что составляет настоящую Жизнь. Хотя с возрастом «прошлое доступнее для уха», и поэт чаще вспоминает о минувшем, о минувшей любви, беседует с голосами ушедших друзей и близких:

И умерших родителей упреки
Стучатся в сердце старое мое.

«В век минувший вглядываюсь жадно», — признается Городницкий, «удивляясь нравам современным». Поэту многое не нравится в бандитском, денежном, электронном XXI веке, но утешает, например, то, что «Аня хочет стать принцессой», а не менеджером, и эта сказочность мечты оставляет надежду на то, что в продажной современности еще осталось место для Поэзии, Сказки, Мифа и Литературы.

Второй раздел книги — «Кенгуру под дождем» — стихи, написанные по следам путешествий по спокойной и сытой Австралии, по Канаде, Китаю, Нормандии:

Перечитываю снова, как поэму,
Эту землю, пробудившись поутру...
(«Австралия»)

И путешествия по чужим странам не избавляют от ностальгии:

Но места, что манили, Австралия или Канада,
Только память о прошлом и больше уже ни о чем.

Здесь же — нахлынувшая тоска по Питеру:

Разводятся мосты, и очень жаль,
Что мы с тобой уехали оттуда...

И взгляд на австралийское детство из своего, военного:

От утра я любуюсь и до ночи,
Вспоминая мой вымерший класс,
Вашим детством, свободным и солнечным,
Что уже недоступно для нас.

Многие стихи книги связаны с темой еврейства, например, стихотворение «Не одолеть вчерашнюю натуру...», посвященное И. Губерману. «Евреи теплят русскую

культуру / Повсюду, где живут они теперь», — отмечает Городницкий. Замечательны стихотворения «Не время ли задуматься о Боге?..», «Черта оседлости». Одно из лучших в сборнике — «Камни» — стихи о евреях и их обрядах, стихи о любви к Петербургу, в котором родился поэт:

И когда под плитой успокоюсь я с предками рядом,
Под осенней листвой, под весенним прерывистым градом,
Принесите мне камушки тоже, — неважно какие,
Но желательно все же, чтоб был среди них рапакиви.
Потому что, конечно, порвать не сумею я нити
С этим городом вечным, стоящим на финском граните,
Где пока что хожу я и где, вероятно, усну я,
Эту землю чужую наивно приняв за родную.

Кажется, кроме Городницкого, никто не писал так честно, так изнутри, с грустью и болью о евреях и еврейском «вопросе». И о сохранении русского языка и русской культуры:

Жизнь бежит, как кинолента,
Обмелела, как река.
Как герои Короленко,
Мы живем без языка.
(«Словарь Даля», 1985)

Страшно современно звучат эти стихи, написанные в 1985 году сегодня, когда русский язык пытаются исключить из обязательно изучаемых предметов, когда современные школьники совсем перестали читать! Надо отметить, что в книге собраны *новые* стихи поэта, написанные в основном в 2009–2010 годы. Но есть и более ранние — 1998 года — замечательны современная вариация на мотив пушкинского «Ариона» «Зачем тебе о Пушкине писать?» и стихотворение «Уже постарев, начинать понимаешь с трудом...» — о сбывшейся мечте долголетия. Раздел «Время в пути» будет интересен тем, кто любит гражданские стихи:

Молча Сталин глядит с пьедестала
На страну, что увязла в ночи.
Половина здесь жертвами стала,
А другая пошла в палачи.

Городницкий по-своему оценивает наше настоящее, размышляет о рабском и палаческом генах современной России, возвращается в прошлое, к теме диссидентства («Диссиденты»), к военному времени («Не надо раскрашивать фильмы военных времен...»). Его стихотворение о Чехове — это стихи о сегодняшней России, о вишневом саде русской культуры, об одиночестве и чуждости Времени:

Так и мы сегодня в Двадцать первом,
Как они в Двадцатом чужаки.

Но Поэзия позволяет забыть о невзгодах и катастрофах, уводит на шелковый путь искусства. Одно из стихотворений книги так и названо — «Шелковый путь»:

Только то, что может любовь зажечь,
Покоряет страны верней, чем меч... —

утверждает Городницкий, покоряя нас, читателей, своими певучими стихами, приглашая и нас ступить на шелковые пути красоты, таланта, пути любви к стихам.

Стихотворение Городницкого «Над причалом крики чаек...» — о стихах и творчестве, о неуловимом, нерукотворном лирическом «Памятнике», в котором слышится перекличка с Мандельштамом:

Станет жить со мною розно
Звонких песенок народ.
.....
Мне за песни не зазорно,
С ними мне не по пути.
Я держу их, словно зерна
Держит сеятель в горсти.
.....
Улетят они под небо,
И оттуда уплывут.
И, увязнув в перегное,
С ним сольются на века,
С местной связаны землею
Тонким стеблем языка.

Предпоследний раздел книги — «Под чужой листвой» — назван стихом из стихотворения «Во чужом краю», написанного на мотив, на напев цветаевского стихотворения «Берегись...».

Чтобы жизнь свою видеть «от и до»,
Во чужом краю не свивай гнездо.
Меж чужой хвои, под чужой листвой,
Там, где все свои,
Будешь ты не свой.

Все-таки «под чужой листвой» трудно быть счастливым. И Городницкий все время возвращается мыслями к Петербургу, к своему городу, «где плывет за окном дорогого отечества дым», который можно по-настоящему полюбить только в разлуке с ним.

«Паруса Крузенштерна» — поэма, написанная в 1996 году, короткая ода молодости и любви к России, которой автор предпослал эпиграф 1962 года:

Всегда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

В поэме Городницкий вспоминает первое в жизни судно как первую любовь, рассказывает о друзьях своего первого морского похода, сравнивает себя с «обрусевшем немцем», с кораблем «Крузенштерн», на котором плавал:

Я и он — инородцы оба,
Но хотя и на разный лад,
Мы России верны до гроба,
«До бушлата», — как говорят.

Книга Александра Городницкого из тех редких книг, которые хочется перечитывать. Его стихи не только о нашем времени. Как всякий большой художник, Городницкий пишет о том, что интересно всегда, а не только сегодня. «Время в пути» назван его сборник. Время оказывается побежденным магической силой искусства. «При вечернем свете все видней становится вокруг...» — справедливо полагает Городницкий, помогая читателю увидеть мир по-новому.

Дом Зингера

Игорь Михайлов. Письма из недалека. Очерки и рассказы. М.: Художественная литература, 2011. — 160 с., ил.

Россия двухэтажная и одноэтажная, Россия провинциальная, Россия деревянная, где чуть в стороне от суетных столиц течет тихая и размеренная жизнь, грешная и благочестивая, где в едином пространстве сосуществуют глубокая древность, день вчерашний и день нынешний. Погруженным в дремоту городкам со славным прошлым и туманным будущим и посвящены поэтические зарисовки И. Михайлова. У него замечательный дар: он обостренно воспринимает горько-сладкую красоту «угасающей, ускользающей, тающей на глазах прошлой деревянной, избяной, сказочной жизни» и умеет передать ее обаяние в слове. Обаяние ветхих домиков с резными наличниками и цветными узорами, что «будто деревенские старухи в наряженных платках на празднике» притулились вдоль улиц, нанизывающих на себя «переулочки и кривые, словно глаз цыгана, проулки». Величие монастырских строений, белокаменных соборов, прелесть узорчатых башен и шпилей, вычурных церквушек, чаще руинированных, но иногда и обретших новую жизнь. У очерков много «героев». Это и Александров, Александровская слобода, в палатах которой с 1565-го по 1582 год обосновался Иван Грозный вместе с опричниками. Это и простодушный и томный Углич, будто бы окликанный своей судьбой. Город-сад, город-огород — Юрьев-Польский, в райских кущах которого купола церквей напоминают репку. Торжок, чей затейливый архитектурный убор ныне невозвратно уплывает во мглу. Пленительный и тревожный Зарайск, неподалеку от которого находилось родовое поместье Достоевских, да вот беда: не скажут местные жители, привыкшие разъезжать по весям пьяными в грязь, как туда проехать, «теперь все дороги ведут в за рай». Среди «героев» очерков и Звенигород, где услышишь уже не переливчатые колокольные звоны, а позывные из мобильных телефонов. На страницах книги, как в жизни, перемешаны глубокая старина и современность. Надо уметь удивиться привычному, затертому: парки и площади с дежурным Ильичом и клумбой соседствуют с церквами и фрагментами монастырских строений, музей имени Пушкина располагается на улице Дзержинского, улице Чапаева сопутствуют четыре переулка Чехова, а улице Свердлова — улица Некрасова. А И. Михайлов чудесам отечественной топонимики удивляться умеет. Топонимика вообще занимает особое место в его очерках. Не только провинциальные городки, но и окрестные застенчивые деревеньки: Озеры, Журавна, Кобылье, Мочилы, Дворики — хранят свою поэтическую тайну назва-

ния. И не каждый различит в названии — Струнино — звук лопнувшей струны. И. Михайлов различает. Путешествие по старинным городкам и весям предполагает обращение к истории. Исторические экскурсы органично вписываются в ткань повествования, ведь история Александрова неотделима от Ивана Грозного, как и история города Углича навсегда связана с «убиенным», («убиенным» ли?) царевичем Дмитрием. И встретит читатель на страницах книги разделенных временами, но связанных единством пространства Юрия Звенигородского и Бориса Годунова, Андрея Рублева и царевну Софью, Чаадаева и Достоевского, Пушкина и Чехова, Мандельштама, Анастасию и Марину Цветаевых, Фадеева. В предисловии Л. Аннинский, характеризуя прозу И. Михайлова, проводит параллели с тургеневским жанром — стихотворениями в прозе. Книга И. Михайлова востребована ныне, как были востребованы в свое время и «Путешествие по святым местам русским» А. Н. Муравьева (1846), и «Наши монастыри» В. И. Немировича-Данченко (1904). Книги, на страницах которых так же любовно авторы запечатлели прошлое и настоящее поэтических уголков России: угасание и жизнь продолжающуюся.

Жанна Стафеева. Нет мира в конном мире. ВХОД: Роман. СПб.: ЦИТ «Ю-Питер», 2011. — 286 с.

В начале 70-х маленькая девочка впервые близко увидела лошадь: друг отца работал плотником в конной школе. Несколько секунд удалось даже посидеть на этом прекрасном создании природы — этого хватило, чтобы пленить ее навсегда. В 1980 году родители обосновались в Абхазии, там таких красивых лошадей уже не было. Девочка выросла и уехала из Абхазии на учебу в Ленинград, где начала заниматься в конноспортивной школе на прокатных лошадях. А затем появились и свои лошади, и каждая из них имела свой характер, свой нрав, свою судьбу. Ж. Стафеева рассказывает об особом мире, где любовь, романтика и сентиментальность соседствуют с интригами на грани абсурда, о том, как попадают в этот мир и почему уходят. И об опасностях, которые подстерегают коня и его владельца, о том, как больно терять любимых коней из-за дилетантизма тех, кто обязан о них заботиться. Ведь лошади — животные хрупкого здоровья, хотя на этот счет существует всеобщее заблуждение. А в гнилом питерском климате лошади вообще развиваются хуже, чем на юге. Северо-запад — зона рискованного земледелия и рискованного коневодства. О лошадях, особенно о своих любимых тракенах, она рассказывает с любовью и нежностью, о состоянии конного дела в России и в Петербурге, о его прошлом и настоящем — со знанием дела. История любимой лошади и лошадей образуют сюжет, но эта история — не только о лошадях. Это еще и повествование о современной бизнес-леди, подкупающее естественностью интонации, с которой оно ведется. Героиня романа, как и автор — человек, «сделавший себя самостоятельно»: она окончила филологический и экономический факультеты ЛГУ, обходясь без родительских «дотаций», рано научилась зарабатывать деньги, прошла путь от рядового сотрудника до руководителя крупной фирмы. Парадная сторона и закулисье есть как в конном мире, так и во всех областях жизни. И — хотя «у каждого бизнесмена есть свои скелеты в шкафу», не вытаскивая их наружу, автор пишет о тонкостях большого бизнеса, отечественного и международного, о непростых его законах. А так как «бизнес в России — сплошной форс-мажор», то и драматических и комических «деловых» коллизий в романе немало. То ли сказывается накопленный опыт работы с персоналом, то ли это прирожденный дар, но автор умеет давать краткие и выразительные характеристики людям, с которыми ее сводила судьба. Как результат — очень живые, реалистические портреты нашего современника, со всеми его слабостями и противоречиями. Роман вообще хорош своей не надуманностью, отсутствием фальши, погружением в

обыденную среду среднего класса, еще не получившего должного отображения в русской словесности. В романе есть место и личным проблемам: сложные отношения с родителями, с мужем, с друзьями и коллегами. Героиня — женщина с характером. Колорит повествования усиливают «лирические» отступления, имеющие, как правило, ретроспективный характер: детство, юность, виноделие в Абхазии и полученные там уроки кулинарии, не раздираемая национальными страстями жизнь многонационального сообщества, Абхазия как место паломничества советского народа; первые поэтические опыты студентки филфака ЛГУ, ленинградский Рок-клуб, рокерские бунтари 80-х и их окружение; тайский рай, Италия, Лондон 90–2000-х... Героиня (и автор), человек двух эпох — советской и постсоветской (как большинство ныне живущих), предстает в романе как личность с цельным, нерасщепленным сознанием, состоявшаяся в новейшие времена и отдающая должное дню вчерашнему. Несмотря на драматическую составляющую описываемых событий — а героиня знала взлеты и падения и в своей деловой карьере, и на конном ристалище, и в личной жизни, — роман имеет большой позитивный заряд: «Жизнь в России полна удивительных возможностей».

Современная поэзия: русская и зарубежная (сборник статей). Под ред. А. В. Татаринова. Краснодар: ZARLIT, 2011 — 254 с.

Преподаватели, аспиранты, студенты Кубанского государственного университета, учащиеся средних школ анализируют состояние современной поэзии, отечественной и зарубежной. Из русских поэтов, продолжающих свой творческий путь, в этом совместном труде представлены Олеся Николаева, Тимур Зульфикаров, Константин Кедров, Иван Жданов, Тимур Кибиров, Всеволод Емелин, Сергей Сигей, иеромонах Роман (Матюшин). В неожиданном ракурсе — признанные мастера прозы, специалисты в области метафизического реализма и буддийского постмодернизма: Юрий Мамлеев и Виктор Пелевин. Оказывается, и они поэты. Закономерно вызвали интерес те, кто уже перешел из жизни — в вечность, из современности — в классику XX века: Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Арсений Тарковский. Две работы в сборнике посвящены Иосифу Бродскому. Не обойдена вниманием и поэзия, которую молодые неформалы, что не всегда готовы добраться до книги, получают из наушников плеера или со сцены. Студенты пишут о произведениях и сверхтекстовой энергии Глеба Самойлова, Эдмунда Шклярского, Земфиры, создателей группы «LUMEN». Удивительно, но никто не написал о главном советском рокере — Владимире Высоцком, сгоревшем в созданном им мире. Из бардов в сборнике присутствует более спокойный и гармоничный, способный долго жить Александр Дольский. Во второй части сборника студенты романо-германского факультета Кубанского госуниверситета размышляют о зарубежной поэзии. Охват внушителен: поэзия Польши, Франции, Германии, Италии, Греции, США. Системный анализ сложного пространства современной поэзии дан в статьях С. Чумакова (европоязычная поэзия) и А. Мамаенко (поэзия отечественная). Имена, тенденции, попытки классификации. С. Чумаков сопоставляет художественные процессы двух рубежей: веков XIX–XX и XX–XXI. Сравнение не в пользу дня нынешнего. Состоявшийся век назад триумфальный выход на поэтическую сцену молодых поколений поэтов был отмечен общим стремлением к обновлению стихотворных форм и языка, обилием дерзких манифестов. Существовала реальная конкуренция множества стилей, школ, объединений, групп, позиций: символистских, авангардистских, реалистических, модернистских. Альманахи, сборники, персональные издания на любой вкус, выходящие небольшими тиражами, не залеживались на прилавке. При этом, отмечает С. Чумаков, сохранялся высокий общий уровень, масштаб индивидуального творчества. На сегодняшний

день, констатирует он, в современной зарубежной поэзии, как и в России, сложилась скорее ситуация «post», связанная с уходом большинства лидеров, притом, что массового и — самое главное — качественного прорыва молодежи, как было в конце XIX — начале XX века, в последние десятилетия не произошло. Имен, терминов, направлений, школ и школок не меньше, чем сто лет назад, — личностей пока маловато. По-настоящему новый вектор поэтического развития С. Чумаков видит в «технологизированной поэзии»: «звуковая поэзия», «интернет-поэзия», «аудиовидео-поэзия». Но говорить о смерти поэзии рано. «Поэзия не умерла, — вторит собрату по перу и А. Мамаенко, — в данный момент мы можем наблюдать не смерть, а подспудное кипение магмы, способное привести к тектоническому сдвигу». А. Мамаенко предлагает любопытную классификацию постпутчевой отечественной поэзии, которая, как и Союз писателей, разделилась на почвенников и демократов-авангардистов. Творческую позицию первых она характеризует вовлеченностью в судьбу страны, неравнодушием и неотделением себя от социума. В стане демократов картина складывается мозаичная: концептуалисты, постконцептуалисты, иронисты, метареалисты, презенталисты, полистилисты, «лирические архивисты», или поэты «исчезающего „я"». Она дает характеристики каждому направлению, приводит десятки имен, известных, что на слуху, и малоизвестных. Иногда «причислить» поэта к одной определенной группе не удается: сказывается и условность классификации, и неоднозначность авторских «я». А. Мамаенко сознается, что в настоящее время классифицировать поэтические направления трудно: современные поэты и малоизвестны, и малоизучены. С учетом этого факта надо отдать должное составителям и авторам сборника: труд их впечатляет. Впечатляет масштабом охвата, неординарностью подходов. Впечатляет попыткой упорядочить поэтическую «стихию» в условиях, когда поэтов — море, когда стихами переполнены сайты, когда каждый, кто в состоянии написать несколько связных строк, одобренный друзьями, уже считает себя поэтом. Составитель сборника, доктор филологических наук, зав. кафедрой зарубежной литературы КубГу А. В. Татаринов, размышляя о своеобразии текущего момента в поэзии, во вступительной статье указывает на две трудности, с которыми встретился коллектив при формировании сборника. Первая — что такое современная поэзия, где ее, собственно, искать? Вторая — особенности аналитического подхода именно к лирической поэзии. «Аналитический текст — продление и развитие поэтичности, высвобождение множества значений, скрытых в художественно состоявшихся сочетаниях слов... Надо найти и оценить настоящего поэта, показать, что теряет мир, не замечая его». Проект «Современная литература» преподаватели кафедры зарубежной литературы Кубанского государственного университета разрабатывают с начала 2010 года, привлекая к работе начинающих филологов и литературоведов. Ведь это именно нынешним студентам предстоит найти настоящих поэтов и показать их миру. Настоящий сборник в рамках этого проекта — уже третий. Первые два были посвящены литературным жанрам и роману рубежа двух тысячелетий — русскому и зарубежному.

Джеральд Мартин. Габриэль Гарсиа Маркес. Биография. Пер. И. П. Новоселецкой. М.: СЛОВО/SLOVO, 2011. 624 с.; 24 ил.

Колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, Сервантес XX века, уже более полувека является одним из самых популярных писателей в мире. Его шедевр «Сто лет одиночества» (1967), наверное, можно считать единственным романом за период с 1950 года по сей день, число восторженных поклонников которого практически в каждой стране и культуре мира только прибавляется. С выходом романа заговорили о новой эпохе в истории романа и реализма. В литературоведении прочно утвер-

дился термин «магический реализм»: особая повествовательная манера, присущая роману Маркеса и произведениям многих латиноамериканских писателей, характеризующаяся неограниченной свободой, с которой писатели Латинской Америки сращивают сферу заземленности быта и сферу сокровенных глубин сознания. Жизнь самого Маркеса такая же фантасмагорическая, как и его романы. Д. Мартин, профессор Питтсбургского университета и эксперт латиноамериканской литературы, потратил 17 лет своей жизни, чтобы создать биографию одного из величайших писателей современности. Много часов Мартин провел в беседах с самим писателем, его родными, ближайшими друзьями. В общей сложности взял около трехсот интервью. В том числе опросил и проинтервьюировал четырех президентов Колумбии, друга Маркеса — Фиделя Кастро, писателей Карлоса Фуэнтеса и Марио Варгаса Льосу, а также родных писателя (супругу, сыновей, мать, братьев и сестер), его друзей и коллег. Самым трудоемким, по словам биографа, было разобраться в хитросплетениях тех многочисленных мифов, которыми окружил себя писатель, ведь «почти каждое событие в своей жизни Маркес описывал то так, то эдак», прибегая к «мистификации и наглому интриганству, чтобы пустить журналистов или литературоведов по ложному следу». Потребовалось немало усилий, чтобы понять, как плохо одетый тощий паренек из захолустной безвестности поднялся до высот богатства и всемирной славы. Сегодня Маркес — богатый человек, у него семь домов в чудесных уголках в пяти странах мира. Лауреат Нобелевской премии (1982 год) Маркес и ныне принимает активное участие в культурной и политической жизни страны, является основателем авторитетных организаций в сфере журналистики и кинематографа. В этой книге Мартин пишет не только о жизни самого писателя, но и о Латинской Америке, родине и источнике вдохновения Маркеса, погружает читателя в мир писателя, в суровую, завораживающую, порой комическую реальность, образующую фон книг Маркеса. Анализируя произведения Маркеса, Мартин размышляет о том, какую роль в жизни писателя и в его творчестве сыграло его отношение к власти, к одиночеству, к любви, его политические взгляды. Труд проделан гигантский. Усилия Мартина получили высокую оценку и самого писателя: в 2006 году Маркес объявил мировой прессе, что Мартин — его «официальный» биограф. Книга вышла в 2008 году, в России публикуется впервые.

Дмитрий Травин, Отар Маргания. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.: АСТ: Астрель, СПБ.: Terra Fantastica, 2011. — 768 с.

Это они оставили нам в наследство тот мир, в котором мы сегодня живем: монархи и призванные ими министры, диктаторы и президенты, великие ученые, без трудов которых трудно представить себе модернизацию, университетские профессора. В коротких историях, через биографии конкретных людей рассказано, как и почему изменялся мир, почему и с какими целями осуществлялись в разных странах экономические реформы и к каким результатам они привели. Географически в книге представлен весь мир, все значимые мировые реформаторы Европы, Азии и Америки. Временной промежуток: от эпохи английской королевы Елизаветы Тюдор до конца XX века, до очерков о российских реформаторах 90-х годов. Авторы прослеживают более полусотни биографий, трагических и героических. Среди героев очерков великий Бонапарт и отец доллара Александр Гамильтон, российские монархи-реформаторы Александр I и Александр II, железный канцлер всеобщего благосостояния Отто фон Бисмарк и золотых рублей мастер Сергей Витте, железная леди Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопин, герой серого дня Алексей Косыгин и Лех Валенса, отцы Европы и отцы Америки, искатели третьего пути и могильщики социализма... И если

Елизавета Тюдор, чье имя книгу открывает, уже более четырех столетий входит в условный список наиболее заслуженных монархов Великобритании — многие историки полагают, что именно ее экономические реформы заложили основы последующего процветания страны, а также превращения ее в так называемую «мастерскую мира», — то «слава» российских реформаторов конца XX века испытание временем еще не прошла. В послесловии к книге петербургский писатель Андрей Столяров отмечает: «Великие реформаторы, как правило, не видны за пышными декорациями истории. Судьба многих из них трагична. Призванные в момент кризиса, осуществляя вынужденно крайне непопулярные меры, они фокусировали на себе вражду и ненависть многих общественных групп, которые их действия не понимали и не принимали». Анализируя деятельность российских «младореформаторов», победы и поражения Е. Гайдара, Б. Федорова, самой мифологизированной фигуры в современной российской политической жизни А. Чубайса, авторы приводят полярные мнения и в поисках ответа на вопрос: кто же они, гении или злодеи? — не относят их ни к тем, ни к другим. Прослеживая вместе с авторами судьбы их героев, читатель убедится, что в истории реформаторы не раз становились «главными врагами народа», и немногим удалось узнать, чем и когда отзовутся для государства их реформы. «Трудно быть реформатором» — такое выразительное название имеет предисловие к книге. Автором этого вступительного слова является министр финансов РФ Алексей Кудрин, человек, хорошо осведомленный о том, насколько тернист путь реформатора. «Одна из наиболее трудных задач для любого государственного деятеля — это осуществление реформ. Реформатору приходится не только проводить новые законы, но также ломать устоявшиеся общественные институты и давно сложившиеся представления людей. Политик, который решается на радикальные преобразования, всегда оказывается в довольно сложной ситуации. Порой эта ситуация превращается в трагическую. В книге Дмитрия Травина и Отара Маргания рассказывается о реформаторах, сумевших преодолеть как объективно существующие трудности, так и свои субъективные страхи. Эти люди сумели начать важнейшие преобразования. В ряде случаев реформы удалось довести до конца. В ряде случаев реформаторов постигли неудачи. Но как победы, так и поражения стали важнейшими шагами в развитии общества. Без тех героев, о которых повествуется в книге, не было бы современного общества, не было бы высокого уровня развития экономики и не было бы того уровня потребления, который характерен для цивилизации XXI столетия». И если авторы, исходя из огромного корпуса переработанного ими материала, в заключение делают выводы из истории реформирования, наиболее актуальные для современной России, то А. Столяров в послесловии дает яркую характеристику современного постиндустриального мира, мира, где царствует экономика, заменяющая собой все — веру, идеологию, национальность, культуру. Мира, более похожего на новое Средневековье, где принадлежность к высшим слоям определяется уже не происхождением и чистотой крови, а наличием больших денег; мира непрочного, ибо в нем зреют гроздья гнева, и в новых условиях России предстоит сделать выбор пути, определив новые правила политического и экономического бытия.

Паскаль Брюкнер. Тирания покаяния: Эссе о западном мазохизме. Пер. с фр. С. Дубина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. — 256 с.

Паскаль Брюкнер, лауреат премий Медичи и Ренодо, романист («Божественное дитя», «Похитители красоты», «Горькая луна»). В этой книге выступает как публицист. И выступает он против интеллектуальной элиты Европы: писателей, философов, социологов, экономистов, журналистов — «флагеллантов западного мира», давно и усердно занимающихся самобичеванием и прививающих вкус к самобичеванию

и европейцам. В результате, констатирует автор, большая часть европейцев убеждена в том, что их ненавидят во всем мире, и ненавидят заслуженно. Ибо нет такой мерзости в Африке, Азии или на Ближнем Востоке, в которой не был бы повинен Запад. Ибо европейцы ответственны за ужасы, совершенные их предками и вообще всем человечеством. «Перебирая в памяти былые зверства, войны, преследования иноверцев, рабство, империализм, фашизм и коммунизм, Европа видит в собственной истории лишь длинную череду побоищ и грабежей, результатом которых стали два мировых конфликта — иначе говоря, восторженное самоуничижение. Ни с чем не сравнимые ужасы: поставленная на поток индустрия смерти в нацистских и советских лагерях; возведение кровавых шарлатанов в ранг идолов масс; опыт тотального зла, превращенного в бюрократическую рутину, — вот итог нашего развития. ...Европа шатается под бременем тяжких злодеяний». Размышляя о самосознании современной Европы, Брюкнер рассматривает, как оно влияет на ее взаимоотношения с Америкой, Израилем, исламским миром, с бывшими колониями. Он вскрывает корни современного антиамериканизма и антисемитизма в Европе, обнаруживая стремление Европы переложить вину за драматические конфликты в мире и, в частности, на Ближнем Востоке на две страны, «недостойные нашей цивилизации», — Израиль и Соединенные Штаты. Он считает, что пора перестать оправдывать терроризм и покушения как акты законного воздаяния за злодеяния прошлого (колониализм), как акты отчаяния, вызванные нынешней экономической отсталостью и низким уровнем жизни. Африканцы, как и азиаты, и французы, одни ответственны за свое развитие и могут упрекать лишь самих себя за собственную отсталость, сколь бы суровой ни была система международных отношений. И уж если «волна покаяния, которая, подобно эпидемии, захлестывает наши широты и прежде всего — центры веры, — пусть другие и верования и другие режимы также признают свои заблуждения!» В своем язвительном памфлете Брюкнер не обходит вниманием и родную Францию, воплощающую в себе все болезни Европы, сгущающую их до предела и добавляющую к ним другие, только ей присущие. Оказывается, и Франция, утеряв главенствующие позиции в Европе, пришла к выводу о собственном ничтожестве и последние десять лет увлеченно предается самоочернению и самоистязанию избалованного дитяти, разрывается между двумя болезненными воспоминаниями: колонизация (Алжир) и участие правительства Петена в депортации евреев. С неизменным уважением французский мыслитель относится к США, стране, сохраняющей способность примирять критику с самоутверждением, и «сколько бы мы ее ни демонизировали, она до сих пор защищает сокровище демократии, которое мы отвергли или унизили». Многие суждения Брюкнера покажутся нам парадоксальными, например, мысль о стремлении многих народов отождествлять пережитый ими когда-то геноцид с холокостом, дабы получить какие-либо дивиденды. Вряд ли мы согласимся с тем, что победа демократических революций в Украине и Грузии при поддержке военной мощи НАТО в Европе, не убоявшегося враждебности Москвы, — это победа действительно «демократических» революций. Или вот с таким тезисом: «Там, где народ находится под пятой, стонет в цепях агрессора и сгибается под гнетом тирании, за помощью он поворачивается к Америке, а не к Европе». Но размышления одного из самых ярких мыслителей современной Франции о пользе исторического покаяния для нас весьма поучительны: тема эта крайне болезненна и для современной России, так же «шатающейся под бременем страшных злодеяний своего прошлого». «Нет ни одной нации, будь то на востоке или на западе нашего континента, этого маленького азиатского мыска, которая была бы свободна от суда совести, историю которой не переполняли бы трупы, сторожевые вышки, пытки и репрессии», — констатирует он. И — «нет такой профессии, социальной

категории или региона, нет таких профессиональных, социальных, географических категорий, для которых нельзя было бы припомнить какой-нибудь ущерб или давно позабытую резню с целью внесения в список поминовения». И — «каждый из нас может отыскать среди своих предков хотя бы одного повешенного, пролетария, раба, репрессированного и тому подобное, так что, если нужно, мы дойдем и до Средних веков, чтобы потребовать восстановления справедливости. Не уверен, что это прогресс». Автор вопрошает: насколько же продуктивна совестливость, порой доходящая до паралича? Можно ли безнаказанно прививать целым поколениям вкус к самобичеванию? Да, Европа, без сомнения, породила немало чудовищ. Среди них и преследование инаковерующих, и колониализм, и антисемитизм, и геноцид, и самоубийственные войны. «Но она в то же время дала миру и теории, позволившие этих чудовищ осмыслить и уничтожить». Европа забывает, что в ее прошлом были не только «реки грязи и крови», но и прогресс права и демократии, что свобода в ней в конечном итоге восторжествовала над угнетением, вот почему в Европе живется лучше, чем на других континентах. Не надо мусолить вчерашнее зло, советует Брюкнер, лучше обличать сегодняшние преступления и упущения и, признав единожды прошлые преступления, способствовать развитию демократических режимов в былых колониях, в собственных странах. «Хватит путать необходимую самооценку с нравоучительным мазохизмом... Нация не может бесконечно отождествлять себя со своими истязателями, предателями и негодяями — или, напротив, канонизировать своих побежденных, расстрелянных, замученных. Ей нужно прежде всего восславлять своих героев, мужчин и женщин, которые в самые трудные минуты осмеливались сопротивляться и позволили народу встать с колен и идти с высоко поднятой головой». В конце концов, «государство — не Церковь, оно должно отвечать за настоящее и будущее, а не покаянно бить себя в грудь». Европа кается с 1945 года, Европа размышляет о покаянии и, как всегда, идет впереди нас.

Игорь Шумейко. Большой подлог, или Краткий курс фальсификации истории. М.: Эксмо; Алгоритм, 2010. — 272 с. — (Исторические сенсации)

Исходя из того, что в последние десятилетия фальсификация истории стала сознательным подходом во внешней политике многих государств, автор констатирует, что фактически все «исторические» споры сегодня идут вокруг истолкований (часто взаимоисключающих) одной и той же зафиксированной цифры, одного и того же документированного сторонами факта. Факты, особенно более или менее известные, изменить нельзя, особенно это касается документов XX века, сохранившихся, чья подлинность сомнению не подлежит, например, Ялтинских соглашений. А вот их интерпретации можно предложить самые разные. Об этом феномене, о том, как идеологии, которых вроде бы нет, заслоняют факты, которые есть, и рассказывается в книге. Читателя, историческим знанием не владеющего или владеющего слабо, ждут трудности: автор, отменно владея исторической фактурой, легко переходит из одного временного периода в другой, использует огромнейший фактический материал, в том числе факты малоизвестные, ранее «не востребованные» (причины такой «невостребованности» вполне прозрачны) советскими историками. В поисках разделительных пунктов с нашими давними оппонентами автор приходит к 1054 году — к Великому разделению церквей. Раскол довершили два важнейших события XIII века: четвертый крестовый поход 1204 года, в результате которого внезапно был захвачен богатейший город того мира — православный Константинополь, и выбор Александра Невского: «Союз на Востоке — оборона на Западе». Россия и Европа зажили совершенно разной жизнью. 950 лет не вместе, 950 лет взаимного неприятия Запада и Востока. Накапливались отличия религиозные, политические,

ментальные, касающиеся, например, русского понятия свободы, Западу непонятного. Со времен монголо-татарского нашествия на Европу, прерванного главным образом смертью Великого Каана Угеде и необходимостью присутствия на выборах нового Каана всех монголов, Европа все еще испытывает страх и ненависть к тому, что приходит с Востока. Но в какую бы глубокую старину автор ни погружался, он неизменно возвращается к современности, выявляя взаимосвязь прошлого и настоящего. Он много и охотно цитирует выдающихся философов, политиков, дипломатов разных времен, в чьих работах отражен иной, западный взгляд на Россию: Антонио Поссевино, Лейбниц, Руссо, Вольтер, маркиз де Кюстин, Ричард Пайпс, Черчилль, Бжезинский. И. Шумейко неизменно подчеркивает, что в отношениях России и Запада были не только обиды и злость, но взаимный интерес: торговый, научный, человеческий. Особое внимание И. Шумейко уделяет меняющемуся восприятию Второй мировой войны, вполне единому ранее (до не столь уж давнего времени) и — двоящемуся в наши дни... Он доказывает, что история Второй мировой войны фальсифицируется исходя из сугубо ПОСЛЕвоенных политических и даже экономических интересов. Антагонистические интересы у Британии, США и СССР были и ранее, однако ж попытка приравнять Сталина к Гитлеру, СССР к фашистской Германии, эта «интерпретация» — продукт самого недавнего времени. Подобных обвинений со стороны наших западных оппонентов НЕ БЫЛО практически до конца 1980-х годов. И. Шумейко анализирует не только почему, но и как, по каким направлениям идет фальсификация истории Второй мировой войны. Подробно рассматриваются различные исторические инсинуации, господствующие ныне в прибалтийских странах, Грузии и других бывших республиках СССР. Тезисы и антитезисы российско-латышской полемики И. Шумейко поверяет выразительными фактами, свидетельствующими о том, какой нелегкий, не всегда добровольный, часто обусловленный сложными обстоятельствами выбор стоял перед латышами в годы Великой войны. Он приводит конкретные цифры: сколько латышей воевало на советской стороне, сколько на немецкой. Приводит документы, воспоминания, из которых становится ясно, где, в какой армии латыши выступали как равноправные воины, где являлись пушечным мясом, где совершали подвиги, а где злодеяния. Не без иронии автор характеризует русско-американо-грузинскую розу ветров: на грузинском участке фальшистории в единый узел оказались связаны Вьетнам, Афганистан, Вильсон, Маккейн, Бжезинский... и Грузия. Разные типы ментальности у грузин и прибалтов, соответственно, породили разные способы искажения истории. Анализируя исторические процессы прошлого и их интерпретацию в настоящем, И. Шумейко выдвигает немало оригинальных концепций, например, свою классификацию войн, которые вела Россия. Он предлагает перестать переносить в середину XX века понятия «национальный суверенитет», «международное право», «человеческая жизнь», «демократия такими, как они понимаются сегодня. Что ж, если среди историков постепенно утверждается мнение, что нельзя судить Средневековье по законам и правилам нашего времени, то, наверное, настала пора распространить этот взгляд и на решения, которые принимались в середине XX века. Досконально прослеживая извилистые тропки фальсификаторов, И. Шумейко обследует и ту, что проложена творцами новомодных теорий, искажающих историю часто в силу любви к России. На этой тропке мы встретим и авторов «Новой хронологии» и их последователей, и адептов «Велесовой книги», и создателей фантастических миров. Краткий курс фальсификации истории внушителен по объему информации, по количеству поднятых тем. И хорошо просветляет умы, засоренные потоками противоречивых мнений и суждений, поступающими из разных источников. Ведь если ложь появляется, значит, это кому-то нужно....

Жизнь Петербурга в иллюстрациях городских газет. Конец XIX — начало XX веков. СПб.: Питер, 2011. — 128 с.; ил.

Книга впервые открывает мир газетной иллюстрации конца XIX — начала XX века — огромный пласт изобразительных материалов, до сих пор просто никем не замеченный. Источником для составителя альбома стали две столичные газеты универсального содержания: «Петербургская газета» и «Петербургский листок». Основанные в 1860-х годах, рассчитаны они были уже не только на образованное дворянство, но в основном на массового читателя: городское купечество, рядовых чиновников, потом и представителей низших сословий, в основном людей небольшого достатка и небольшого образования, зачастую только приобщавшихся к чтению. Газеты ожесточенно конкурировали. Идя навстречу своей аудитории, газетчики отказывались от длинных статей в пользу коротких заметок, старались не только информировать читателя, но по возможности развлечь его. В 1897 году цензура, до сих пор опасавшаяся распространения «подрывных идей» в том числе и через рисунок, все-таки разрешила размещение рисунка в тексте. Солидные газеты (за исключением «Нового времени», начавшего выпускать еженедельное иллюстрированное приложение) новыми возможностями не воспользовались. Страницы же двух массовых газет преобразились. Рисовальщики изображали официальные события (визит главы иностранного государства или прием в посольстве, спуск корабля, открытие новой школы, пожары, взрывы, катастрофы, строительные аварии, дорожно-транспортные происшествия). Во всем спектре была представлена криминальная хроника: от ареста шайки вооруженных грабителей до драки на свадьбе или покушения на убийство мужа утюгом. Отражались события культурной и спортивной жизни, деятельность коммунальных служб. Обе газеты регулярно помещали зарисовки из зала суда, и, как замечает автор вступительной статьи, гораздо лучшего качества, чем теперешние американские, которые иногда показывают по телевизору. В обеих газетах было много иллюстраций репортажного характера. При выборе сюжетов для иллюстрирования газетчики, стремясь заинтересовать и привлечь читателя, ориентировались не на масштаб события, а на его необычайность, курьезность, возможность придать ему характер сенсации. Репортажный рисунок давал возможность «создавать» интересное событие для каждого номера, укрупненно показывать эмоционально окрашенную, «человеческую» историю. Обо всем этом, а также о тонкостях искусства газетного иллюстрирования, о приоритетах, которыми каждая из газет руководствовалась в выборе тем, о том, как в каждой из газет решались вопросы расположения материала в тексте, о том, сколько площади отводилось рисункам на газетных страницах, о технологии печати подробно рассказано во вступлении. К сожалению, отмечает О. Ансберг, о тех, кто иллюстрировал петербургские газеты, известно крайне мало, и все-таки некоторые имена рисовальщиков ей удалось установить, эту информацию она также приводит во вступлении как зачин для будущих исследователей. Из множества рисунков — а за два десятилетия в двух газетах были опубликованы тысячи, а то и десятки тысяч — для книги О. Ансберг отобрала 120, по возможности наиболее разнообразных в сюжетном и художественном отношении. Великолепно изображали рисовальщики массовые сцены: гулянье на Смоленском кладбище, елку в Юсуповском саду, праздники Курбан-байрам, Будды, Пятницы-Параскевы на Пороховых. (Даже из перечисления этих сюжетов, видно, каким многоликим и веротерпимым был многонациональный Петербург.) Неизменно внимание художников привлекали «ужасные драмы», частные и общественные: покушение девушки-телефонистки на самоубийство; гибель прислуги, вывалившейся из окна во время мойки стекол на улице Морской, № 49; взрывы — на подводной лодке, в трамвае, на заводе, «адские взрывы фейерверка на Черной речке». Остается удив-

ляться, как много схожего в опасностях, подстерегавших горожан сто лет назад и угрожающих нынешним петербуржцам: нападение бешеных собак, столкновение пароходов, налет парохода на мост, гибель гоночного автомобиля между трамваев, угодивший в Черную речку мотор, въехавший в магазин автобус, дама-водитель, не сумевшая справиться с управлением мотора. Но не все так печально, в жизни петербуржцев было место и радостям, и подвигу: очищали Екатерининский канал и фильтр городского водопровода, спасали провалившихся под лед лошадей, мужественные городовые успевали то остановить взбесившихся лошадей, то выдернуть заигравшегося ребенка из-под колес трамвая. Первые из помещенных рисунков датированы 1897 годом, последние — летом 1914-го. Завершающая альбом иллюстрация: исправление немецких вывесок на Ямской улице (ныне ул. Достоевского) — 20 человек из простонародья закрашивают белой краской слово «немецкая», оставляя только «колбасная». Публикуемые рисунки сопровождаются подлинными газетными текстами, и каждый из них — частица калейдоскопа больших и малых городских событий, в свое время представленных на газетных страницах как новости, заслуживающие особого внимания. Во вступлении О. Н. Ансберг выражает вполне обоснованную надежду, что с выходом этого альбома иллюстрации петербургских газет привлекут внимание и как явление изобразительного искусства, и как новый источник по истории города и горожан.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28,
т. 448-23-55, www.spbdk.ru)

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева”».
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18.
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52;
e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru; nevaredaction@gmail.com

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: http://magazines.russ.ru/neva/
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.spb.ru

Проект «Литература — территория памяти» осуществляется на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:
в Санкт-Петербурге — в магазине: «Книжный салон „Российская национальная библиотека”» (ул. Садовая, 20 (Дом Крылова), тел. 310-4487); «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232–3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), также в редакции журнала «Нева»: наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); ***льготную подписку*** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312–4923).
В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230–2117, 238–4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: office@nevajournal.spb.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала на территории РФ осуществляет редакция журнала «Нева». Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.spb.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 31.08.2011. Гарнитура «Octava».
Формат 70x108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 3100 экз. Заказ № 0000.
Издательство «Журнал „Нева”»
Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.